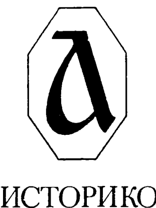

ИСТОРИКО-
ЛИТЕРАТУРНЫЙ
АРХИВ
Д. Л.
МОРДОВЦЕВ
Идеалисты
и реалисты
·КНИГА·



ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ

ОЧЕРКИ, ПОВЕСТИ, РОМАНЫ

Д. Л. МОРДОВЦЕВ

Идеалисты и реалисты


МОСКВА
·КНИГА·
1989

ББК 84Р1-4
М 79

Редактор
А. Н. Казакевич

Подготовка текста, послесловие
и комментарии
О. Г. Агеевой

Художник Б. А. Лавров

М $\frac{4702010101\text{-}113}{002\ (01)\text{-}89}$ Без объявл.

ISBN 5-212-00398-9

ГЛАВА I

Царевич Алексей Петрович в Киеве

Весною 1711 года через Киев проезжал царевич Алексей Петрович, возвращавшийся из-за границы, где он, повинуясь указу сурового родителя, должен был дать согласие на брак с Шарлоттою, принцессою вольфенбютельскою[1].

Горек был этот год и для царевича, и для сурового родителя его, и для всей России. Россия, несмотря на страшное напряжение всех своих сил и на громадные всенародные жертвы, предшествовавшие несчастному «прутскому походу», должна была убедиться, что жертвы эти напрасны. Петр, в первый раз после нарвского поражения, давно забытого и стертого с народной и его личной памяти полтавской «викториею», — Петр в первый раз почувствовал, что и его сердце может ныть болью, что и у него есть нервы и слезы, что и его стальная воля может быть растоплена, перекована на наковальне, какую он встретил на Пруте. Робкий царевич, перед которым во все время его неохотного сиденья за границей над постылою заморскою фортификациею и профондиметриею носился образ любимой, насильно отнятой у него девушки, олицетворявшей для него образ старой, не менее дорогой ему Руси, также отнятой у него в лице кроткой матери-царицы, — царевич должен был дать слово жениться на немилой «иноземке» и навеки «завязать свет очей своих», забыть своего «друга сердечного Афросиньюшку».

Это было то горькое время, когда царевич, махнув рукой на свое личное счастье, тайно от отца писал своему любимцу, духовнику Якову Игнатьеву, из Саксонии:

«Извествую вашей святыни: есть здесь князь вольфенбительской, живет близ Саксонии, и у него есть дочь девка, а сродник он польскому королю, который и Саксониею владеет, Август, и та девка живет здесь в Саксонии при королеве, аки у сродницы, и на той княжне давно уже меня сватали, однако ж мне от батюшки не весьма было открыто — таили; и я ее, ту девку княжну, видел, и сие батюшке известно стало, и он писал ко мне ныне — как оная девка мне показалась, и есть ли моя воля с ней в супружество. А я уже известен, что батюшка не хочет женить меня на русской — скорей де в гроб положу, чем на российской тетехе женю, — но хочет женить на здешней, на иноземке, на какой я хочу. И я писал, что когда его воля есть, что мне быть на иноземке женату, и я его воли согласую, чтоб меня женить на вышеписанной княжне немке, которую я уже видел, и мне показалось, что она человек добр, и лучше ее мне здесь из всех немецких девок не сыскать. Прошу вас, пожалуй помолись, буде есть воля Божия, чтоб сие совершил, а буде нет — чтоб разрушил, понеже мое упование в Нем, все как Он хочет, так и творит, и отпиши, как твое сердце чует о сем деле».

А сердце самого царевича чуяло недоброе...

Въезд царевича в Киев не представлял никакой торжественности. Да до того ли тогда было? Казна, а вместе с нею князи и бояре, посадские и всякие «людишки с женишками, детишками и животишками» до того обнищали, что у царевича не только не было своего экипажа и корма для лошадей, но и обывательская животина вся пошла на ратное дело. Да и сам царь неохочь был тратиться на прогоны, коли не было горячего, дозарезного дела; так царевичу о торжественности и думать было нечего. Царя непосестного Русь узнавала и в простой телеге: так и сынка грозного батюшки узнавали...

При всем том царевича сопровождал отряд драгун. Начальник отряда, средних лет мужчина, в красивом мундире капитана гренадерского полка, невольно привлекал к себе внимание чем-то особенным, что теплилось в его глубоком, загадочно-задумчивом взгляде и перебегало неуловимыми тенями по его бледному лицу, более грустному, чем лицо царевича. И царевич действительно глядел грустно, устало. Отражалась ли грусть царевича на лице его проводника, или у каждого из них было свое заветное горе, только в толпе зрителей и богомольцев, толпившихся у Печерской лавры, когда царевич входил в нее, не могли не заметить чего-то особенного на лице царского сына и его проводника.

— О-х, родимушка! Какой же он с личушка-то щупленький да смутненький — словно бы и у них горе-то бывает, — говорила одна богомолка, стоявшая ближе к драгунам, оцеплявшим проход в лавру.

— Уж и не говори, матушка, за кем горе-то не гоняется горемычное, — говорила другая странница с котомкой. — Може дите по матери убивается.

— Как не убиваться, — заговорил стоявший с ними рядом седой старик, по наружности не то чернец, не то казак. — Там у них в Питере-то не ладно... Последние времена настали... Царевича-то махоньким у матери отняли, а ее-то саму силком в иноческий чин произвели... Сына к матери не пускают, не легко это.

— Кто ж не пущает, касатик?

— Все он же.

— Кто, родимушка, не пойму я.

— Сам, говорю, — черный.

Бабы крестятся. — «С нами крёсная сила... Свят-свят...»

— Три корабля из-за моря пригнал — полным полнехоньки... Пятнать людей будет: кто ему покло-

нится — печать назнаменует на ем, кто не поклонится — голову долой.

— Владычица, заступи! — в испуге проговорила первая богомолка.

— Хто се такій, дидушка, рубать головы буде — москаль? — спросила молодая чернобровая девушка, с косой в оглоблю толщиной и с полудюжиной разноцветных монист на загорелой шее.

Старик не отвечал, не отвечал может быть потому, что в это время позади толпы раздалось протяжное, тоскливое пение речитативом:

Ой на неби великая сила!
Женив батько неволею сына,
Та не хтив сын та из жинкою жити,
Та й пишов же вин по свиту блудити.

У ограды сидел слепой старик с чашечкой на коленях и пел эту всегда хватающую русского человека за сердце песню про «Алексея человека Божия». Иные из богомолок стояли около певца и плакали. Солнце светило ему прямо в открытые слепые очи, а он не видел этого света и как бы силился хоть одну светлую точку уловить в окутывавшем его вечном мраке. Рядом с ним сидел семи или восьмилетний мальчик с живыми черными глазенками и пресимпатичным личиком.

— Крошечка-то какой, поди сироточка, — говорила баба с кичкой на голове, подавая ему бублик. — На вот,родненький, бубличка. Откелева вы? а?

— Здалека, тетушка.

— А отец-мать есть у тебя?

— Нема. Мати вмерла, а татка на войни вбито.

А слепец продолжал тянуть за душу:

Ой, Олексіечку, та Хрищатый барвинку,
Олексіечку единый мій сынку!

Между тем драгуны, из коих некоторые спешились, вели свой разговор, не обращая внимания на суетню, разноголосое пение нищих и смешанный говор толпы.

— Кабы ежели он не знал такого слова, не отскочила б от него швецкая пуля под Полтавой-то, — говорил один драгун. — Сам я, братец ты мой, видел ее, пулю-то ихнюю.

— Знамо, слово такое есть.

— Ну, а царевич вот-от не в его пошел.

— Не в его — это верно. А добер гораздо.

— Добер, что и говорить... Капитан наш души в ем не чает: уж такой, говорит, смирёна да скромник, словно девица красная... Ишь ты, хохол, штанищи распустил — точно он в сарафане.

Замечание это относилось к запорожцу, проходившему мимо и видимо гордившемуся своими шароварами, которые были такой неизмеримой ширины, что в каждую штанину, кажется, можно было посадить по шести человек. Поровнявшись со слепым кобзарем, он бросил ему горсть медных денег.

— Помяни, старче Божій, козака Пивторагоробця, коли вбьють, — сказал он и гордо прошел мимо драгун.

— Ишь ты, знай дескать наших, — заметил один из них. — А лихо молодцы дерутся.

— А Мазепка-то ихний как улепетывал от нас, — пояснил старый драгун.

— Что Мазепка! Тот от старости больше.

В это время из ворот лавры вышел начальник драгунского отряда. Лицо его по-прежнему было задумчиво, но менее грустно. Он скомандовал: «На конь, ребята, на конь» — и все драгуны мигом сели на лошадей. — «Стройся»!

Говор в толпе утих, но тем явственнее слышалось стройное, в два голоса пение, отличавшееся от пения

слепого кобзаря большею, хотя еще более мрачной мелодией:

Ох, как и жили грешницы на белом свету,
Они ели, пили, проклажалися,
Телесам своим грешным угаживали,
Грехи тяжкие не замаливали,
Нищим, убогим не давывали...

Это пели два высоких слепых старика – «калики перехожие»[2], которых вел мальчик с длинной палкой в руках. Палка служила для зашиты от собак и для измерения глубины ручьев и речек, через которые «каликам перехожим» часто приходилось переходить вброд. Они шли гуськом. Передний из них держал руку на плече «поводыря»-мальчика, задний — на плече переднего.

— Народу-то, народу, Господи! — шептала первая богомолка, та, что сокрушалась о царевиче.

— Народно — что говорить... со всего ведь российского государствия, аки пчелы... потому — чуют последних времен приближение, — тихо отвечал старик, который говорил, что «он людей печатать будет своей печатью».

Пение калик перехожих было покрыто вдруг церковным пением, раздавшимся в ограде лавры. Это братия провожала царевича.

— Идет, идет! — пронесся говор по толпе. Калики остановились как вкопанные. Капитан окинул взором своих драгун, толпу и вскочил на лошадь, которую держал под уздцы один из солдат.

Показался царевич. На лице была все та же усталость, вдумчивость какая-то, робость.

Вдруг неизвестно откуда выполз из толпы старик в очках, в подьяческом, затасканном платье, и на коленях подполз к царевичу, держа обеими руками на голове какую-то бумагу. Царевич остановился, почти попятился назад.

— Кто ты? — тихо спросил царевич.

— Нижайший и подлейший раб вашего царского величества, приказу артиллерии подьячей Микишка Бортнев.

— В чем твое челобитье? — спросил царевич.

— Всемилостивейший, благороднейший, благоутробнейший государь царевич, сын святой матери нашей восточной церкви и сопрестольник всея российской державы, призри благоутробием щедрот милости своей, ради имени всещедрого милостивого нашего владыки высокопрестольного царя славы, подаждь ми, старцу убогому, милостыню — вели, государь, челобитье мое принять и по оному милость учинить! Государь, смилуйся, пожалуй!

Все это он проговорил одним духом, точно выпалил из своего беззубого рта, и когда царевич взял челобитную, подьячий поклонился и поцеловал землю.

— Лобызаю подножие ног твоих, — прошамкал он и снова пополз в толпу. Толпа расступилась перед ним как перед зачумленным. В то время, когда существовали застенки и пытки, когда одно произнесение «слова и дела» увлекало вместе с произносившим его десятки жертв на «дыбы» и «виски», а потом на виселицы, на колеса, на колья, подача челобитной казалась чем-то страшным.

Ползущий на коленях странного вида человек с бумагой на голове, странная, необычная речь его, целование земли — все это произвело такое сильное впечатление на толпу, повеяло чем-то до того страшным, словно вот-вот идет что-то неведомое, что-то случится, что-то как бы уж за плечами стоит, или выйдет из земли, из пещер что-то невиданное, неожидаемое... а тут сам царевич, сын того великана-царя, который творит что-то непостижимое, страшное, за моря неведомые ездит, по воде ходит, старину свято-

русскую гонит... а сколько крови-крови-крови... Все это неуловимое что-то, что-то безотчетное крыльями повеяло над толпой — толпа застыла...

— Ох, лишечко! Вже й поихали! — раздался вдруг голос в толпе.

Толпа очнулась от кошмара. Царевича уже не было.

— Ой, матинко! Треба доганять! — продолжал звонкий голос толстокосой с массою монист на шее киевлянки.

Действительно, кто смог — бросился догонять. Вдали виднелась пыль, а из нее выделялась, в профиль, поникнутая голова царевича, да статная фигура скакавшего впереди своего отряда драгунского капитана. Толпа хлынула за бегущими. У лавры остались только нищие, слепые да старые.

— Се мимо иде — и се не бе... Буди благословенно имя Господне, ныне и присно и во веки веков, — произнес седой странник, говоривший о печатании людей и перекрестился двуперстным крестом.

— О — ох, грехи наши тяжки... последние денечки приходят, конец светушка, — захныкала первая богомолка. — Поди и капустку осенью не успеем собрать, как свет переставится.

ГЛАВА II

Спасение утопающей

Яркое весеннее утро. Невдалеке виднеется Киев, расползшийся по зеленым горам, полугорьям и косогорьям, которые как бы играют с зеленью, то прячась в нее, то выглядывая из-за нее на синее небо, на синий Днепр и на синюю даль левобережья. На синеве неба отчетливо вырезываются купола, главы и золотые кресты церквей. Видно даже, как над колокольнями кружатся голуби, всполошенные звоном колоколов.

Голубая масса воды, называемая Днепром, тихо, словно бы апатично, катится куда-то вдаль, к теплому югу, катится годы, столетия, как катилась она даже тогда, когда на месте Киева ничего еще не было, как катилась и тогда, когда в нее гляделся Перунище-идолище со своими металлическими усами, как и тогда, когда в нее сбросили это отжившее идолище, и тогда, когда по ней плыли послами к Ольге «старые мужи» древлянские... Святослав чубатый, Олег вещий, Нестор, разбавлявший свои летописательские чернила водой этого Днепра, а там и козаки, гетьманы, батьки отаманы, и Голота, и Палий, и Богдан, и Мазепа, и москали — все это носила на себе эта голубая масса воды и ничего не оставила ни себе, ни людям на память.

— А я что после себя оставлю, чем бы имя мое вспоминалось после смерти вот этого капитанского тела? Гренадерский мундир, который останется на съедение моли, когда меня положат в гроб в мундире Страшного суда — в саване?...

— Что ты скачешь на меня, пес — давно не видал что ль? Цыц, постылый!

Так говорил сам с собой и со своей собакой знако-

мый уже нам гренадерский капитан, который сопровождал царевича Алексея Петровича в проезд его через Киев.

Он шел берегом Днепра, возвращаясь, по-видимому, с ранней охоты. Через плечо у него перекинуто было ружье тогдашнего неуклюжего образца, а из охотничьей плетеной сумки торчали куличиные носы и ноги. Лицо его было спокойно, не грустно, хотя отражало на себе внутреннюю работу мысли и тихую раздумчивость.

Да, действительно, мысль его вся разбрелась, разбилась в образы прошлого, в воспоминания, в воспроизведение пережитых ощущений. То этот задумчивый Днепр с кигикающими над ним чайками, то тихо звонящий колоколами Киев, убравшийся в зелень, словно голова девушки в «любисток» и «зори» — заслоняли перед ним прошлое, то это прошлое с его воспоминаниями заслоняло Днепр и Киев, и мысль жила за десятки лет назад, там — там, далеко к востоку, почти у Волги, за Пензой.

«Вася! Вася! Грачи прилетели». — Слышится ему веселый, звенящий голос старшего брата Гараси.

И невыразимой мелодией отдается где-то в сердце и в нервах неистовый крик грачей, которые на черных своих крыльях принесли откуда-то весну с ее журчащими ручьями, звенящими в небе жаворонками и квакающими в пруду лягушками, квакающими так весело, как потом они уже всю жизнь не квакали.

— Вася! Слышишь, как кричит потатуйка? У нее там, под рощей, гнездо в старом пне, и дети уж вывелись — я видел. — Снова как бы над Днепром проносится голос Гараси.

Братья бегут к старому пню, а за ними с неистовой радостью несется и жучка-собака, которой тоже хочется посмотреть гнездо потатуйки. А роща и ложбина стоном стонут от птичьих голосов...

И куда все это девалось? Куда отлетел из сердца этот рай? Куда девались звуки, краски? Даже грачи вылетели из сердца и унесли с собой весну.

Откуда-то холодом повеяло на детское сердце Васи. Зима пришла — не та зима, что приносит с собою беганье по льду пруда, выслеживание по лесу вместе с жучкой зайцев, ловлю красногрудых снегирей, нет — другая зима... Отец воротился из своего города, из Пензы, такой пасмурный. Приходит батюшка-священник. Тускло горит свеча.

— Последние времена настали, — говорит батюшка. — Уж оклады с икон обдирают... святые колокола на пушки переливают...

— Царевну Софью Алексеевну в монастырь заточил, — говорит отец.

— Кто заточил? За что? — спрашивает себя Вася.

— А на Москве страсти — и не приведи Бог, — говорит снова отец, — стрельцам головы рубит словно кочаны капустные... мертвые тела на колесах, а головы на кольях гноит.

— Последние, последние времена, — повторяет как бы про себя батюшка, — таковой кары Божьей не бывало, как и Русь стоит.

И Васе страшно становится. Он уже начинает кого-то бояться, не любить.

И на деревне мужики говорят с ужасом.

«Всех в немецкую веру повернуть велел».

«Бороды всем бреет, а кто не дается — лучинкой выжигает волосы-то».

«Сказывают на базаре в Пензе: у коих стрельцов головы отрубил, велел у мертвых голов бороды сбрить».

Это — первые исторические сведения, запавшие в впечатлительную головку Васи... А слухи все растут и растут, и все чудовищнее становятся рассказы... Последние времена, антихрист, ожидание, что

вот-вот придут клеймить, печатать людей, класть антихристовы знаки... Сны, видения рассказываются... С неба упал свиток, предостерегающий людей от грозящей им конечной погибели... Колокола ночью плачут... Звезды хвостатые и кровавые по небу ходят... Видели кровь на снегу... Из Казанской иконы текли слезы — полну дароносицу натекло...

Из Москвы воротились мужики, сказывали: были они на Москве, ходили на площадь смотреть, как их односельчан, двух братьев Соболяков, привязали на костре и сожгли живьем. Младший брат задыхался в дыму и все кричал: «Православные! Не отступайтесь от истинной веры! Умрите, а ее, матушку, не выдайте! Истовым крестом креститесь!» — так и задохся на этом.

Прочь-прочь эти детские воспоминания! Их и старику так впору пережить... Мимо-мимо, горькое прошлое!

Вон как чайка плачет... И вспоминается слышанная тут, в Киеве, песня:

Киги-киги! Злетевши втору,
Прийшлось втопиться у Черному мору...

«Нет, горько на чужой стороне... — снова думается ему. — Вот уже десять лет я на государевой службе — много побродил по белу свету, многое видели глаза мои, многое по сердцу ножом прошло... И боярин князь Борис Алексеич Голицын знавал меня, и сам «Данилыч» знавал меня, и Шереметьев... А уж ни к кому так сердце мое лицом не повернулось, как к царевичу... Не красна его жизнь...»

Вдруг где-то в стороне, у Днепра или в самом Днепре, раздается отчаянный женский крик. Точно

льдом обдало нашего капитана. Крик повторился — еще отчаяннее — какой-то рыдающий, умоляющий, смертный крик. Собака стремглав бросилась к тому месту, откуда неслись вопли — через заросший бурьяном пригорок. Капитан за нею.

На берегу, у самой воды, безумно мечется молодая женщина — то она ломает руки и точно к небу подымает их, желая за что-то ухватиться, то бросается в воду, плывет, ныряет и снова рвется к берегу с воплем, задыхаясь, захлебываясь. Увидев человека и собаку, она с ужасом присела в воде и закрыла лицо руками — она была голая... Но тотчас же опомнилась.

— Проби, проби! Ратуйте, хто в Бога вирует, — хрипло закричала она.

— Что, что случилось?

— Панночка, панночка моя втонула...

— Где? Давно?

— Отнуть — онтам — зараз, — говорила она, указывая в глубь.

Несколько секунд достаточно было, чтобы на землю полетело ружье, сумка, кафтан...

Перекрестившись, капитан ринулся в воду и исчез в ней.

Страшные минуты ожидания длятся... длятся... о! Как беспощадно длятся!...

А его нет — нет ни его, ни той, что уже погибла, может быть...

Нагая, молоденькая девушка, та, что толкалась в толпе у лавры в день приезда царевича, та толстокосая с монистами девушка — это была она — безумными глазами глядела на воду, протянув вперед обе руки, как бы собираясь броситься туда и утонуть... Громадная, растрепавшаяся, намокшая коса окутала ее всю словно плащом...

А его нет... их нет!... Пропал и он.

Собака завыла жалобно-жалобно и, стремглав бросившись в воду, начала отчаянно кружиться по поверхности и выть.

Но он не пропал. Он вынырнул далеко ниже по течению; но он был один.

Собака радостно завизжала и бросилась к нему. Он тяжело дышал.

Девушка плакала как-то тихо, совсем по-детски и почти беззвучно.

Сбросив с себя сапоги, наполненные водой, и разорвав ворот рубахи, который, казалось, душил его, капитан снова скрылся под водой.

Опять секунды — годы ожидания... раз — два... три... сердце перестает ждать, перестает биться... Но все же легче страдать, умереть, лопнуть от ожидания, чем совсем уже не ждать...

Еще дольше — еще страшнее... Даже собака не выносит: она еще жалобнее начинает выть к небу, словно молится...

«Се душа панночки». — Безумно представляется чернокосой девушке, потому что чайка, пролетая над ней, жалобно выкрикнула.

И вспомнилось ей почему-то, как сегодня еще панночка вишни ела... Девушка снова заплакала как ребенок...

Ух!... Из воды вынырнула голова; но это не панночка, это он... но он что-то тащит... ближе-ближе... Это панночка! Панночка!

Вот он подплыл ближе... становится... приподымает из воды... видно белое тело, свесившиеся руки, а головы не видать... вот и лицо, но — оно мертвое...

— Ще живи? — как-то шепотом спрашивает девушка, словно боясь разбудить утопленницу.

Он молчит, бережно поднимая тело и заглядывая в лицо трупу. Неужели это уже труп? Это молодое,

прекрасное тело — фермы точно выточенные из еловой кости — личико, полузакрытое мокрыми волосами — неужели это труп?

Шатаясь и тяжело дыша, он выносит ее на берег... Собака с боязнью смотрела на все это...

— Куда нести? — порывисто спрашивает он. — Где она жила... где живет она?

Тут только девушка вспомнила, что она голая... Срам... но не до того теперь, не до стыда...

— Скорей! Куда ж нести? Где?

— Ось, паночку... онтам по-за садом...

— Накрой ее сорочкой — юбкой...

И он бережно отнял ее от себя, вытянул руки — она пластом лежала на его руках — руки и ноги болтались, голова откинулась назад...

Ее накрыли простыней. Он нагнулся, чтобы ловче обхватить ее и приложить голову к плечу.

— Не кладить, не кладить, паночку, на землю! — с испугом закричала девушка.

Он ее бережно прижал к себе и торопливо понес.

Девушка наскоро накинула на себя сорочку, юбку, дрожа и крестясь и, захватив панночкино белье и вещи капитана, бегом пустилась за ним.

Он шел через пригорок, спотыкаясь и едва не падая. Собака следовала молча, поджав хвост и опустив голову. Вот из-за зелени виднеется крыша домика, крыльцо... Он чувствует... Господи! Да чье же это тело теплое?... Ее?... Или это он согрел ее своим телом?... «Всесильный! Спаси!...» Да это ее тело.

«Вася! Грачи прилетели!» — Послышался вдруг голос... Нет, это в висках стучит, это в сердце стук и голоса...

Что это?... У утопленницы вода ртом хлынула... В теплом трупе чувствуется трепетанье...

«Вася! Вася! Грачи прилетели!» — Теперь уже явственно слышится...

Но вдруг и зелень, и домик, и небо, и Киев, и грачи — все исчезло.

Он остановился... зашатался... застонал... Девушка бросилась к нему — с отчаянным усилием ухватилась за свою панночку — вырвала ее...

Когда она опомнилась от секундного потрясения — панночка... панночка открыла глаза!

А он лежал на земле, широко раскинув руки... Собака лизала ему лицо и тихо выла.

ГЛАВА III

Левин и Оксана

Герой наш очнулся в незнакомой комнате на низенькой, но мягкой постельке. Оглянувшись, он заметил на себе тонкую полотняную сорочку с маленьким воротом, вышитую синими и красными узорами по-малороссийски. Комната была небольшая, но светлая, чистенько прибранная. Перед образами в богатых окладах теплилась лампадка. По стенам висели ружья, сабли, дробницы, пороховницы, торчали сайгачьи рога. Над самой кроватью висели две картины, нарисованные яркими масляными красками. На одной было изображено побоище козаков с татарами. Для вящщего уразумения мысли и тенденциозности картины, художник счел благоразумным на левой стороне картины, внизу, подписать: «Се козаки», а на правой стороне: «А се прокляти татаре». Общая подпись под картиной гласила:

Оттак козаки гостей пріймають,
Доброю горилкою напувають,
На списи мов кабанив здіймають,
Гострыми шаблюками упень рубають.

На другой картине изображен был всем известный запорожец, который сидит под деревом (дерево похоже на пальму, но это — явор), пьет горилку, играет на бандуре, а конь, привязанный к воткнутому в землю «ратищу» (копье), с нетерпением роет копытами землю. Под картиной — также всем известная подпись, поражающая своей неожиданностью: «А чого ты на мене дивишься?» и т. д. Это — историческая картина, целые столетия поражавшая и досель поражающая грамотных украинцев.

Подходит человек полюбоваться на картину или на портрет, и вдруг с удивлением читает: «А чого ты на мене дивишься?» Невольно человек берется за бока и хохочет.

Улыбнулся и герой наш, взглянув на картину.

В это время дверь комнаты приотворилась, и из-за косяка робко выглянуло прелестное женское личико. Герой наш, пораженный этим видением, невольно приподнялся на локте и перекрестился, словно бы то было ангельское видение. Видение, со своей стороны, радостно воскрикнуло, перекрестилось и, закрыв вспыхнувшее краской лицо рукавом, исчезло за дверью.

«Вася! Грачи прилетели! Весна пришла». — Слышится в сердце неведомый голос, и сердце чует, что действительно весна пришла... весной, теплом повеяло к сердцу... Вспоминается берег Днепра, страшная, зеленая вода, омут, скользкие, холодные камни под водой... звон в ушах, точно все киевские колокола сошли в Днепр, и звонят-звонят... Но вот нащупывается что-то живое, мягко-упругое... плечи... волосы... груди... а звон все страшнее... солнце, свет, зеленый какой-то, точно вода... И вдруг — грачи, весна...

Дверь опять отворилась, и в комнату с робким, но радостным лицом вошла женщина, уже почти старушка, одетая просто, по-украински, но изящно, как одевались тогда жены козацкой старшины, горожанки.

— Благодареніе Господу, я бачу, що вам полегшало, — сказала старушка, — а нам так страшно було за вас.

И она подошла к постели: «Вы спасли от смерти нашу дочку — Бог наградит вас, а мы весь вик будем за вас молиться...» И она перекрестилась, взглянув на образа. «За кого ж нам молить Господа Бога?

Скажить, будте ласкови, ваше имя, отечество и звание?»

— Меня зовут Василием, Савин сын, Левин, войск его царского величества гренадерского полка капитан, — отвечал Левин (так звали нашего героя). Говоря это, он приподнялся на постели.

— Лежить-лежить, будьте ласкови, Василій Савич.

Левин чувствовал слабость, но он быстро припомнил все, что случилось.

— Не беспокойтесь, государыня, я совсем здоров. Но как ваша дочка? Что с ней после этого ужасного случая? — быстро заговорил он.

— Слава Богу, слава Богу! Налякала вона нас — и теперь страшно, як згадаю. А Бог миловав — здоровенька, як рыбочка, тилько по вас дуже убивалась бидна дитина. «Я, каже, повинна буду в его смерти». Дуже плакала, як прійшла в себе, глядючи на вас. Теперь треба ій порадовати. Оксанко! Оксанко! Ходи сюда, дитятко! — громко сказала старушка, обращаясь к двери.

Видение повторилось. В двери опять показалось прелестное личико. Но теперь оно, все пунцовое до кончика ушей, не закрывалось уже рукавом. С глазами, полными слез, девушка подошла к матери, не смея взглянуть на своего спасителя, крупные, как горошинки, слезы не удержались на длинных ресницах и покатились по щекам: то были слезы радости, благодарности и — стыда. Последнее, а отчасти и первое чувство заставило ее броситься на грудь матери и разрыдаться совсем.

— Годи-годи, дитятко! Ты бачишь — им легше — вони слава Богу... Годи ж, Оксаночко, — говорила мать, гладя по голове девушку. Треба ж тоби и подяковати Василія Савича... Не плачь, не соромься — вони тоби тепер як отец ридный.

Девушка открыла заплаканное лицо и перенесла свои большие, серые как шкурка змеи, глаза на Левина. Левин, в свою очередь, весь попунцовел. Ему казалось, что он никогда не видел такой чарующей красоты, хотя очарование это не могло не усиливаться от того потрясающего драматизма, который столкнул его с этой девушкой — где же? — у порога смерти.

— Я рад... — начал было Левин, но на этом и прекратилась его речь — лексикон его истощился.

— Подякуй же, дурна, чого стоишь? — настаивала мать.

— Дякую, — прошептала девушка.

— Я рад... — И опять вышел весь лексикон его.

В это время под окном жалобно завыла собака. Девушка встрепенулась. Большущие глаза ее засветились еще больше.

— Се вона по вас, — быстро сказала она Левину, — так убивалась бидна...

И мигом выбежала из комнаты. Старушка улыбнулась и покачала головой. «Дурна дитина — молода еще». Через минуту девушка явилась с собакой. Последняя радостно взвизгнула и бросилась к Левину, силясь достать до его лица.

— Ну-ну, будет-будет! Обрадовалась? — сказал Левин, гладя собаку и отталкивая ее от себя.

Лексикон его для разговора с собакой оказался обширнее, чем для разговора с девушкой. И последняя, в свою очередь, в присутствии собаки стала смотреть на Левина смелей.

— Ох, яки ж мы дурни! — заторопилась старушка. — И подяковати вас не вмили, а тепер и не спитаемо — чим вас частувати? Чого б, скажить, вам принести покушать? У вас другій день и крошки во рту не було...

— Благодарю вас, сударыня, — мне ничего не

хочется. Я только смею спросить вас — у кого в доме я нашел такое гостеприимство? Кого я должен благодарить за оказанную мне помощь?

— Мій муж — сотник малороссійских его царьского величества войск Остап Петрович Хмара. Вин тепер с царем у Туречини, на войни. А се наша дочка — Оксеніею зовуть. Ото ж вона и надилала нам клопот, а вам щи бильш, та спасиби Богови, вызволив вас од смерти... Та що ж се я, дурна, розбалакалась як сорока, а не те щоб вас нагодувати та напоити.

В то время, когда суетливая старушка топталась на месте и тараторила без толку, ее «Оксения» не оставалась без дела. Она, по-видимому, состояла уже в большой дружбе с собакой Левина и охотно разделяла ее радость: пес поминутно скакал то к ней, то к Левину, стараясь поцеловать или хоть лизнуть своего хозяина или хорошенькую панночку. Последней это очень нравилось, и она весело отбивалась от собаки и смеялась, а Левин с удовольствием смотрел на девушку и дружески ей улыбался.

— От — дурна дитина! — опять затараторила старушка, глядя на дочь. — Чи давно ж таки ще Бог та добрый чоловик спасли од смерти, а воно вже и забуло, дурне — с собакою граеться... А вже й не маленька — девьятнадцяте лито пишло як пип свяченою водою облив та Оксеніею наименовав... Ох, лишечко! Та с тобою, дурне, я й сама здурила...

И старушка выбежала из комнаты. Остались только Левин, «дурна дитина», как выражалась старушка, и пес. По выходе матери, «дурна дитина» разом присмирела и хотела было ускользнуть, но Левин остановил ее.

— А вы, Ксения Астапьевна, благополучно оправились после того несчастного случая? — спросил он ласково.

— Слава Богу, благополучно, — отвечала девушка, защищаясь от собаки.

— А очень испугались тогда?

— Я не помню.

— Ермак! Не трогай панночку — пошел! — обратился он к собаке, которая совсем заполонила панночку, на что последняя не особенно претендовала. — А скоро вы пришли в себя, когда я вас вынес из воды? — снова спросил он.

— Скоро... Як вы упали... тут я дуже злякалася — я думала вы вмерли.

— А кто эта девушка была с вами?

— То наша Докійка.

В это время дверь растворилась, и сама Докийка влетела в комнату. Она несла поднос, уставленный всякими яствами, питиями и ласощами. Докийка тоже вся побагровела, вспомнив, в каком костюме она познакомилась в первый раз с этим паном — одна распущенная коса защищала тогда ее девическую скромность. Теперь эта коса заплетена была жгутом и представляла подобие доброй оглобли, оканчивавшейся зеленой и голубою лентами. На крепкой шее и высокой груди, выпиравшейся из-за шитой сорочки, рассыпано было с полчетверика всяких бус и стекляруса, при малейшем движении издававших такой звук, словно бы ломовая лошадь встряхивала своею наборною сбруей. Босые, красные, хотя соразмерные ноги ступали твердо; короткая юбка-сподница обнаруживала икры невообразимого в наш тщедушный век размера. Метнув своими большущими, черными как шпанская вишня глазами на пана, она потупила их и снова побагровела, когда счастливый Ермак хотел и ее облапить, полагая, что в этот радостный день со всеми надо целоваться. Докийка поставила поднос на стол и за чем-то снова побежала. За нею хотела ускользнуть и сама панночка, но

Ермак доселе не освободившийся от телячьего восторга и все еще надеявшийся лизнуть свою приятельницу в самые губы, зацепился лапой за ее монисто.

— Не пускай, не пускай, Ермак, — весело сказал Левин, который при всей своей слабости чувствовал какой-то прилив радости и теплоты, — не пускай.

Девушка засмеялась и точно брызнула из своих глаз в глаза Левина током света.

— Ой! Вин намисто порве, — сказала она, отстраняясь от собаки.

Докийка опять вошла своею бойкой походкой, опять метнула на пана черными глазами, звякнула монистами так, что Ермак бросился сначала к ней, а потом к подносу с яствами, и постлала на стол новую, принесенную ею скатерть. Вместе с панночкой они стали расставлять на столе кушанья и тихо перекидываться словами, относящимися к делу.

Левину казалось, что он дома, в родной семье. Что-то давнее, детское проснулось в нем при виде этих милых, приветливых лиц, и ему хотелось встать, обнять всех, рассказать им все, все, что он пережил, передумал, перечувствовал. На душе у него было легко и светло, как в этой светлой приютившей его комнате-светлице.

— Как же это ты, Докийка, не доглядела за панночкой, что она чуть не утонула? — шутя спросил он.

— Вони не слухали, — отвечала Докийка потупясь. — Вони дуже далеко плавали.

— А теперь уж вы далеко не будете плавать, Ксения Астафьевна? — спросил он саму Ксению.

— Ни, теперь вже нас одних мама не пустиме...

— Таки й правда, буде вже, докупались трохи не до смерти, — затараторила старушка, переступая через порог и таща какие-то новые ласощи. — Сидить тепер дома, або купайтесь у корыти, як утята.

— Ну, мамо — яка ты! — возразила Ксения, ласкаясь к матери.

— Добре, добре, а все ж таки у Днипр — ни ногою.

— Ну-бо, мамцю, — мы у бережечка.

— Ни-ни, и не проси... Другій раз Василій Савич не полизе за тобою, и так он до чого довела чоловика... Сором та й годи! Може ще й не встане...

Ксения как ужаленная бросилась к Левину, закрыла лицо руками и заплакала. Слезы так и закапали сквозь пальцы.

— Ксения Астафьевна! Что с вами? Ради Бога, успокойтесь! Матушка пошутила — говорил встревоженный Левин, приподымаясь с постели.

Девушка продолжала рыдать... «Я — я...» Рыданья не давали ей выговорить ни слова.

— Господь с вами! Ксения Астафьевна! Да успокойтесь, ради Христа.

И Левин схватил руку девушки. «Успокойте ее, прошу вас!» — обратился он к матери.

— Ну, годи ж, годи... — заговорила та, гладя дочь по голове. — То-то, дурне — само наробило добра, та самой плаче... Ну, буде вже — наплакалась.

— Я, мамо... вони... я не хотела... вони не вмруть...

И она вновь зарыдала... Все пережитое в эти дни — и личный испуг, нравственное и физическое потрясение, стыд, боязнь за другого, который едва не погиб, спасая ее, а может быть, еще и умрет по ее вине, все, что для другой менее крепкой натуры могло разрешиться горячкой, тяжелой болезнью, все это разрешилось рыданьями, которые копились в молодой груди с того момента, когда Ксения, очнувшись на руках своей горничной и собравшись с мыслями, увидела, что ее спаситель лежит мертвым на земле. Теперь, когда мать сказала, что, быть может, «он не

встанет», молодая энергия лопнула, как не в меру согнутая сталь, и в Ксении сказалась женщина. Она рыдала неудержимо. Встревоженная мать топталась на месте, гладила и крестила ее. Даже мужественная Докийка струсила, и утирала рукавом слезы.

— Постой-постой, я зараз...

И старушка бегом, словно бы у нее были Докийкины ноги, пустилась куда-то из светлицы. Левин сам не выдержал — заплакал (передряга этих дней и у него разбередила нервы). Он потянулся, схватил руки Ксении и, целуя, обливал их слезами... «Ради Бога... ради Господа Всемогущего», — шептал он.

Тут только опомнилась девушка... Она высвободила свои руки и, глядя в глаза Левина и сквозь слезы улыбаясь, говорила: «Я не буду, не буду — не плачьте вы — простить мене!...»

— Ось-на! Выпiй, доню... се свячена вода... зараз полегшае, — суетилась мать, притащившая склянку с святой водой, — пiй, доню — оттак, оттак...

И она перекрестила дочь. Девушка выпила глоток.

— От-бачишь? Разом усе пройшло од святой воды, — уверенно говорила старушка.

И действительно прошло. «Дурна дитина» успокоилась. Она мельком взглянув на Левина, вышла из светлицы, а за ней вылетел и Ермак в полной уверенности, что ему дадут теперь целую миску хлеба, размоченного в малороссийском борще, вкус в котором он уже знал.

Старушка принялась потчевать своего гостя. Докийка стояла у стола, сложив руки на богатырской груди.

— Будьте ласкови, покушайте трошки. Оце печени курчата, оце порося холодне с хрином, оце свижа ковбаска, пампушечки, огирочки... Може выпьете

сливянки, медку... Ото яблучка квашени... павидла... покушайте на здоровьячко — вам и полегшае.

— Много вам благодарен, почтеннейшая... Я не знаю вашего имени-отечества, — говорил Левин.

— Олена Даниливна мене зовуть.

— Благодарю вас, Елена Даниловна, но мне теперь ничего не хочется.

— О! Як же ж можно! Ни-ни! Хворому треба пидкрепы... хоч курятинки трошки.

Левин должен был повиноваться, и попробовал цыпленка. «Я бы охотно выпил чего-нибудь холодненького», — сказал он.

— Медку? Кваску?

— Квасу бы.

— Докіе! Бижи — хутко — нациди квасу.

Докия побежала. Монисты ее производили такое звяканье, словно проходил взвод стрельцов, когда они шли убивать князя Долгорукова, сказавшего, что после убитой щуки всегда остаются зубы.

— А вы були на войни? — спросила любознательная старушка.

— Как же, со шведом воевал, тоже и в полтавской виктории участие принимал. За свою службу его царским величеством, а особливо светлейшим князем много взыскан, также и его высочеством царевичем, коего удостоился сопровождать от града Львова, что в Червоной Руси, до Киева, — отвечал Левин служебным тоном.

— Так се вы провожали царевича? — с удивлением спросила старушка.

— Я, Елена Даниловна.

— То-то недаром наша служка Докійка казала, що бачила вас с царевичем у лаври, а потим признала вас, як вы вже лежали у нас хвори. Мы думали, що вона так-соби меле.

Звяканье монист возвестило пришествие Докий-

ки. Она принесла квас. Вслед за нею вошла и Ксения. Она казалась смущенною.

— Мамо, — сказала она тихо, не глядя на Левина, — прійшли москали-драгуны, питаються — чи не у нас их началник, копитан Левин? Кажуть — пропав. Та кажуть, що Ермак — его собака. А Ермак як побачив москалив — зараз до их... такій радый.

— Та так же доню: Левин Василій Савич — се ж вони, их началник, копитан... Вин же ж тебе, дурна, и из Днипра вызволив.

Девушка при этих словах взглянула на Левина и остолбенела. Краска сбежала с ее лица. Докийка смутилась и покраснела. Ей казалось, что у них — сам царевич. Она вспомнила Днепр, воду, себя...

ГЛАВА IV

Признание и разлука

Время шло, Левин совсем поправился благодаря теплым попечениям старушки Хмары, хорошенькой Оксаны и добросердечной, всею душою преданной им Докийки, которая была ровесница своей панночки, училась у ней разным молитвам, а ей пела песни, рассказывала сказки и не чаяла в ней души. У обеих девушек были прекрасные голоса, и, как кровные украинки, они звенели ими от утра до ночи, особенно когда Левин совсем оправился и девушки заметили, что он любит их пение. А Левин действительно любил песню потому, что сам он был весь исполнен самого страстного лиризма. Энтузиаст по природе и лирик, он, в силу своего времени и тогдашнего мировоззрения, не мог никуда направить мощь своего внутреннего лиризма, кроме как в религиозную страстность, в религиозный мистицизм. Мысль его, как мысль поэта, всегда выливалась в живые образы, в мистические представления. Оттого еще в детстве и ранней молодости, когда молва о стрелецких ужасах, о кровавых расправах Петра со сторонниками царевны Софьи и старых порядков доходила до его родного вотчинного села Левина, в пензинско-саранской глуши, и доходила уже в легендарной форме народного и отчасти раскольничьего творчества, в уме и в пылком воображении молодого Левина созидались целые образы, и в конце концов перед ним выступал страшный образ апокалипсического антихриста, с его соблазнами, направленными на разрушение мира, с его таинственною «печатью» — погибельным клеймом этого всесильного, человеконенавистного зверя. Против реализма начала

XVIII века, реализма, в фокусе которого стоял Петр I, боролся такой же могущественный и едва ли не более реализма устойчивый идеализм, который приютился в поклонниках старины, в расколе, ушедшем в леса, дебри и пустыни и умиравшем, умиравшем бесстрашно, геройски, на кострах, на плахе, на кольях и от самосожжения, — идеализма, который господствовал и в мягкой, поэтической душе царевича Алексея Петровича, хотевшего лучше отказаться от могущественного трона всероссийского, чем от своего «друга сердешново Афрасиньюшки» и от своих демократических симпатий. К этому разряду людей — к идеалистам начала XVIII века — принадлежал и Левин. Только это была едва ли не самая энергичная личность из всех тогдашних противников грубого, прямолинейного аристократического реализма, которому должно было служить все, как падишаху, не рассуждая, не чувствуя, даже не понимая его. В пензенском захолустье родилась такая странная личность, как Левин, которого не прельщали ни карьера, ни власть, ни нажива, ни блеск; и между тем все это происходило не от природной инерции духа, а от глубокой поэтичности природы, от лиризма, который не мог найти исхода потому только, что Левин черпал всю свою школьную мудрость у дьячка своего села, где отец его был помещиком-вотчинником, и высшее образование его заключалось в беседах с левинским попом о «сложении большого перста с двумя меньшими». Окончательную шлифовку характер Левина и его симпатии получили в среде мужиков, рассказами которых о своих нуждах и чаяниях он и напоен был как губка. Понятно, что Левин не любил военной службы, и хоть дошел в 10 лет до капитана гренадерского полка, однако гренадерский мундир не наполнял всей души его, как он наполняет души многих.

Зато все, в чем был широкий разгул и простор для фантазии, — все это любил Левин. Любил он и песню.

Вот почему, когда хорошенькая, с своим симпатичным контральто Оксана и звонкоголосая Докийка выходили вечером на берег Днепра и, сидя у воды, пели глубоко-поэтические песни своей родины, Левин готов был слушать их пение всю ночь вплоть до зари. Особенно глубоко западала в его душу мелодия песни:

Туман, туман по долини,
Широкій лист на ялини,
А ще ширшій на дубочку,
Поняв голуб голубочку —
Та не свою, а чужую...

И когда песня доходила до того места, где девушка плачет о своем милом, голоса певиц действительно выражали этот безнадежный плач, и Левин чувствовал, что в его жизни начинается что-то роковое и что не легко ему будет оставить этот дом, где весна просилась в его душу... И он слышал в себе эту весну. Тут уж не одни грачи прилетели, а соловьи запели в сердце...

Как бы то ни было, но, поправившись совсем, он должен был оставить дом Хмары.

Раз вечером, когда девушки сидели на берегу Днепра, Левин, стоявший до того времени на крыльце и прислушивавшийся к словам песни —

Пишла б лучче я в черници с чорною косою,
Не терпила б я горечка оттак молодою —

Левин подошел к ним и молча стал глядеть на воду, на то место, где он нашел утопающую Оксану.

— Идить до нас Василій Савич — позвала его

Оксана. Она уже совсем привыкла к нему и не стыдилась его как в первый день.

Левин молча подошел.

— Сидайте и вы коло нас, — продолжала девушка.

Он сел рядом с Оксаной.

— Я заслушался сегодня ваших песен, — сказал он. — Какую это вы сейчас пели?

— Про чумака да про молодицю, що задумала с своею черною косою в монастырь итти, — отвечала Оксана, которая была на этот раз особенно разговорчива.

— Какой у вас голос славный, Ксения Астафьевна, — сказал Левин, — и у Докийки богатый голос...

— А чом вы нам не заспиваете вашои московськои писни, — перебила его Оксана. — Я чула, як москали спивали — якось — «Не будите мене молоду» — чи-що... Таки гарни писни... Заспивайте ж нам, будьте ласкови.

— Что ж я вам заспеваю, Ксения Астафьевна? У меня все невеселые песни.

— Ну хоч невеселу.

— Да я давно не пел — боюсь, не сумею.

— Ни, ничого, мы послухаемо. А то й мы николи не будем вам спивать.

— Хорошо... Вот разве эту — мою любимую.

И он запел известную тогда, разнесенную по всей России опальными стрельцами и понизовою вольницею, песню:

Не шуми ты, мати, зеленая дубравушка,
Не мешай мне, добру молодцу, думу думати...

Левин пел хорошо. Как идеалист того времени, в сердце которого далеко западал всякий протестующий против насилия голос, он принял к сердцу и эту протестующую, предсмертную песню удал-добра

молодца, который накануне казни исповедывал всенародно, в песне, ставшей после него народною и бессмертною, исповедывал свою жизнь, свою вину, и Левин пел страстно, словно бы его самого ожидала завтра казнь.

Девушки слушали внимательно, боясь проронить слово, звук, выражение голоса. Они так и замерли при звуках незнакомой им песни, которой смысл и мелодию они, как дети поэтической Украины, чуяли сердцем.

— Оттак у нас недавно Кочубея та Искру посикли — головы одрубали, — сказала Оксана задумчиво. — Тато сам бачив, як их рубали. За то ж Бог и Мазепу покарав. А бидна Мотря Кочубеивна... Я бачила іи, коли вона була вже черникою...

— А Мазепу вы видели, Ксения Астафьевна? — спросил Левин.

— А як-же-ж! Вин у нас часто бував, коли жив тут у Кіиви на гетманстви. Я тоди була ще маленька то було посадовить мене до себе на колина та й сміеться: «Ой-ой, боюсь, каже, боюсь! Яки в тебе, каже, очи, Оксанко, велики... Як-бы, каже, такими очами замисть куль стриляли в мене татары, то пропав бы я зовсим». А потим уже казали, що вин хотив узять за себе Мотрю Кочубеивну, а там и сам пропав.

— А в полтавской баталии батюшка ваш принимал участие? — спросил Левин.

— Принимав. Я тоди ще в монастыри вчилась.

— Так вы учились в монастыре?

— Чотыри годы вчилась.

— А я панночци ласощи в монастырь носила, — вставила в разговор свое слово Докийка.

— Вот как! Так и ты была черничкою? — шутя спросил Левин.

— Ни, пане, я так ходила.

— Чему же вы там учились, Ксения Астафьевна?

— Божественному писанію... На крылоси спивали... «Трубу» Лазаря Барановича читали[3]: оце яка бувало в нас провиниться, ту зараз и заставляют читать «Трубу», а вона зараз в слезы.

— Отчего же? И что это за «Труба» такая?

— Книга така, зовется «Труба», Лазарь Баранович написав... И поплакала ж я над сею «Трубою»! Така трудна, така товста, що Господи!

Левин невольно засмеялся — так ему понравилось это наивное признание.

— А вы, верно, большая шалунья были в монастыре? — спросил он.

— Я у матушки игуменьи закладку бувало в «Патерици» перекладую, а вона й забуде, на якому святому остановилась, та зараз и каже: «Се певне лупоока коза Ксенька Хмара переложила...» То вже мени й несуть «Трубу», а я плакать.

В это время на Днепре, вдали от берега, послышались голоса. Сквозь вечернюю темноту можно было различить, что плывет лодка, наполненная людьми. Сидевшие в лодке говорили по-русски.

— Се москали, — тихо заметила Докийка.

Действительно, слышна была великорусская речь.

— И указал он, братец ты мой, запереть все улицы — «прешпехтивы» по-ихнему, чтобы никто по ним, значит, не ходил и не издил, — говорил один голос.

— Как же так? А коли дело есть — идти или ехать надо: как же тут быть?

— Поезжай в лодке по Неве, али по Невке.

— Да как же я до Невы-то доберусь? Все же надо улицей идти.

— Ни-ни! Ни боже мой! Пророй прежде канаву, да в лодке и поезжай. А коли ты пошел, либо поехал по улице — тотчас ноздри рвать, да в Сибирь.

— Верно.

Далее слов не было слышно, а немного погодя раздалась песня, доселе звучащая по всей русской земле: «Вниз по матушке по Волге».

Оксана и Докийка слушали эту песню, притаив дыхание. Левин тоже сидел молча, не будучи в силах освободиться от тяжелого впечатления, произведенного на него болтовней солдат, болтовней, которую, однако, повторяла вся тогдашняя, взбудораженная и напуганная петровскою дубинкою, Россия.

Из-за сада, за которым стоял дом Хмары, послышались окрики: «Докіе? Доко! Де ты?» То кричала Одарка, наймичка в доме Хмары, ходившая за панскими коровами, телятами и свиньями и отлично умевшая готовить колбасы для самого гетмана Мазепы, до которых покойник был «вельми ласый». «Докійко! Де ты, иродова детина!» — повторился окрик.

— Ось-де я, бабусю, — отозвалась Докийка и бросилась к дому.

Левин и Оксана остались вдвоем. Оба молчали. Первым заговорил Левин.

— Эта песня всегда напоминает мне детство и родную сторону, — сказал Левин. — Я слышал ее на Волге, маленьким, когда мы с отцом были в Саратове. Мимо Саратова проезжала большая косная лодка, и на ней пели эту песню. Сказывали тогда, что то была понизовая вольница. Воевода послал команду перехватить лодку, так те не дались — из ружей палили. Одного казака ранили. А после опять грянули песню — так весь Саратов сбежался на берег. Так пришлась мне по сердцу их песня, что я, маленьким, сам думал уйти куда глаза глядят, чтоб потом стать атаманом, вроде Ермака Тимофеевича, и идти в Ерусалим — отбить его у неверных. Да так на том и остался. Взяли меня в царскую службу, дослужился я до капитана, мыкался по белу свету, и опостылела

мне эта служба. Заскучал я. Если б мне не думалось послужить после нашему царевичу, — полюбился он мне, — так я бы давно ушел в монастырь, на Афон, в Святую землю. Опостылела мне Русь, тянет куда-то в страны неведомые. Да я и уйду.

Девушка сидела молча, потупив голову. При последних словах Левина она вздрогнула и еще более потупилась.

— Только у вас, пока я лежал больной, я и увидел свет Божий, — продолжал он. Да не надолго и это. А теперь опять пойду горе мыкать по свету. Буду вспоминать ваше добро и молиться за вас. Завтра надо собираться в путь, указано мне быть в армии. Не вспоминайте меня лихом, Ксения Астафьевна...

Что-то как бы хрустнуло около него. Он взглянул на Ксению. Она стояла, стискивая руки и ломая пальцы. Белая «хусточка», которую она держала в руках, как-то странно дрожала.

Левин встал и нагнулся к девушке.

— Ксения Астафьевна, — тихо окликнул он ее.

Молчание, только пальцы на руках девушки хрустнули.

— Ксения Астафьевна! Что с вами? — с испугом спросил Левин.

Девушка судорожно рыдала, припав лицом к ладоням, Левин растерялся. В вечерней тишине откуда-то доносились слова песни:

Ой гаю мій, ґаю, великій розмаю,
Упустила соколонька, та вже й не піймаю...

А из-за Днепра по воде в гулком воздухе неслось к этому берегу треньканье русской балалайки и слышалось, как под это треньканье солдатик отчетливо выговаривал:

Ходи изба, ходи печь,
Хозяину негде лечь...

Девушка застонала и рванулась было уйти.

— Ради Бога! Ради Бога! — взмолился Левин и старался удержать ее. Девушка дрожала всем телом.

— Ксения... Ксения Аста... фьевна... Боже мой!.. Что с вами?

— Вы... вы вже... я...

Голос срывался, слова пропадали. Левина жаром обдало... «Грачи — проклятые грачи прилетели... я упаду...»

— Вы... из воды мене... у смерти взяли... — растерянно бормотала Ксения.

Левин припал губами к ее руке: «Я ... я не могу... я пропаду...» — шептал он.

Если бы в это время он взглянул в лицо Ксении и если бы мрак не окутывал его, то его поразило бы выражение этого лица: зрачки глаз расширились как у безумной, страшная бледность покрыла щеки, за минуту до того горевшие румянцем, во всем лице, в повороте головы, в складках бровей, разом явилось что-то зловещее. Она вся как бы застыла, превратилась в камень, в мрамор, в статую. Но это было только одно мгновение. Едва Левин, сам не зная что делает, стал гладить ее голову, точно маленькому ребенку, девушка вздрогнула и, обвив руками его шею, заговорила задыхающимся голосом:

— Ох, утопи мене... утопи сам, своими руками... Я не хочу без тебе жить... утопи мене... Чом ты тоди не втопив мене, як я потопала? А тепер покидаешь... Утопи ж, утопи...

Дальше она не могла говорить — нечем было: губы ее были заняты... Ни о каком потоплении дальше не могло быть и речи, потому что...

— Оксанко! Оксанко! — раздался голос матери. — Де ты, донько?

Руки девушки разжались. Разжались и его руки...

А за Днепром неугомонный москаль продолжал вывертывать:

Ходи изба, ходи печь,
Хозяину негде лечь...

Вот так-то все в жизни идет вперемежку.

ГЛАВА V

Начало конца

Стоим мы эдак, братец ты мой, у самого Прута — река такая турецкая, Прутом называется... Уж и подлинно «прутом» она, окаянная, вышла для нашей армеюшки; а так плевая, непутящая речонка, а поди ты, дала себя знать, подлая... Ну и стоим, не емши, не пимши стоим, от гладу помираем. А он, значит, турецкий визирь с янычены навалился на нас с трех стран. И откуда нелегкая нанесла эту саранчу, и как царь со своими енералы в экую западню попал — один Бог ведает. Эдак, примером, мы стоим, а эдак он, визирь проклятый, и эдак он: куда ни повернись, везде он. И очутились мы, братец ты мой, словно рыба в верше. Как тут быть? А царь-то с царицей еще не знает об этом: он с своими енералы подале стоял. Ну, как дать знать царю? Мы-то маленько окопались, да за окопами и ждем смертушки, словно овцы в кошаре. Отсюда и турецкая рать нам видна. А чтобы до царского отряда дойти, надо чистым полем проходить: это все равно, отец родной, что под турецкий прицел стать. Ну, и выискался, слава Богу, охотничек. Уж и дьявол же его знает, что это за окаянная башка была! Из здешних, из малороссийских полков — запорожский казак, черкашенин. Стоим мы эдаким способом за окопами, исповедуем грехи свои Господу, как вдруг видим: по этому-то по чистому полю дьявол скачет, запорожец: шапка на ем не шапка, кафтан — не кафтан, штаны — не штаны, а все это, братец ты мой, словно на черта шито, да не ему досталось, а этому черкашенину. И пес его знает, где и как он из-за окопов выскочил, точно из земли вырос.

Рассказчик замолчал, потому что в это время из соседней комнаты послышался говор. Старческий голос немножко в нос и нараспев возвещал: «Истинно глаголю вам — он подлинный антихрист. Внемлите сие: в некоем монастыре, во время Пасхи, соделяся таковое чудное видение: в нощь пресветлого Христова Воскресения отцы и братия монастыря того в часовне заутреню пели; такожде и матери, и сестры вси во своей половине, в той же часовне, у заутрени стояли; некая же из них богобоязливая жена в болезни лежала, не можаше на пении стояти, и в келии своей пребывала; вышед на переходы посмотреть на часовню, и се виде страшное и ужаса исполненное чудо: видит она бесов во образе немцев и ляхов, якоже видел таковых бесов во образе ляхов преподобный Феодосий печерский[4]; и идут те бесы к стене часовенной и по стене идут, яко мыши цепляющеся, и бысть бесчисленное множество бесов, с яростию на часовню идущих; и егда оные бесы приблизились к дверям и окнам, и внезапу изыде из часовни, из окон и из дверей, пламень огненный, с яростию свирепо исходящ и на бесов нападающ, попаляя их, аки мотыльков; и бесы аки изумленные с ужасом бежали от часовни, вопиюще: «Поидем во град Питер, помолимся господину нашему антихристу, да повелит бесчисленнейшей рати бесовской напасти на часовню сию». И как бежали бесы от часовни, и пламень тот опять окнами и дверьми в часовню вошел. И по малом времени приидоша беси несметною ратию и, вооружившися своим бесовским свирепством, паки ко оной часовне, ко дверям и оконцам, аки мошицы малые устремилися, хотяще в часовню внити. Пламя же из часовни оконцами и дверьми паки свирепее первого исхождаше и бесов пожираше. И бежаху беси с шумом. И в третий раз пришли бесики аки дождь бесчисленны, и с великою яростию покрыли

всю часовню. И паки свирепое пламя пожрало оных и разметало, и вси исчезоша аки дым, вопиюще: «Антихристе! Антихристе! Помози нам!» — таково бысть чудо. Жена та явственно слышала, яко антихрист во граде Питере царствует».

Гугнявый голос замолчал. Слышались только вздохи из соседней комнаты.

— Ишь безлепицу городит об антихристе, — заметил рассказчик. — Это он все сбивает с толку капитана Левина... Жаль бедного капитана...

— Ну, а ты, дядя, не слушай их, — говорил молодой ратник старому рассказчику. — Ну, что ж черкашенин-то, запорожец — что дальше-то? Выскочил он, говоришь ты, на чистое место...

— Вот как только выскочил это он на чистоту, — нам его видно как на ладони, — и зачали, братец ты мой, в ево турки жаром жарить, то есть, я тебе скажу, так жарили ружьем да стрелою в этого самого беса-запорожца, кажись, целым дождем в ево сыпанули!.. Мы стоим только да крестное знамение творим: «Приими, Господи, душеньку на брани убиенного во царствие Твое». Ну, и чего ж он, окаянная его, прости Бог, башка бритая не выделывал только! И уму непостижимо, а рассказать — и не спрашивай. Уж такие штуки вывертывал, окаянный, и он, и лошадь его, — так, и лошадь-то не мудреная, — уж такие-то вавилоны творил, что и сказать нельзя... Уж он, братец ты мой, кружил, кружил, вился, вился, как уж на солнышке, и на эту-то сторону, шельма, перекинется, кажись, так башкой и хлобыснется оземь, и на ту сторону, подлец, перегнется, под самое-то черево лошади; и припадет-то он к луке и гриве, словно мать родную али любушку обнимает; и откинется-то на седле навзничь, головой к самому хвосту, ну, так, кажись, и хряснет у разбойника спина; и с лошадью-то шарахнется в сторону... То

есть и черт его разберет, какие узоры выводил он, бес, во образе человека!.. А турки все лущат в ево – лоп, лоп, лоп! — и все мимо, все мимо... Вот уж шельма ездить, такая шельма, каких я и отроду не видывал. На что донские казаки люты на езду, а и тем далеко до этого бритого черта. Уж подлинно черт! И какая ево черноглазая шельма-мать на свет породила! Так-таки и ускакал целехонек к самому царю — только мы и видели его.

— Ну, и что ж потом было, дядя?

— Да все то же. Ждали смертного часу.

— А для чего ж турки не ударили на вас?

— Да надо так полагать — силу копили, подмоги поджидали, чтоб заразом нас порешить.

— Ты говоришь, запорожец скакал к царю с вестями, — продолжал расспрашивать молодой ратник, — так зачем же турки не послали на переем своих конных?

— А посылали... Кто ж тебе говорит — не посылали. И с ихней стороны выскочили двое енычен. Как учали это они полем-то гнать за черкашенином, так из Кропотова Гаврилы полка, что окопался поруч с нами, ловко попотчивали их свинцом, так обоих и ссадили с коней.

— Как же вы потом выбрались из-под Прута-то? Баталия была?

— Баталии были раньше, а тут нас хотели голыми руками взять, как дудаков в гололедицу. Да спасибо матушке-царице, Катерине Алексеевне, выручила.

— Как?

— Да так, красотой своей да умом. Как уж плохо совсем пришлось царю, как прискакал к ему наш запорожец с вестями, что так и так-де, в вершу-де щука попала, выхода нет армеюшке, и сила турецкая, несметная, окружила со всех сторон, так, сказывают, матушка-царица и пошла прямо к турецкому визи-

рю, входит к нему в шатер и говорит: «Читал ты, визирь турецкий, святое Писание?» — «Читал», — говорит. — «А читал ты, как Навуходоносор-царь напал на Ерусалим-град?» — «Читал и это». — «Помнишь ты, как тогда Соломон-царь послал к ему, к Навуходоносору-царю, жену свою прекрасную Соломонию, и как Навуходоносор-царь, пораженный ее красотою, ослеп, а прекрасная Соломония, взяв его меч, отрубила ему голову и принесла ее к Соломону на золотом блюде?[5] Помнишь, говорит, это?» — «И это помню», — говорит визирь турецкий. — «Так теперь, говорит царица, видишь ты, визирь турецкий, мою красоту?» — «Вижу», — говорит. — «Так знай же, говорит, что и с тобой будет то же, что с Навуходоносором-царем, ежели ты не покоришься русскому царю». Ну, и говорят, — визирь турецкий покорился.

Разговор этот вели между собою в лазаретной избе, в Нежине, двое ратных людей — один старый, участвовавший в памятном прутском походе, а другой — молодой солдат. В соседней комнате лазаретной избы, в офицерской палате, находился Левин, который давно уже числился больным.

Действительно, с тех пор как он узнал, что Оксана Хмара любит его, по его жизни проехало тяжелое колесо и изломало всю его душу. Он был неузнаваем. Что-то зловещее светилось в его глубоких, глубоко запавших глазах. В четыре года он состарился лет на сорок. На лицо его легла мрачная тень, и тень эта, как несмываемый загар души, залегла в каждую складку тонких морщин лба, засела в очертаниях губ, под глазами, темнела в горькой улыбке, в самом блеске глаз, зрачки которых сделались больше, темнее, стоячее, как у мономана-фанатика.

— «Егда прииде антихрист и нача свой бесовский град Питер строити, именуемый «парадиз», сиречь рай пресветлый, в поругание якобы раю небесному,

— доносилась гугнявая речь из офицерской палаты, — и нача со всея российской земли народ сгонять на строение бесовского града того, нача землю рыти и самозваные реки, сиречь каналы, проводити, идеже Бог не повеле рекам быти, и с того часу бысть глад в русской земле — хлебный недород и частые зябели, нивы престаша соспевати, и быша подати и оброци велии, и ратное дело непрестанное, мало старцев согбенных летами и ссущих младенцев не брали в солдаты, и колокола церковные, и иконные оклады, и ризы в пенязи нача обращати да в пушки, и оттого посети Бог российскую державу скудостию велию, и мором, и гладом, и немцы. И от той скудости начаша люди солому ржаную сещи и кору древесную толочь на муку, и начаша хлебы соломенные и древесные ясти — точию раствор ржаной, а замесь соломенной и древесной муки. И те соломенные хлебы в куче не держалися — помялом из печи пахали да в властяжные бураки и коробки клали. И такова стала скудость хлебная, что днем обедают, а ужинать и не ведают что, многажды и без ужины живут. Того ради бесовским научением, по антихристову велению, начаша матери кур и телят красти и детей своих в пост скоромным кормити. И бысть оттого на русскую землю Божие попущение. Приим антихрист державу — нача всех мучити бесовскими муками: начаша у людей животы пухнути от вхождения во чрево с неблагословенною пищею бесов, и люди кричаху дома и на обедне, мятеж велий по всяк час, и о землю биются аки оглашенные, и бысть крик неподобен и ужаса исполнен — неподобными гласы кричат по весем и градом мужие и жены, старцы и юницы, и малые робятка. И тем юницам и робятом начаша беси являтися в немецком образе, имея брады оголенные и немецкое одеяние на себе носяще, и приносили им ества всяку тайно и кормили их,

заказывая никому не поведати о том. И бысть чудо в Выговской святой пустыни на Выге-реце[6]. Видевше старцы пустыни тоя таковое дьявольское на юниц и робят нападение, начаша оных девиц и парней распрашивати, и приказывали сказывати им, старцом, когда к ним оные бесы подходят и что приносят. И иные из них, как бесы к ним невидимо подходили, начали сказывати старцом и указывати на тех бесов. И бесы, гневаясь и врящеся на них, начали на них нападывати и бити их лютея, и егда кто скажет, что бесы пришли, наущают-де хлеб и кур у старцов красти, и тех бесы о землю бросали и вельми били. И начаша святии старцы о сем зело скорбети, понеже и в окрестных, и в дальних обителях масло, и кур, и телят, и огурцы соленые, и грибы белые, и рыбу бесы воровали и девкам на поседки носили, и начаша выговские и керженские и иные пустыножители молити всемилостивого Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа и Пречистую его Матерь, Пресвятую Владычицу Богородицу, и частые молебны пети начали и оных девок и парней на молебнах под евангелие водити и над ними святое евангелие по мног час читати. И запретили отцом и матерем детей своих на поседки и на иныя бесовские сборища отпущати. И от такового бесовского нападения бысть на всех страх и ужас не малое время. И начаша бесов крепко караулити и пищу от них не веляху принимати и ясти. И возгневашася на них беси со отцом их сатаною и врящеся глаголаху им: «Почто вы на нас сказываете? Мы вам со всех обителей кур и телят и рыбу сносили да вас тайно кормили». И ругахуся им.

— Да что он с капитаном-то нашим делает, гугнявый этот, странник что ли он, к чему он подводит? — спросил молодой солдат старого, когда в офицерской палате смолкла монотонная речь.

— Отчитывает его... С Василей-то Савичем что-то неладное делается, задумываться стал.

— Что-то и я вижу. Да с чего это думать-то он начал?

— Бог его знает... Допреж того капитан Левин из гренадеров гренадер был, кречетом смотрел, а ныне — словно черноризец.

— С-глазу, должно.

— Не с-глазу, а от мыслей это бывает, братец ты мой, — говорил наставительно старый солдат, что был в прутском походе. — А мысли-то вон эти шатуны напущают... Ишь его нудит!

В соседней палате действительно слышно было как гугнявый продолжал нудить над Левиным.

Нудил гугнявый:

— Ты вот Левиным прозываешься, а не лев ты у Господа, а пес смердящий. Аще хочешь быти львом, подобает ти в ризы ангельские облачитися и житием украситися добродетельным, от грехов и страстей удалятися и от грехопадных мест отпадати, покаянием же себе очищати и чисто, и целомудренно жити, блуда бегати, скверн плотских удалятися...

— Да что ты, старик, наладил — блуд да блуд, да скверны плотские? Мне и без того тошно! — послышался протестующий, хотя слабый голос Левина. — Вот уже четвертый год я не гляжу на женщин...

— И благо делаешь, сын мой... А в ту пору, как ты был в Киеве, в проезд царевича Алексея Петровича, не бес ли, в образе девицы леповидныя соблазнил тя?

Левин, по-видимому, был поражен словами старца.

— А ты разве видел меня в Киеве? — спросил он.

— Кто ж тебя тогда не видел? — отвечал старик.

— Ну, и что ж дальше?

— Дальше ты сам знаешь: уязвила тя красота женская. А то был бес блудодей...

— Врешь ты, старый черт! — вскрикнул с негодованием Левин. — Она — чистая голубица, чистою голубицею и осталась.

— Вон оно что, — сказал молодой солдат, — у нашего капитана — зазнобушка.

В это время послышался торжественный звон церковных колоколов. Все изумились и не знали, что это означает. По улице бежали люди.

— Что это такое? — испуганно спрашивал Левин. — Уж не царь-ли наехал?

— Пропали мы все, пропали батюшки!.. Свят-свят-свят Господь Саваоф[7], исполнь небо и земля славы Твоея! — слышался растерянный голос странника.

А колокола все громче и громче заливались. Народ все больше валит по улице.

— Ох, Господи! Печерские угодники! Укройте невидимою пеленою своею, — молился старческий голос.

— Нам нечего бояться, — сказал старый солдат. — Мы бывали на светлых царских очах.

— Ну, а вот я, дядюшка, не видал его — так страшновато, — говорил молодой солдат. — Сказывают вить, что у него дубинка в косую сажень, и коли что не по нем — не миновать дубинки.

— Что, братец ты мой, дубинка? Она, значит, для больших бояр, а коли наш брат-солдат в линии как есть ходит, так царь всегда бывает милостив. Службу знаешь, артикулы воинские произошел, стоишь прямо, ходишь чертом, ну и все ладно, — резонировал старый солдат.

— Так-то так, дядя, а все боязно...

— Куда ж ты, старик? — снова послышался голос Левина.

— В пустыню, батюшка, во прекрасную пустыню иду укрытися от света сего прелестного... А то не ровен час — царь увидит, а он нашего брата не жалует.

Колокола смолкли. Слышен был только говор на улице.

ГЛАВА VI

Стефан Яворский в Нежине

Оказалось, что не царя встречал Нежин колокольным звоном, а бывшего обывателя своего, которого нежинцы видели босоногим мальчиком... Много лет прошло с того времени, когда тот, кого теперь встречали по-царски, бегал по нежинским улицам маленькими босыми ножками... Много с той поры пережила Россия — обритая, одетая в немецкое платье, повернутая лицом к западу. Много пережил и тот, кого теперь встречал Нежин церковным почетом и колокольным трезвоном.

Это был Стефан Яворский, митрополит рязанский, блюститель патриаршего престола в России.

Яворский был украинец по рождению. Родина его — Нежин. Отсюда он поднялся на самую высокую должность в государстве и постоянно жил в Петербурге со времени его основания. Но высокий сан, жизнь среди суровой природы севера, нравственный холод, которым веяло от царя и от всего, что от него исходило, тяготили Яворского. Он скучал по Малороссии, тосковал по своей далекой родине: там прошла его молодость... Он просился у царя на покой, чтобы хоть перед могилой родной воздух отогрел и успокоил его усталую душу, но царь не пускал его: таких умных, незакоруздых в предрассудках старины, какими были великорусские невежественные духовные деятели, таких образованных и в то же время податливых работников в деле церковных реформ, какими являлись украинские духовные, царь очень ценил и нелегко с ними расставался.

Старые, усталые от многочитанья глаза митрополита, глаза, много видевшие на своем веку, прочи-

тавшие с холодною непоколебимостью государственного человека сотни смертных приговоров, от его же власти исходивших, видавшие и блеск, и роскошь, взоткнутые на колья головы и поверженные на смертные колеса трупы казненных, глаза эти светились слезами умиления, когда Яворский въезжал в родной город, где он не знал ни власти, ни блеска, ни славы, а был счастливее, чем теперь, когда изведал все это.

Въехав в город и направляясь прямо к церкви, митрополит заметил на одном огороде очень высокое и очень старое дерево, на котором чернелось воронье гнездо и вокруг него с криком кружились вороны. При виде этого дерева кроткие, уже потухавшие от старости глаза митрополита блеснули теплым огнем и рука его, украшенная дорогими четками, благословила и дерево, и воронье гнездо. Сидевший с ним в одном экипаже маленький певчий, любимец митрополита, с удивлением взглянул на своего владыку.

— Тебя изумляет крестное знамение, которым я знаменовал сие дерево и гнездо ворона? — спросил митрополит мальчика.

— Да, владыко, — отвечал тот.

— Дерево это дорого мне по воспоминаниям детства, — сказал блюститель патриаршего престола. — Когда я был отроком, это дерево было такое же высокое почти, как и теперь, только тогда оно не имело сухих ветвей. И тогда на нем было это же воронье гнездо. Я любил лазить на это дерево в детстве моем и всегда наблюдал, как вырастали в вороньем гнезде птенцы, питаемые неустанно трудившеюся матерью. Эта ворона научила и меня труду, и я благословил ее гнездо... Сколько поколений вывелось в нем с тех пор, как я не видал этого дерева!..

Но было и еще одно воспоминание молодости,

которое, при виде старого дерева, чем-то растапливающим прошло по застывшему уже сердцу маститого блюстителя патриаршего престола, воспоминание, посещавшее его иногда и в минуты глубокого раздумья о судьбах России, и во время бесед с царем, и за чтением житий святых и подносимых ему для прочтения смертных приговоров, воспоминание, пробиравшееся к его сердцу сквозь митрополичье облачение, в алтаре и на амвоне, в момент благословения народа или во время поучений паствы, воспоминание, связанное с старым деревом запахом «любистка» и женским шепотом... «Сердце мое... рыбко моя...» Невольно вздрагивал в руке митрополита благословляющий крест во время большого торжественного выхода, когда это воспоминание с запахом «любистка» налетало на него среди церковного пения, в курениях фимиама, — воспоминание, без которого вся его жизнь казалась бы долгою, холодною, беспросветною ночью... Но об этом воспоминании он не сказал не только своему маленькому певчему, но и никому в продолжение всей своей долгой, безрадостной жизни.

Теперь, в 1715 году, когда знаменитый сподвижник Петра, славный проповедник и блюститель патриаршего престола, святитель Стефан Яворский невольно вспомнил о «любистке», он приехал в Нежин на освящение вновь построенной в этом городе церкви.

И вот он совершает это освящение... Ярко блестят паникадила, унизанные горящими свечами. Ярко искрятся на митрополите пышные ризы, отливающие разноцветными огнями драгоценных камней. Воздух церкви переполнен, не в меру насыщен ладаном. Церковь полна народа. И седые головы стариков с сивыми казацкими усами, и морщинистые лица старушек, и чубатые головы черномазой молодежи,

и яркоглазые головки украинок, утыканные барвинками, васильками и «любистками», — все это обращено в ту сторону, где, подняв руки к разрисованному куполу, молится старый митрополит... Жарко молится он о благоденствии своей родины, о страждущих, плененных... Утомленные легкие едва выносят, вдыхая в себя жаркий, пресыщенный всякими запахами воздух... но из всех этих запахов запах «любистков» выделяется чем-то особенно едким для сердца, для глаз — и старым глазам владыки плакать хочется, закрыться, чтобы хотя «в тонце сне» еще раз увидеть то старое дерево, то воронье гнездо, обонять тот запах «любистка...»

И у Левина на душе, как видно, был свой незасыхающий любисток... Вон он, у правого клироса, худой, бледный, стоит и плачет...

Стефан Яворский видит это. По окончании службы он высылает из алтаря своего маленького певчего узнать, что это за человек, который так горько плачет.

— Велел владыка спросить тебя, какого ты чина человек? — спросил маленький певчий.

— Кропотова Гаврилы полка капитан, Василий Левин, — отвечал тот, — и ныне оставлен с прочими больными в Нежине.

Певчий ушел. Через минуту, он опять возвращается из алтаря и подходит к Левину.

— Велел тебе архиерей побывать у него на квартире, — говорит он.

Левин благодарит и выходит из церкви. Народ не расходится. Пчелиным роем он волнуется и жужжит около церкви, у паперти, у ворот, за оградой. Яркие цвета одежды, особенно на женщинах, раскрасневшиеся лица, головы, убранные цветами, шеи, унизанные монистами, косы с развевающимися яркими «стричками», — все это напоминает Левину Киев,

лавру, приезд царевича, берег Днепра... Черная головка с цветами... голос, звук которого годы не убивают, страдания не вытравляют из нервов, из сердца... этот дорогой голос — его не слышно... И вместо него — звуки проклятой песни:

Ходи изба, ходи печь,
Хозяину негде лечь.

Левин, вспомнив о приглашении митрополита и безнадежно опустив голову, побрел домой.

Целых три дня не решался он воспользоваться приглашением. Чем мог помочь его горю митрополит? Разве он в силах возвращать миру людей, которые заживо похоронены? Да и понятен ли будет для него тот мрачный мир, в котором блуждает теперь душа Левина?

Но, как бы то ни было, через три дня он пошел к Яворскому. Митрополит встретил его ласково, благословил не столько рукою, сколько добрым выражением глаз, глубоко заглянувших в душу Левина... Исповедальней казалась ему полутемная, с глядевшею в окна зеленью комната, в которой принял его старый архиерей, только это была не та исповедальня, где каются в грехах. Левин не чувствовал над собой тяжести грехов, над ним тяготело что-то иное, ему самому неведомое. Одно, что отчетливо и остро сверлило его память — это чувство утраты чего-то дорогого, незаменимого, невытравливаемого из души.

Митрополит был один. На столе лежали крест и евангелие. На маленьком окошке, нижняя шибка которого была поднята, скакал воробей, смело поклевывая крошки, брошенные ему рукою старого архиерея. В комнатке пахло «любистком», зеленью которого был обвит крест.

— Горе есть у тебя на душе, сын мой, — почти с первых слов заметил митрополит.

— Болен я и душою, и телом, преосвященнейший владыко, — отвечал Левин.

— Несть болезни, ея же бы не уврачевал Господь, — заметил митрополит и кротко улыбнулся.

Воробей скакал уже по столу, боясь приблизиться к огромной печерской просфоре, лежавшей рядом с евангелием.

— Ты, сын мой, похож на этого воробья: хочешь вкусить просфоры райской — и боишься, — серьезно сказал митрополит.

Левин молчал. Подняв глаза, он увидел, что митрополит с грустной сосредоточенностью смотрит на него и как бы боится прервать течение его мыслей.

— Я недаром призвал тебя, — сказал, немного помолчав, митрополит. — Кто так плачет, как плакал ты в храме, у того в душе есть сокровище невидимое. Мои глаза многое видели в этой жизни, сын мой, и я научился отличать одну человеческую слезу от другой. Немногие так плачут, как ты плакал. Не за себя только были эти слезы, они мешались, невидимо, с другими слезами человеческими. А сих последних много, о! много, сын мой. Ты понимаешь меня?

— Не знаю, владыко.

— Сердце твое поймет меня. Поведай мне жизнь свою, покажи кости жизни твоей, плоть же и дух ее я уразумею... Давно ты находишься на государевой службе?

— Пятнадцатый год, владыко.

— Прилежит ли сердце твое к оной?

Левин не отвечал. Митрополит подошел к столу, взял евангелие, раскрыл его и, подавая Левину, сказал: «Прочти это, сын мой».

Глаза Левина упали на текст евангелия: «Да не смущается сердце ваше», — начал было он читать, и

— не мог. Слезы подступили клубком к горлу, к глазам, и он заплакал.

— Плачь, сын мой, — тихо сказал старик и положил руку на голову плачущего.

Левин, схватив эту руку, с плачем припал к ней губами.

— Владыко... преосвященнейший... прости меня, — говорил он, удерживая истерическое рыданье. — Мне легче стало... Я исповедую тебе жизнь мою...

Он остановился, как бы собираясь с силами. Митрополит, благословив его евангелием, положил книгу на стол.

— Сядь, сын мой, — сказал он.

В комнате воцарилось молчание. Воробей, наскучив бесполезным хождением около неприступной печерской просфоры, выскочил за окно на соседний бузиновый куст и вступил в ожесточенный бой с другими воробьями, чем-то его обидевшими.

— Не жилец я на этом свете, только Бог смерти не посылает, земля меня не принимает, — сказал Левин, несколько успокоившись, — нет мне могилы на белом свете, должно быть дерево, что Господь на гроб мне растил, черви источили, громом разбило... саван мой на рубашку врагу моему лютому смерть сама перешила... Да, нету мне гроба и савана... В утробе матери меня кто-то проклял...

— Не говори так, сын мой, не гневи Бога, — кротко заметил старик.

— Я о себе говорю, владыко, о моем рождении проклятом... Родила меня дворянка, и отец мой роду дворянского, и я сам от семени дворянского, не от плоти и похоти Хамовой... А вышло мне Хамово житье[8] — участь Каина, хоть я и не убивал брата своего... Родился я далеко отсюда, за Пензой, под городом Саранском... Должно быть, мать моя горьким молоком меня вздоила, горькой полынью поила, на полыни в зыбке качала, что жизнь мне далась

горькая... Помню добрые очи дьячка Турвона, что грамоте меня учил, крестному знамению наставлял — сам я закрыл эти очи добрые грошами медными, что и в могилу с ним пошли... На эти гроши я выучился, с Турвоном дьячком и наука моя в могилу пошла... Не посылал меня царь за море учиться, Бог помиловал, не из такого я знатного рода был, чтоб обнемечиться... А все же как стрельцов всех перевели словно тараканов...

При этих словах митрополит усиленно начал перебирать четками и так загремел ими, что воробей, снова подбиравшийся к просфоре, с испугом отскочил от нее, а Левин остановился.

— Продолжай, сын мой, — спокойно сказал митрополит, как будто сосредоточивая свое внимание на воробье.

— Так вот, как стрелецкую кровь всю извели, понадобилась и дворянская кровь... Взяли и меня... Служил я и в Полуехтова полку и в гренадерах у Кропотова Гаврилы... Много я наслышался промеж офицеров о том, что наверху делается...

Митрополит опять зачастил четками. Опять у него, кажется, на уме воробей.

— Ну, так что ж дальше? — спросил он.

— Много, много страшного в уши мои вошло, владыко, а назад не вышло, на сердце камнем упало. И лежит там этот камень-то, алатырь камень горючий, что в сказках сказывается...

Левин задумался. Лицо стало еще бледнее, нервные подергивания обнаруживали большую внутреннюю тревогу.

— Провожал я царевича, — заговорил он как бы про себя, опустив голову.

Стефан Яворский весь сосредоточился на воробье. — «Царевича... — повторил он тихо. — Гм... ах ты, воробушек, воробушек... ну?»

Левин взглянул на него.

— Ничего, сын мой... Я вот на Божию птичку смотрю, — сказал старик. — Ну, что ж?

— Провожал я царевича, — продолжал Левин, — такой-то он засмучоный да как будто притомленный...

— А куда ты его провожал?

— В Киев, когда он ехал изо Львова-града... Молился он печерским угодникам и плакал... Заплакал и я... Должно быть пыль с ризы Иоанна Многострадательного, когда я молился, попала мне на сердце... Ну и с тех пор не знаю я покою, владыко... В землю уходит мое сердце, а умирать не умираю...

Он замолчал. Митрополит ждал, когда он снова начнет. Тот все молчит.

— Что же еще, сын мой? — спросил старик.

— Ничего... все.

— Ты не был женат? — спросил митрополит, немного помолчав.

— Нет, владыко.

— Почему же?

— Я похоронил... не я, а другие похоронили мою невесту, когда она еще не умирала.

— Как так? Где? Кто?

— В Киеве, после провод царевича, я встретил девицу... Я случайно, владыко, спас ее от смерти — вытащил из Днепра, когда она совсем уже утонула... Мы полюбили друг друга. Она из хорошего малороссийского роду.

— Чьих родителей? — спросил митрополит.

— Она дочь сотника Евстафия Хмары.

— О, я знаю его: хороший человек. Так что же вышло?

— Так этот Евстафий Хмара с своею сотнею ходил с царем в поход. В прутской кампании Хмара показал великую храбрость и оказал царю личную

услугу. Когда визирь с своими войсками окружил при Пруте российские войска и царю предстояло быть отрезанным от своей армии, Хмара вызвался ехать к царю с вестями. Проскакать мимо турецкой позиции, — а другого исхода не оставалось, — значило идти на верную смерть. Хмара слывет лучшим наездником во всех малороссийских полках, почитается якобы «характерником», и вот он-то проскакал мимо турецкой позиции. В него сыпались стрелы и пули, а он так умел изворачиваться с лошадью и укрываться за нею, что в нее попало несколько стрел и пуль, а он остался цел и успел доскакать до царя на раненой лошади, которая скоро и пала. За это царь и пожаловал его царским жалованьем, а чтобы еще вящшую оказать ему милость, он, узнав, что у него есть дочь невеста, обещал проездом через Киев выдать ее замуж за своего денщика Ивана Орлова. «Надо-де, говорит, мешать великороссийскую кровь с малороссийскою, понеже оттого знатные авантажи для государства произойти могут: от таковаго-де скрещивания подобные изменнику Ивашке Мазепе злодеи в малороссийских людях всеконечно переведутся».

Тонкая улыбка пробежала по умным глазам митрополита, но он ничего не сказал, а опять занялся воробьем.

Левин продолжал, как бы торопясь покончить тяжелую исповедь.

— Царскому повелению нельзя не повиноваться. Когда отец объявил это моей невесте, она с горя хотела наложить на себя руки. Меня в то время в Киеве не было, я был с своим полком в походе... Когда же после воротился в Киев, чтобы вступить в брак, невеста моя уже приняла пострижение в ангельский чин... От смерти ее спасла игуменья... А царю доложили, что она раньше дала обет Богу... После мне

сказывали, что царь велел перевести ее в один из великороссийских монастырей, куда-то почти к самому Санктпитербурху, но в какой — того не ведают... Так я ее и не видал.

Левин замолчал и как-то весь осунулся.

— Да, испытание послал тебе Господь Бог, — сказал старик с чувством. — Но, сын мой, надо покориться Его святой воле.

Глаза Левина блеснули зловещим огнем, но он ничего не сказал.

— Что же ты намерен делать теперь? — спросил митрополит.

— Просился, за болезнию, в монастырь... Может там найду свой саван, хотя бы и черный — белый украли у меня... Да генерал Ренне не пускает без указу, говорит, что царь-де накрепко заказал не увольнять из военной службы в монастыри, а велел-де определять к делам, и в случае болезни для свидетельствования отсылать в Санктпитербурх.

— Так просись туда, и когда туда приедешь, то ни к кому прежде не являйся, а явись ко мне, — сказал митрополит.

В это время в комнату вошел, отстраняя рукою маленького певчего, хотевшего проскользнуть вперед, новый гость, который, глубоко наклонив голову, произнес:

— Черниговский полковник Павло Полуботок прийшов просить благословения высокопреосвященнийшего владыки...

Левин встал и ожидал приказания.

— Да будет над тобой Божие благословение, — сказал митрополит, благословляя его. — Не забудь моих слов.

Затем тотчас же обратился к Полуботку. Левин вышел.

ГЛАВА VII

Калики перехожие

Стоном стонет Троицкая ярмарочная площадь в Харькове. Всевозможные крики зазывателей, предлагателей и торговок, которые точно об заклад побились покрыть весь ярмарочный гам своими голосами; громкие вопли и глухие, но бьющие в ухо унисоны нищих, ходящих, стоящих, водимых и возимых по всем направлениям, невообразимый гвалт, стоящий над цыганским полем, на котором цыгане устроили ристалище из негодных, заезженных и всеми способами искалеченных лошадей; отчаянная музыка самых негармонических, но голосистых, скрипучих и визгливых музыкальных инструментов; ржанье лошадей, точно одуревших от цыганского экзамена и отчаянно взывающих о спасении; писк, визг, смех и покрывающий все это однообразный гул, в который амальгамировался весь нестройный хаос звуков, — все это как-то особенно приходится по сердцу русскому человеку, любящему ярмарку, ныне вымирающую, любящему окунуться с головой в этот омут звуков, потолкаться в этом примитивном клубе, полюбоваться, как вон, на солнечном припеке, донской казак, привстав на седле, с гиком обгоняет скачущего охляп цыгана и стегает его нагайкой, а запорожец, запродавший рыбу с условием, чтобы москаль, вместо могарычу, поставил ему «музыки», с невозмутимою серьезностью, точно священнодействуя, выбивает гопака в кругу таких же, как он сам, серьезных усатых чумаков, привезших на ярмарку соль и спокойно ожидавших покупателей, тогда как «музыка», состоящая из двух пейсатых жидков с двумя совершенно разноголосыми скрипками, виз-

жала так, как сорок тысяч поросят визжать не могут. А вон там, где особенно людно, сопровождаемые любознательными бабами и детьми и ведомые рябым пареньком, знакомые уже нам по Киеву калики перехожие гудут, буквально гудут словно шмели монотонную старо-каличью песню:

Котора калика заворуется,
Котора калика заплутуется,
Котора обзарится на бабицу,
Со бабою котора стакнется,
Со девкою спарится, —
Зарывать того калику в сыру землю...

— Захар Захребетник! Здорово, старина! — раздался вдруг голос из толпы.

Один из калик, ветхий, но коренастый старик с сросшимися бровями, чуть не уронил при этом неожиданном возгласе своего посоха и невольно остановился. Остановился и его товарищ с поводырем.

— Здорово, Захар! — повторился возглас.

К каликам подошел Левин и стал около старшего из них. Калика страшно ворочал зрачками слепых глаз и переминался на месте.

— Здравствуй, кормилец, как те назвать не знаю, — сказал он нерешительно, — слепенький вить я, ни синь-пороху не вижу.

— Знаю, знаю, — отвечал Левин. — А давно я тебя не видал.

— Да ты сам-то кто же изволишь быть, родименький?

— Угадай.

Слепец задумался и, беззвучно шамкая что-то, только разводил руками.

— Нету-ти, отец родной, не угадаю — где, чаю, угадать кого слепому на чужой стороне?

— Да как ты сюда попал?

— В Кеив тоже, кормилец, идем — к угодничкам.

— А из села Левина давно? В Пензе были?

Калика даже об полы руками ударился и замотал головой, бормоча: «Богородушка-матушка, надоумь... Микола угодник, осени́...» — А Левин, улыбаясь, продолжал доправлять свой допрос:

— А что поделывают ваши бары — Левины, Герасим Савич да Василий Савич?

Калика спохватился: «Ах, батюшка-барин, Василь Савич! Как вас Бог милует? Как это вы из-за моря-то в Харьков попали? У нас сказывали, будто вас в немецкую веру раскрестили и за море услали».

— Нет, Бог миловал.

— А братец ваш, Герасим Савич, — дай Бог ему здравия, все с своими мужиками короводится — бегают в мертву голову... Как пошли эти указы на счет некрутства да лесов, чтобы некрут в кандалы заковывать, а за порубку лесу, коли кто дерево срубил, тому ноздри рвать, а коли кто на лапти ободрал, — того кнутом бить, да как стали на деревья казенные «пятна» класть, а народ сгонять в Питер, чтобы таким же побытом, как и лес, пятнать печатьми да селить, слышь, на острове на Буяне, на море на кияне, ну, и стал народ бегать, уйму ему нет.

— Так, так... А пойдемте-ка вы ко мне... Я рад тебя видеть, старого балагура.

— Как же, батюшка-барин, махоньким еще вы любили старого калику Захребетника слушать.

— А кто это с тобой товарищи?

— Что калика слепой — то саратовец... давно со мной ходит. А паренек-ат, коли изволите помнить, так Варварин Полотковой сын.

— Это той, что петь мастерица?

— Ейный. В мать-ту и паренек удался — голосистый.

И вспомнилось Левину его родное село... Вечерний хоровод у мельницы, и эта белокурая Варюша, голос которой покрывает все голоса хоровода... А там и Киев, и Днепр... Все бледнее и бледнее становятся знакомые лица за дымкою прошлого... Только по временам обостряется боль воспоминаний и — проходит, как все в этом мире...

Ярмарочный гул едва слышен. Вон и домик, в котором Левин постой держит в своих перекочевках... Опротивела ему эта жизнь цыганская, сторожевая служба то в том, то в другом конце, а вчистую все не увольняют.

Придя с каликами на свою квартиру, Левин велел своему денщику отвести их на кухню, и накормить приказал, и вина дать им вволю: «Люди-де странние, притомились, так им подкрепа нужна».

Калики были несказанно довольны приемом барина. «Он, как и малым барченком был, завсегда любил черный народ, а уж наши калицкие песни и-и как любил слушать; не чета братцу Герасиму Савичу», — пояснял Захребетник.

После угощения Левин велел позвать нищих в сени своей квартиры. Сени были просторные, светлые, и Левин спал в них летом. Левину приятно было порасспросить своих гостей о тех местах, где он провел детство и раннюю молодость, и где он не бывал вот уже пятнадцать лет. В то время, когда пути сообщения были совсем примитивны, когда не существовало ни правильной почтовой гоньбы, ни современных нам способов передачи известий, знать, что делается в какой-либо местности за тысячу верст, можно было только по бродячим слухам, переносимым то богомольцами, то беглыми и редко-редко путем переписки.

И Левин услышал много для него нового, но во всем, что он ни слыхал, преобладало что-то мрачное,

подавляющее, так что дольше, казалось, жить было невозможно. Население точно в воду исчезало, все уходило в леса, в украйные степи, за Волгу, пряталось в норах и трущобах. Где было по сту, по двести жилых, тяглых дворов, там оставалось наполовину. Масса народу ходила клейменая — с крестами на руках, выжженными порохом: это — царские клеймы за побеги.

— Вот и мне пожаловали царское клеймо, — сказал другой калика, товарищ Захребетника.

Выпив маленько за радушным обедом барина, который тоже возмущался переживаемым страною лихолетьем, этот калика стал посмелее.

— Какое клеймо? — спросил Левин.

— Да вот во лбу, барин... Были и у меня допреж сего глаза, а ноне вместо глаз — клеймы.

— Как так?

— Выкололи царские слуги.

— За что?

— Вот за что. Сошел я с товарищами в Астрахань, бежал, значит. Житье было невмоготу. Как пришли мы в Астрахань — ан там и того хуже. Работы нету. Да и какая, баринушка, работа, коли вся Астрахань собралась было бежать в турскую землю? Такие пошли порядки, что и в пекло бежать так впору. А воевода, Ржевским прозывался, лют-немилостив, коли ты в русской одеже — в Божью церковь не пущает, а коли хочешь войти — на паперти полы велит обрезывать, коли у тебя борода — волосы вырывает, да еще ежели-б по-христиански один волос, а то с мясом и мясо-то с бородой собакам отдает. Такой зверь. А тут прошел слух, что из Казани немцев шлют, чтобы, значит, русских девок на блуд брать: велено-де русских людей в немцев перwebродить. Ну, кому ж охота дите свое губить? Взяли астраханцы да и порешили: всех девок разом об-

венчать с своими же парнями, чтобы немцам не достались. Сказано — сделано. А на радостях и с воеводой покончили: собаке-де собачья и смерть. Тут нам житье стало повольготнее. Да не надолго этого житья-то хватило. Пришел боярин Шереметев с царским войском и разнес Астрахань. Не один топор московские палачи, сказывают, иззубрили на астраханских шеях. Только меня Бог миловал. Я бежал на Дон, к Кондрашке Булавину: в ту пору он атаманствовал над казаками, которые за волю стояли — супротив немецких порядков. Уж и пожили ж мы под рукою батюшки Кондратия: не атаман, а отец родной. А уж коли провинился, расправа недолга: товарищам крикнет бывало: «Судите сами». А суд у нас короток — в куль да в воду — и кончено... Вот эдаким-то побытом, баринушка хороший, и собрали мы круг на Хопре...

— Как же, дядя, ты сказывал, что допреж того вы в Запороги ходили? — вмешался в беседу поводырь, который помнил наизусть все рассказы своего слепого ментора о похождениях голытьбы.

— Верно, ходили, малец-то прав... Это было опосля того, как мы разбили царского воеводу, князя Долгорукова... то-то лихо разнесли мы его на речке Айдарке... Помню, туманное утро было, ни зги не видать... Сиверко так, к зиме время шло... Помню, как и Долгоруков-то князь на осокоре висел... А это мы ему за то, что сам малыих младенцев по деревьям вешал, носы и уши резал, так и доселева на Донце камолые да безносые попадаются, все от ево, от Долгорукова... А как нас казаки-изменники со своим христопродавцем Лукьяшкой стали за ноги вешать, тут мы и махнули в Запорожье. Запорожцы обещали стать с нами заодно. Отселева мы через зиму прошли на Медведицу, на Хопер, да на Бузулук. Голытьба аки саранча шла к нам... Вот тут мы и собирались.

— А как вы у изменников-казаков отвоевали царское жалованье? — снова вмешался поводырь.

— Отвоевали — это точно что... Пропили дочиста! А народ — ни-ни-ни! Мизинцем не трогали. Народ — такая же как и мы голытьба — люди Божьи: за что его обижать?.. Собрались мы это на Хопре. «Братцы, — говорит атаман, — бояре да немцы всех в еллинскую веру переводят! Хотите, молодцы, в еллинскую веру?» — «Не любо! Не хотим в поганую еллинскую веру!» — Вот тут и написал он граматки на весь мир. Мы сами и граматы эти развозили по всем юртам да станицам. От слова до слова помним слова атаманские... «Ведаете сами, молодцы, говорит, как деды ваши и отцы положили, и в чем вы породились. Допрежь де сего старое то поле крепко было и держалось де, а ныне-де немцы старое поле перевели, ни во что почли, и чтобы вам старое поле не истерять... А мне-де, Булавину, запорожские казаки слово дали, и белогородская орда и иные орды, чтоб быть с нами заодно. А буде кто или которая станица тому войсковому письму будут противны, пополам верстаться не станут, или кто в десятки не поверстается - и тому-де казаку будет смертная казнь».

— Однако ваш атаман, я вижу, с мозгом был, — заметил Левин, которого не мог не поразить этот смелый рассказ нищего.

— С мозгом, баринушка, у, с каким мозгом! С кашей бы этого мозгу съесть, так поумнеть можно.

— Ну, так что ж было после этого? У нас в армии не то болтали, — сказал Левин, видимо, заинтересованный одиссеею калики перехожего.

— Что дальше-то было, баринушка... Ладно, слушай только... Вот словно живой он стоит перед моими потухшими очами, атаман-то наш... Ходит это он по майдану, в кругу-то казацком, в чекмене нарас-

пашку, в кафтане, значит, голубом, да как шаркнет его оземь, как полыснет на себе рубаху от ворота до подола, и ну ее рвать в клочки да бросать в народ... «Вот вам моя рубаха, православные! Берите ее замест кабальной записи... Разнесем мы так Русь боярскую да немецкую, как разорвал я свою рубаху, и разберем по рукам... Эй вы, голытьба не поеная, не кормленая, босая и голая! Эй вы, мыши загуменные, тулупы дубленые, чапаны драные, ноздри рваные, спины сечены, искалечены! Идите к нам, донским казакам, за веру стоять, животов промышлять! Будете вы одеты и обуты, сыты и пьяны! Эй вы, атаманы-молодцы! Голый и Драный, Строка и Хохлач и ты, Игнаша Некрасов! Собирайте вы православный люд, копье к копью, чтобы было чем за веру стоять, бороды и головы спасать!» — Ну, и пошла голытьба сыпать к нам, аки мухи к меду. Разбилось наше войско на шесть концов. Мы с Булавиным кинулись к Черкаску — отнимать атаманскую булаву у изменника Лукьяшки Максимова. Отняли. Самому Лукьяшке голову с плеч долой, советникам его тоже. И пошли на нас рати царские со всех концов на наши концы и конец по концу разгромили. Эх, было времячко! Ели кашу с салом, зеленым запивали, горя не знали. А горе у нас за пазухой сидело, с нами кашу ело, в глаза смотрело... Этот Илюшка Зерщиков, что твой брат родной атаманушке нашему, а Илюшка и продал нас, погубил атаманушку нашего Кондрашу Булавина. Как увидал это Кондраша измену, сам на себя руки наложил.

— Давно это было? — спросил Левин.

— На Казанскую будет ровно восемь лет, восьмой год и я свету Божьего не вижу.

Левин стал считать что-то по пальцам... Его солнышко тоже давно закатилось...

— Ну, рассказывай, что же с вами дальше было?

— Дальше пошло все хуже да хуже, худая-то полоса всегда длинна и широка да гладка, а хорошая-то полоса, что сорока пестра... Как Булавин-то застрелился, мы и метнулись к Игнашке Некрасову. Он еще держался. С Некрасовым мы перекинулись через Дон, за Иловлю-речку, к самому Саратову... Ух и заныло ж у меня сердечушко, как увидал я родной город! Хоть и не знавал я в нем радости, а все ж молодость вспомнилась... Молодое-то и горе — спол горя, на весеннем солнышке тает, а старое-то горе и на огне не горит, и на воде не тонет... Подошли мы к Саратову, остановились на Увеке – гора эдакая над Волгой. А Игнаша и говорит: «Эх ты, Волга-матушка, нашему тихому Дону сестрица рожоная! Не слезами-ль ты дополнена, что текут в тебя слезы со всей российской земли? Помоги ты нам, матушка, помоги нам, добрым молодцам, эти слезы высушить...» Дак нет, не помогла. Пропало наше дело, сгинул и Игнаша Некрасов».

Нищий махнул рукой. Все молчали. Паренек-поводырь не спускал глаз с рассказчика.

— Так-ту, баринушка, — продолжал последний, — не весел конец нашей песенке... А весела запевка была... Да что делать?.. Мы к Саратову было, а на нас калмыцкая орда налетела... И сломили нас дьяволы косоглазые... Наши назад, степью погнали, а подо мной меренок подбился, меня и взяли. Тут я и глаз своих решился. Полоснул я одного косоглазого, а другие меня сзади схватили, руки связали. Такая это меня злость взяла, что как привели меня к зайсангу, я ему и плюнь в глаза. За это мне мои глазыньки и выкололи.

— Отчего ж тебя не убили?

— Да оттого, думали, что я богатый казак, выкуп большой дам.

— Как же ты спасся потом?

— Бог помог, баринушка. Другой полоняник выручил, саратовец же... Ночью как-то мы и ушли с ним. С тех пор я и стал каликою перехожим.

— Однако ж ты еще счастливо отделался. Если б тебя поймали в Черкаске, так не миновать бы тебе колесованья или четвертованья.

— Так-то так, баринушка, да оно уж разом, а то еще поди, когда до могилы добредешь сослепу.

— А что с Некрасовым сталось? Не слыхал?

— Как не слыхать, слышали... В Саратове уж волжские казаки сказывали: как прибег это он на Дон, из-под Саратова-то, и видит: плывут это по Дону плоты, а на них виселицы, а на виселицах все наш брат — голытьба да казаки... Плывут это, покачиваются. А воронья-то всякого, птицы этой голодной, так все плоты и усеяла, да на виселицах сидят, да на казачьих плечах, глаза казачьи выклевывают... А по берегу-то казачки воем воют, мужьев да братьев своих провожают, малые детушки за ними бегут... Таково, сказывают, жалостно было.

В первый раз Левин слышал эти подробности. Многое доходило до него и до товарищей его по службе из тысячи слухов, бродивших по Руси, но таких подробностей он не слыхивал. И в душе его все сильнее и сильнее звучала нехорошая нота.

— Как увидал это Некрасов с товарищи, а с ним было тысячи две, — как увидал он это — снял шапку, перекрестился и говорит, к тем-то, что на плотах висячи плыли: «Прощайте, братцы-товарищи! Спасибо вам, что за веру постояли... Плывите с Богом вниз по тихому Дону, мимо станиц да куреней родимых. Опоганена земля православная, нечего и ложиться в нее костям казацким. Плывите, родимые, в чужую землю, в турецкую, там легче теперь жить, чем на Руси православной. Я и сам иду в чужую землю, в турецкую... Прощайте, братцы!» И как

гаркнет, говорят, за ним, все его войско: «Прощайте, братцы!» – как всполохнется с плотов птица, воронье да карга всякая, так точно хмара над Доном пронеслася... Так и уехал Некрасов с своими молодцами в турецкую землю.

— Спасибо тебе, не знаю, как тебя зовут, — сказал Левин.

— Никитой, а прозывался Бурсак, потому маленько учился, дьячков сын, — оттого и слыву Бурсак.

— Спасибо, Никита, за рассказ.

— Не за что, баринушка... Ласка твоя да вино развязали мой язык, ну, и вспомнилось старое.

— А теперь прощенья просим, батюшка-барин, — сказал старший калика. — Пора и честь знать, коли господа милостивы. Счастливо оставаться. Коли Бог доведет до Кеива, помост слезами омочу перед угодничками за твое здоровье.

— Спасибо, Захар, спасибо. Только на возвратном пути опять заверните ко мне. Я с вами домой письмо пошлю — к брату отпишу, чтоб помог вам чем-нибудь.

— А сам-то, барин-батюшка, когда к домам повернешься?

— Уж и не знаю, и не ведаю когда...

Одарив нищих на дорогу деньгами, он простился с ними, и долго прислушивался к странному напеву песни, которую затянули калики, удаляясь к ярмарке: «Ох ты, гой еси, алилуева жена милосерда!»...

ГЛАВА VIII

Царевич и Афросиньюшка

Летняя ночь в Петербурге в 1716 году. На Петропавловском соборе любимые куранты царя, вывезенные им из голендерской земли, давно пробили двенадцать, а белоглазая ночь не думает темнеть. Через Неву то и дело скользят лодки, по широким, не везде застроенным улицам двигаются люди. Везде видны признаки стройки, спешной работы. Лес, песок, глина, камни и громадные глыбы гранита наворочены горами, словно титаны сооружают свое мифическое жилище. Да, это титаны, русские люди, строят постылый для них Питер.

Больной царь давно уехал за море, а стройка и без него не останавливается... Растет камень на камне, гранит на граните... Что-то выйдет, – думают русские люди, — из этого нового Вавилона?.. Не запустеет ли он со смертью царя, как запустел старый Вавилон?.. Эти широкие улицы и площади травой зарастут, гранитные горы мохом зазеленеют, каналы пловучим лопухом да водяною лилиею подернутся... И будет смеяться белоглазая финская ночь над развалинами покинутого города... «Се мимо иде — и се не бе...»

— Так, матушка: се мимо иде — и се не бе... Великое это слово, великое.

Это говорил знакомый уже нам старик, которого мы видели в Киеве у ворот лавры в проезд через Киев царевича, а потом слышали таинственный разговор с Левиным в Нежине в лазарете. Теперь он обращался с своей речью к молодой женщине, которая сидела за пяльцами и вышивала золотом, впересыпку с жемчугами, осьмиконечный крест, и изредка взгля-

дывала то на своего собеседника, то на окно, из-за которого виднелась Фонтанка с недоделанною набережною, с изредка скользящими по ней лодками, а за нею — недавно разведенный самим Петром и его «Катеринушкою» «огород», в настоящее время — Летний сад.

По волосам, белокурые с пеплом пряди которых были заплетены в одну косу, и по одеянию можно было сразу видеть, что это девушка. Матовая, без всякого даже намека на загар, белизна лица и недостаток цветности кожи изобличали недостаточность действия на это лицо солнечных лучей. При всем том и это лицо, и серые, продолговатые как у сфинкса глаза, ясные и чистые как у младенца, и исходивший из них ровный свет не изобличали недостатка внутренней жизненности.

Когда девушка поднимала голову от пялец, то на груди ее, прикрытой белою сборчатою сорочкой с кружевцом, виднелся осьмиконечный крест, небольшой, но искрившийся огнями.

— Все мимо идет, токмо слово сие не идет мимо, — повторил старик.

Девушка медленно перенесла на него свои сфинксовые глаза.

— А давно она преставилась? — спросила она.

— Кто, матушка?

— Святая Евфросиния, полоцкая княжна.[9]

— Давно, матушка... Сот пять лет будет, а то и больше.

Девушка перенесла свои медленные глаза на Фонтанку. Она ждала кого-то.

— А устаешь, чай, в пути, дедушка? — снова спросила она.

— Нету, ластушка моя светлая, не устаю... Порой и притомишься, а все ничего... Что я? Мое дело подвижническое, дело для Бога, паломническое, бро-

дячее сиречь. Скитаюсь я по угодным местам и треплю грехи мои старые, аки кostrигу, пред лицем Господа. Истоптали мои ноги старые всю матушку родную землю, Русь святую, от стока моря соловецких святынь и до святой горы афонской. И роняю я с подошов моих притоптавшихся прах святой земли по всем грешным местам аки бисер многоценен, соловецкая-то святая пылица малая ину-пору отряхается с подошов моих в сем новом Вавилоне, в Питере; (содомская пыль, матушка, лепка и цепка, аки грехи), а питерская-то содомская пыль, прилепившись к моим грешным стопам, питерская-то пыль отряхается в Москве-матушке, у гробов угодников Божиих, а московскую-то драгоценную пыль несу я до Киева святорусского, а из Киева — в Почаев, и переношу я пыль великой земли русской от края до края, аки сердце кровь переносит по жилам моим грешным и по всему телу моему мерзскому...

Он помолчал. Девушка, слушавшая его с глубоким вниманием, встала и подошла к окну, припав головой к его раме. В выражении ее лица, в движениях, во всей ее симпатичной фигуре было что-то совсем детское, целомудренное, хотя полная развитость бюста и всего ее красивого, статного тела говорила о совершенной возмужалости.

— И таково-то сладостно и горько, матушка моя, это скитание по белу свету, — продолжал старик нараспев и несколько в нос. — И голоду-то и холоду натерпишься, и в лесах, и в дебрях от рыку звериного страху наберешься, а все для Бога, ради костриги-то греховной, что всю душеньку мою исколола... А птички-то Божьи в лесах и дубравах, а цветочки в полях — крины сельные, а солнышко в небе, ручеечки эти самые хвалу Господу звенящи, а эта травушка весенняя, что рученьки свои чистые да головочки безвинные к небесам аки младенец воздевает, тянет-

ся эта травушка-муравушка из сырой земли ко Господу Творцу своему... И всякое-то дыхание, козявочка малая, метыль крылатый, пчелушка, Божия работница, воскодарница, медоделица, — все-то весною красною Бога хвалит... Как сердцем-то да оком умным обоймешь все это, матушка-ластушка, так сердце твое грешное аки воск пред иконою растопится-разойдется, и весь бы, кажись, сам в слезах сладких вылился перед Господом, аки елей, аки миро благовонное...

При последнем монологе девушка повернулась к старику, вся напряженно слушая, затаив дыхание, а из широко раскрытых, изумленных глаз так, кажется, и брызнут горячие слезы.

— Дедушка!.. Голубчик!.. Где ж это?..

— Что, голубица моя чистая?

— Где это, что ты рассказываешь?

— В угодных местах, матушка, да в сердце нашем.

Девушка опять припала головой к окну, перекинув через плечо свою длинную косу и задумчиво перебирая ее тонкими пальцами.

— И вот так-то, дитятко милое, и треплюсь я по белу свету, пока тело мое старое, аки ризу ветхую, аки хоругвь воинскую, в боях со врагом Божием истрепленну, простреленну, издыравленну не донесу до темной могилы. Ветха уже риза моя животная, ветха моя срачица тленная, что некогда крепкою и чистою, паче снега убеленною, вышла из рук Божиих... А все брожу, угомону мне, старому, нет... Так вот и к ангелу твоему, к преподобной Евфросинии полоцкой, бродил ныне аз грешный грешными ногами... Думаю, помолюсь о тебе, матушка, о рабе Божией Евфросинии, да о царевиче нашем благоверном Алексее Петровиче, дабы Господь сердце его, царево, укрепил, разум его на все благое наставил...

И вот принес вам с царевичем по хлебцу благословенному да по поясочку освященному от мощей преподобной Евфросинии.

При последних словах девушка подошла к столу, стоявшему под образами, и, перекрестившись, поцеловала лежавшую на нем просвирку.

— Спасибо тебе, дедушка, — сказала она.

Вдруг за окном на Фонтанке послышались голоса и плеск воды. Девушка встрепенулась и поспешила к окну, но плавно, не суетливо.

— Царевич, — сказала она и, отойдя от окна, снова села за пяльцы. Руки ее немного дрожали.

Старик встал со стула, на котором сидел, и отошел в сторону, ближе к дверям.

Скоро за дверями послышались голоса и шаги. Двери растворились, и вошел царевич.

На нем был зеленый кафтан с отворотами и с широкими обшлагами. Кружевная рубашка с манжетами оттеняла его смуглое, худое лицо с кроткими, выразительными, но какими-то запуганными глазами. Он был похож на отца как молодой побег на старое, могучее дерево. Длинные, тонкие, обутые в высокие штиблеты ноги ступали неуверенно. Такие же длинные руки с тонкими, женоподобно гибкими пальцами, которые могли искуснее кажется владеть пером, чем топором и саблей. Выражение лица, глаз и очертание рта говорили, что на этом лице скорее виновный мог прочесть прощение, чем суровый приговор. Длинные, редкие как и у отца волосы, но както особенно спадавшие назад, придавали этой голове что-то дьячковское... Вообще над этим добрым лицом как-то не думалось видеть царскую корону.

— Здравствуй, Фрося, — сказал царевич, подходя к девушке.

— Здравствуй, государь, — тихо отвечала вставшая тотчас из-за пяльцев Евфросинья, опустив глаза.

— Хороший крест выходит, — сказал Алексей Петрович, нагибаясь к пяльцам, — только темно — глаза испортишь.

— Нет, государь, видно.

— А! И ты здесь, Никита Паломник, здравствуй, — обратился царевич к старику.

— Многая лета здравствовати благоверному государю цесаревичу, — отвечал тот, низко кланяясь.

Алексей, снова обратившись к Евфросинии и к ее работе, сказал с заметной дрожью в голосе, нервно:

— Хороший крест, хороший... Кому это ты?

— В церковь святого Симеона Богоприимца, государь царевич.

— Хороший крест, — повторял он задумчиво, — такой, как ты и мне вышила... на всю жизнь, Фрося... До могилы буду нести твой крест...

Щеки Евфросинии медленно заливались краской... Она не поднимала глаз.

— Да, донесу, донесу... Бремя Его легко и иго Его сладко есть.

В комнату вошли еще двое мужчин. Один — старичок, с прищуренными, близорукими глазами, которые часто моргали и слезились. Вся фигура его напоминала раскольничьего начетника, хотя это был князь Вяземский, Никифор, учитель цесаревича и владелец дома, в котором происходит настоящее действие. В доме его жила и Евфросинья — не то сенная девушка, не то боярышня. Другой был коренастый средних лет мужчина, с энергичным лицом и какими-то упорными, стоячими глазами, которые, по-видимому, не умели потупляться. Голова небольшая, но крепко посаженная на плечи, так крепко, что эту воловью шею мог, кажется, только топор заставить нагнуться. Этот другой был Кикин, денщик царя и, если можно так выразиться, источник воли безвольного, мягкого царевича.

Вошедшие низко поклонились.

— Здравствуй, равви! Здорово, Кикин.

Алексей Петрович называл иногда своего бывшего наставника, Вяземского, по-евангельски «равви» — «учитель». — «Здравствуйте!»

— Благоверному царевичу радоватися, — отвечал Вяземский, который, как человек начитанный, любил выражаться по-книжному.

— Здравствуй, государь царевич! — по-военному отвечал Кикин.

Потом, поклонившись Евфросинии и проговорив: «Здравствуй, матушка Овфросинья Федоровна», Кикин обернулся и, заметив в стороне Никиту Паломника, прибавил: «А! Праведный Агасферий! И ты здесь? Все свои люди.» А Вяземский, подойдя к Евфросинии, ласково, совершенно отеческим тоном заметил: «А ты, Фросюшка, все томишь свои глазки светлые... Брось, дитятко!»

Евфросинья ласково улыбнулась и поцеловала старику руку.

— Я не зашел к тебе, — обратился царевич к Вяземскому, — думал поздно уж — спит-де, а вот ее белую головку, — он обратился к Евфросинии, — познал в окне и зашел пожурить за полуношничанье... Ан она не одна, с Агасферием праведным.

— Хлебец благословенный принес да поясок от преподобной Евфросинии и заболтался, — отвечал тот, кого звали и Никитою Паломником, и праведным Агасферием.

— Что, царевич, слышно об нашем-то... о кречете... о соколе-то залетном? — спросил Кикин, подходя к Алексею.

— О батюшке-то?

— О ком же ином, царевич? Он один у нас, свет очей наших... Только, вить, и свету у нас что в окошке...

— Что в заморье-то прорубил окошко-то, как сам сказывал? — заметил насмешливо Вяземский. — Точно, точно — одно у нас окошко-то слуховое... В нево к нам и дым-от идет из заморья, потому, чать, заморская-то изба по-черному топится и заморский-от дым у нас очи выедает...

Алексей Петрович нервно заходил по комнате.

— Так... так... ест очи, ох, как ест дым-от этот заморский, — говорил он как бы про себя.

— А как здравие царево? — спросил Никита Паломник.

— Сказывают, ведомости прислал своему-то... крестничку... Данилычу-пирожнику, пишет, что де доселева недугует, — говорил царевич, продолжая беспокойно ходить по комнате. — Был и в Астрадаме-граде в Голендах, и в других иноземных странах, а ныне поехал чрез всю францовскую землю к самим шпанским пределам, в Пирмонт-град, зальцбруновые воды пить для леченья.

— То-то, — заметил Кикин, — анисовку, знать, выгонять из себя хочет... Не выгонишь ее этими-то водами, она, наша матушка анисовка, стойка, колом ее не вышибешь, чаю.

— Что ж, с анисовым-то настоем в животе оно крепче для нашего батюшки царя Петра Алексеича, — заметил Вяземский. — Вон немец Блюментрост какие спирты для его кунцкаморы стряпает[10], чтоб в них уродов сажать — целехоньки... Так-то и анисовка — здорово: еще, чай, не одну «шишечку» сделает своему другу сердешному Катеринушке...

— О! Шишечки он мастер делать: у Данилыча, поди, сколько шишек вскакивало от батюшкиной дубинки, — сказал царевич, — да мне-то оттого не легче... Господи! Что я ему сделал? За что он меня гонит словно ворога лютого? Теперь вот, словно коркодил нильский приступил ко мне: «Или в мона-

стырь, говорит, или исправься, а то я с тобою, говорит, как со злодеем поступлю». Да батюшки ж мои светы! Куда я денусь! Господи!

Царевич в отчаяньи всплеснул руками. Все приблизились к нему. Евфросиния хотела удалиться, она была бледна как полотно. Царевич заметил это.

— Не уходи! Не уходи, голубушка моя! — взмолился он. — Мне легче при тебе... Монастырь... исправься... Да как же я, голубчики мои, исправлюсь? Я не ребенок уж... Правил он меня, всю жизнь мою правил, ох как правил! Всю душеньку мою, кажись, вынул из меня, по ниточкам вымотал душу мою... А все ему мало. Не любишь-деи, говорит, меня... Господи! Я ли не любил его, я ли не молился на него! А он у меня мать отнял, кроткую голубицу, заточил ее, голубушку... А за что? За то, что ему эта немка Монцова зелья приворотного дала, а после — эта, мачеха... Боже милостивый! За что ж казнь такая сыну? Не смей видаться с матерью родимою, не смей думать о ней, молиться за ее здравие, не смей плакать о ней. А какая ее вина? А я тут причем? Что от нелюбимой? Господи! И зверь свое дитя любит, а меня... меня убить хотят, как злодея... За что? Что я не учился якобы, ленился, что я не люблю его, его затейных выдумок, не бражничаю на ассамблеях? Рассудите вы меня, люди добрые, голубчики вы мои! Я-ли не учился у тебя? — он взглянул на Вяземского. — Я-ли не делал все, что ему угодно? А он всем недоволен, за все сердитует, за все бьет: «Не любишь-деи отцовского дела, не любишь-де ратного дела...» Да Господи ж Боже мой! Господи праведный! Ведь и всякое дело, как бы его усердно ни исполнять, опостылеет, коли за него все брань да брань... До чего он довел меня, я его как зверя лютого бояться стал, отца-то родного. Я и дело его возненавидел за то, что он силком нудил к нему меня,

и меня же глумлению предавал, меня же пред своими немцами да Данилычами унижал, меня, сына своего первородного... «Ты не сын мне, говорит, ты не любишь России...» Господи! Он-то что ли любит ее, матушку Русь, обездоленную, голодную? Не от него ли она вся в беги ушла, в леса да в дебри поукрылася? Не он ли глумился над нею? А крови-то, крови сколько пролил? Говорит: «Для славы-де царствия российского...» Ежели бы он ей, России, искал славы-то, а не себе только, он не надругался бы над нею, не разорял бы ее, Русь родимую... Эх! и на свет то бы Божий не глядел, в землю бы зарылся... Да куда уйти-то от него? Где головушку преклонить? Ох, батюшки-светы! Спасите меня!

Евфросиния ломала руки, забившись в угол.

— Куда я уйду? Куда, Господи! — продолжал метаться несчастный.

— Аще взыду на небо — Ты тамо еси, аще снизу во ад — Ты тамо еси, — бормотал про себя Паломник.

Вяземский и Кикин сидели мрачные, неподвижные. Они знали, что надо выждать, когда кончится нервный припадок их любимца.

— Велел он мне тогда жениться на этой немке, кронпринцессе, — продолжал он несколько покойнее, — я исполнил его волю, женился на постылой, я не перечил ему, виду не показал, каково мне вот тут-то, на сердце... И это не помогло, морить стал нас голодом да срамом пред иноземными людьми, корму лошадям не на что было купить, слугам нашим одеться было не во что... Я на коленях выпрашивал подачки у любимца его, у Алексашки проклятого, я-то, царевич земли российской, будущий царь, великия и малыя и белыя России самодержец... И, Бог свидетель, я не перечил родителю, Богом мне данному, я в мыслях своих не изменял царю свое-

му... Один Бог видел каково мне было жить с нею, с постылою-то моею: ни она меня не понимала, ни я ее не понимал... А я все терпел, все ждал, что Господь склонит ко мне сердце родительское... Нет, не умолил Господа. Последние деньки мои приходят, смертушка моя близко, чую я...

Евфросиния рыдала. Услыхав ее сдержанные стоны, царевич опомнился.

— Светик ты мой ясный! Отрада моя единая! — закричал он, протягивая к ней руки. — Как мне тебя-то покинуть! Твои-то оченьки ясные черною ризою чернецкою закрою я? Скорее в гроб лягу, чем тебя покину... Не ты ли научила меня быть добрым? не ты ли научила меня стыда стыдиться, от безобразия житейского бегать? Не ты ли маленькой девочкой, отроковицею чистою, плакала, закрывшись рученьками, когда в первый раз увидала меня в пьянственном виде безобразном? Не ты ли очистила меня чистотою твоею непорочною?... Я не забыл этого, не забыл, забвенна буди десница моя, коли я тебя забуду.

И он гладил ее голову, целовал волосы. Девушка продолжала всхлипывать, бормоча сквозь слезы: «Алешенька... друг мой... царевич мой...»

Старый Паломник, глядя на них, также утирал украдкою свои мелкие, давно все выплаканные слезы.

Вяземский сильно моргал своими прищуренными глазами. Стоячие глаза Кикина словно как будто остеклели, уставившись в пространство.

— Еще кто кого — посмотрим, — сказал он хрипло, как бы про себя.

Алексей обернулся к нему.

— Не кручинься, государь, погоди, — продолжал Кикин. Бабушка надвое сказала... Посмотрим еще — чья возьмет, кто кого осилит... Немецкая бритва,

что и говорить, чисто бреет русские бороды, да ей ли вмочь будет с русским топором тягаться? А топор-от на твоей стороне, царевич... Вон спроси ево, — он указал на Паломника.

— Истинно, истинно, государь, — заговорил этот последний. — Я ли не испятнал моими стопами русской земли? Я ли не видел, сколько слез льется от Питера до Киева, от отока моря северного до сибирских крайних пределов? Истинно говорю, реки слезные... Разорена матушка Русь святая, опустела она, аки от язвы моровой... Посетил ее Господь гневом своим... Аки рыба распуганная, разбежались так российские люди от указов немилостивых, от поборов тяжких, от некрутства ежелетного, непрестанного... Кровавыми слезами плачется русская земля на родителя твоего, государь, а за тебя и за матушку твою царицу Бога молит.

Алексей опять заходил по комнате. Лица всех казались мертвенно бледны, может быть оттого еще более, что белоглазая ночь становилась все светлее и светлее, глазастее и глазастее, словно Евфросиния, египетские глаза которой казались еще большими от внутреннего волнения.

Воробьи уже чирикали за окном. Ласточки и стрижи весело перекликались, начиная свой ранний день и свой вечный труд из-за корму.

Из-за Фонтанки откуда-то доносилась песня:

Распроклятая сторонка,
Чужа дальня сторона —
Ко Питеру привела...

— Слушай, царевич, — сказал Кикин, подходя к Алексею, и стоячие глаза его как-то помутились. — Я говорил тебе, помнишь, что ежели тебя и постригут — так не беда: клобук, вить, не гвоздем к голове прибит, его и снять можно... А я другого боюсь...

— Чего? – испугался царевич.

— Погоди пужаться — рано еще: его нет здесь... Вот что, не ряса у него на уме, а саван твой, понимаешь? Он сам знает, что клобук не гвоздем прибивают, а вот гробовую-то крышку — так ту гвоздями...

Царевич с ужасом отступил от него. Руки Евфросинии невольно потянулись к Алексею.

— Что? Что? — шептал глухо последний. — Отец родной?.. Ты лжешь, подлец!

И Алексей было бросился к нему. Но Кикин остановил его своим оловянным, холодным как олово взглядом.

— Когда у тебя родился сын? — спросил он также шепотом.

— Октября 12-го, — отвечал царевич, подумав.

— А когда скончалась крон-принцесса, супруга твоя?

— Октября 22-го.

— А письмо когда он тебе отдал, то письмо, где он грозит лишить тебя престола?[11]

— За день до того, как у него родился сын.

— А каким числом оно, письмо это, было подписано?

— Задним числом, за шестнадцать ден до отдачи.

— Ладно, смекай же теперь, что не об рясе думают, а об саване...

Царевич чуть не упал. Его поддержала Евфросиния.

Кикин приблизился к нему и на ухо сказал: «Не падай, государь, у тебя есть еще на кого опереться... У России и грудь, и плечи могутные, они твои, обопрись на них. А я поскачу в цесарскую землю, в Вену, проведаю вам с Евфросиньей Федоровной латынский монастырек с келейкою... не поссоритесь, живучи вместе пока...

А там... кто знает!»

Царевич обнял его и заплакал... А вдали продолжала ныть песня:

Распроклятая сторонка...
Ко Питеру привела...

ГЛАВА IX

Бегство царевича.

В конце ноября того же 1716 года в Вене, в одной из улиц Леопольдштадта, у подъезда богатого отеля остановились неизвестные путешественники. Под ними было два экипажа. По внешней обстановке можно было догадаться, что путешественники — особы знатного рода. По костюму же слуг, сопровождавших путешественников, следовало заключить, что прибывшие были поляки.

В первом экипаже находилось двое молодых мужчин. Старшему из них можно было дать от двадцати пяти до двадцати восьми-девяти лет. Он был высок, бледен и задумчив, с таким выражением лица, какое иногда замечается у людей, которые сознают, что носят в себе неизлечимую болезнь, или готовятся к опасной операции, или, наконец, решаются на что-нибудь невозвратное. Младший же был совсем почти ребенок, с совершенно детским личиком, и его можно было действительно принять за ребенка, если бы высокий рост и хорошо развитые плечи не показывали, что он уже пережил детский возраст. Он был в костюме, напоминавшем пажа старого времени. Но что особенно поражало в этом мальчике, это необыкновенно богатые, роскошно падавшие на плечи и необыкновенно светлые, почти белые волосы, совсем не оттенявшие кругленькое, белоснежное личико юноши. Зато бесподобно оттеняли его темные брови, высоко вскинувшиеся над серыми глазами.

В другом экипаже находились служители этих путешественников.

В адресной книге отеля приказано было записать: «Польский шляхтич Коханский».

— Эти приезжие польские господа должно быть народ богатый, — передавал своим товарищам старый отельный кельнер Фриц, подмигивая одним глазом (это, впрочем, была его лакейская привычка таинственничать и таинственно подмигивать, хотя бы ему приходилось сообщать, что вакса не годится). — Люблю я этих поляков, польских господ то-есть, панов их, сорят дукатами на водку... Зо! (зо — тоже любимое слово Фрица).

— Ну, не говори, гер Фриц, — перебил его другой кельнер, поляк Юзеф. — Какое это польское панство? Их хлопы, я заметил, не понимают по-польски. Я с ними заговаривал.

— Так что ж, что не понимают? У польских господ всегда эдакие замашки, чтоб лакеи у них были иностранцы — шик! — возражал Фриц, подмигивая. — Зо!

— Так-то так, да все что-то не так, — отстаивал свое мнение Юзеф. — Наш брат поляк не таков, а особливо пан... Закрутит это уса, брякнет шпорой, звякнет карабелей, глянет чертом, ну, так душа в пятки и уйдет! А это что? — Мокрая курица! — горячился Юзеф.

— Да, он, может, больной, бледный какой-то — зо!

— Больной!.. Эка важность! Наш брат поляк и больной орлом смотрит...

— То-то от орла-то своего, от пана, ты и тягу дал к нам в Вену — зо!

Юзеф сразу не нашелся.

— Что ж... ну, порют, правда... да это все от москалей у них переняли, — бормотал он, — слово гонору — у них, у проклятых москалей.

— Ах, mein Gott! Ach, mein Gott!* Какие волосы!

* Боже мой! Ах, Божс мой! *(нем.)*.

ах, если б у меня такие волосы! — заахала, сбегая к лакеям, краснощекая, краснорукая и толстогрудая, но почти безволосая немочка-служанка. — Ах Юзеф! Ах, Фриц! Какие волосы!

— Это у кого?

— Ах! У того молоденького господина, что приехал с худым господином.

Между тем этот худой господин, немного погодя, вышел из отеля в сопровождении служителя и, взяв экипаж, тотчас куда-то уехал.

Как оказалось, он уехал во внутренний город, в самую Вену, и через несколько минут экипаж его остановился на площади, у подъезда отеля «Bei Klapperer». Господин и слуга вошли в отель. Был уже десятый час ночи. Вена, как аккуратная немка, почти вся спала.

Не спал лишь худой господин и его служитель. Войдя в лучший номер отеля и приказав запереть дверь, он стал тревожно ходить, почти бегать по обширной комнате. Отельная прислуга в корридоре, ходя на цыпочках, таинственно перешептывалась и пожимала плечами... Кто — что — зачем? — никто ничего не знал....

— Schwedischer König, Karl XII*, — шептал один.

— Russischer Zaar, Peter der gransamme**, — догадывался другой.

— Nein, Mazepa — saporogischer Kozak***, — говорил самый догадливый.

— Pfai! Mazepa schon gestorben...****

Между тем тот, о котором толковали проснувши-

* Шведский король, Карль XII *(нем.)*.

** Русский царь, Петр Великий *(нем.)*.

*** Нет, Мазепа — запорожский казак *(нем.)*.

**** Уф! Мазепа уже умер! *(нем.)*.

еся лакеи, продолжал бегать по своему номеру, бормоча какие-то бессвязные слова. Приехавший с ним служитель молча ждал приказаний.

Наконец таинственный господин опомнился, подошел к служителю и стал шептать ему что-то на ухо. Тот молча слушал, наклонив голову. Что такое говорилось в номере, лакеи не могли слышать, хотя и ушами, и глазами напрягались уловить хоть что-нибудь в замочную скважину.

Слуга таинственного господина вышел. Остальные лакеи отшатнулись от него, как от привидения. Один смельчак, который знал о смерти Мазепы, хотел было заговорить с ним, но тот был нем как рыба. Он быстро сошел вниз, взял экипаж и приказал везти себя к императорскому вице-канцлеру Шенборну.

Ключ в занятом таинственным господином номере снова щелкнул.

Любопытство, напряженность лакеев дошли до крайней степени.

— О! Das ist Menschikoff — Ataman der donischen Kozaken*, — решил образованный лакей.

Через несколько минут воротился слуга таинственного господина и, торопливо пройдя мимо одуревших от любопытства лакеев, постучал в номер. Замок щелкнул, потом опять щелкнул...

— Что? — послышалось в номере.

— Вице-канцлер уж раздет, но теперь одевается и сейчас сам придет, — был торопливый ответ.

Лакеи слышали, но ничего не поняли.

— Kozakische Sprache... Donnerwetter!**

Но ключ опять щелкнул, дверь распахнулась, и вышел сам... такой страшный... глаза дикие... волосы растрепанные... шатается...

* О! Это Меншиков — атаман донских казаков *(нем.)*.
** Казацкая речь... Черт возьми *(нем.)*.

Лакеи почтительно и с ужасом расступились... «О! Schrecklicher Kozak!..»*

«Страшный козак» быстро вышел из отеля, оставив всех в недоумении, в томительной неизвестности. Слуга его также исчез.

Через несколько минут таинственный господин был уже у вице-канцлера. Тот не успел еще одеться, как приезжий был уже в его кабинете, с глазу-на-глаз.

— Я русский царевич — Алексей, — говорил пришедший, с нервными жестикуляциями, с ужасом озираясь по сторонам и не оставаясь на одном месте. — Я пришел просить цезаря, моего свояка, о протекции... Пусть цезарь спасет мне жизнь... Меня хотят погубить, хотят и у меня, и у моих бедных детей отнять корону...

— Успокойтесь, ваше высочество, — говорил Шенборн, — вы здесь в совершенной безопасности. Расскажите спокойно, в чем ваше несчастие и чего вы желаете.

— Цезарь должен спасти мою жизнь, обеспечить мне и моим детям сукцессию! — говорил несчастный, все более и более впадая в нервный экстаз. — Отец хочет погубить меня, отнять у меня и жизнь, и корону... А я ничем не виноват... Я ни в чем не прогневил отца... Я не делал ему зла... Если я слабый человек, то Меншиков умышленно так воспитывал меня... Меня умышленно спаивали... Мое здоровье пьянством расстроили...

Он остановился и застонал. Пред ним встал образ плачущего ребенка... девочка рыдает, закрывшись ручонками... Это маленькая Евфросиния... а он... безобразно пьян... отец... Меншиков... ассамблея...

— Успокойтесь, успокойтесь, ради Бога.

— Теперь отец говорит, что я не гожусь ни к

* О! Ужасный казак! *(нем.)*

войне, ни к правлению... Нет, нет! У меня ума довольно, чтоб управлять. Один Бог — владыка всего, и он раздает наследства, а меня хотят постричь и посадить в монастырь, чтоб лишить жизни и сукцессии...

Несчастный начинает повторяться, путаться в словах... Монастырь — клобук — черная ряса — клобук прибивают гвоздем к голове — не ряса, а саван... саван... гроб... милый образ Евфросинии...

— Нет! Нет! Я не хочу в монастырь! Цезарь должен спасти мне жизнь!

В отчаянии и ужасе он бегает по комнате... У него горло перехватывает, язык засыхает. Он просит пить, и, бросившись в изнеможении на стул, кричит:

— Ведите меня к цезарю! Ведите сейчас!

Ему уже слышатся шаги отца, чудится голос ужасного Ушакова...[12] Застенок-пытки-дыба... Фигура отца — исполинская... лицо, это страшное родительское лицо, оно искажено яростью... глаза беспощадны... Вот протягивается исполинская рука отца, со всех сторон руки, из Пирмонта, из Петербурга...

— К цезарю! К цезарю ведите меня! Спрячьте меня у цезаря!

Не легко Шенборну утишить этот припадок ужаса.

— Теперь поздно идти к императору, — говорит он. — Прежде надо представить его величеству правдивое и основательное изложение вашего дела... Мы ничего не слыхали того, что вы говорите относительно такого мудрого монарха, как ваш родитель.

Тот опять начинает умолять, повторять то, что говорил уже.

— Я ничего не сделал отцу. Я всегда был ему покорен, ни во что не вмешивался... Я ослабел от того, что меня хотели запоить до смерти...

И опять встает перед ним образ плачущей девочки... А над гробом она будет еще больше плакать...

— Постойте... дайте все припомнить... Да, прежде отец был добр ко мне, добр... Но когда у меня пошли дети и моя жена умерла, тогда пошло все хуже и хуже, особенно когда новая царица родила сына. Она с Меншиковым постоянно раздражала отца против меня... У них нет ни сердца, ни Бога, ни совести... Я против отца ни в чем не виноват. Я люблю и почитаю его, как велят заповеди Божии. Но я не хочу постригаться и отнимать права у бедных детей моих. А царица и Меншиков непременно хотят уморить меня или в монастырь заточить.

Он сам чувствует, что повторяется... Голова и память отказываются служить... Но надо все припомнить, все сказать, это предсмертная исповедь. Когда человек гибнет, он протестует к людям, к небу, к стенам, к лесу, к ветру, который колеблет веревку, готовую захлеснуть шею, к топору, который занесен над ним.

— Я никогда не любил солдатчины, но когда отец поручал мне управление, дело шло хорошо, и отец был доволен.

Нет, не то он хочет сказать... Перед ним Меншиков, который, продавая пирожки, уже продал свою совесть, а потом продал сердце и Бога... Перед ним мачеха ужасная, женщина с змеиной головой и змеиным жалом... У нее змееныши... Для них ей нужен трон, а он вырастает... из савана... Саван, вот что ужаснее всего...

— Когда пошли у меня дети, — повторяет несчастный в третий-четвертый раз, — умерла жена, а у царицы родился сын, меня решили замучить до смерти, запоить насмерть...

И опять девочка плачет... Он пьян, опоен до безобразия... Нет, не то он хочет сказать, а вот что:

— Я спокойно сидел дома... Отец принудил меня отказаться от престола, велел идти в монастырь...

А вот теперь приехал курьер с приказом: или к отцу ехать, или немедленно постричься в монахи... Я боюсь ехать к нему, ехать на муки, на верную смерть, он опоит меня... Я не хочу в монастырь, не хочу губить душу и тело... Мне дали знать, чтобы я берегся отцовского гнева, что приверженцы царицы и Меншиков хотят отравить меня, они боятся, что отец становится слаб здоровьем.

Нет, он не слаб, он может еще замучить сына, тысячи сыновей... К нему страшно ехать...

— Я не поехал к отцу... Друзья присоветовали мне ехать к цезарю, цезарь мне свояк[13], он велик, он великодушный государь, отец уважает его... Цезарь окажет мне покровительство... Я не мог уйти ни к французам, ни к шведам — они враги отца, а отца я не хочу гневить...

Перед смертью все припоминается... Вспоминается и умирающая, хотя постылая, но жалкая жена, кронпринцесса, умирающая, она была так несчастна...

— Говорят, будто я дурно обходился с женой, с сестрою супруги цезаря... Нет, нет! Богу известно, не я с нею дурно обходился, а отец да мачеха, они обращались с ней как с простою девкой... А она к этому не привыкла по своей едукации и сильно печалилась. И ее, и меня заставляли терпеть недостаток, и особенно стали дурно обращаться, когда у нее пошли дети.

При воспоминании об отце, его снова бьет лихорадка... Ему кажется, что страшная рука с топором уже тянется к нему...

— Я хочу к цезарю, - кричит он. — Цезарь не выдаст меня, не оставит моих детей, не отдаст меня отцу... Отец окружен злыми людьми...

Вспоминаются опять эти злые люди — Меншиков, Ушаков... Вспоминаются и добрые — Кикин, Вяземский, Никита Паломник, Фрося.

— Отец злой, жестокий, свирепый человек... Он не ценит человеческой крови. Он думает, что как Бог он имеет право жизни и смерти. Он уже много пролил невинной крови. Он сам налагал руку на несчастных, казнил собственноручно как палач... Он гневлив и мстителен, он никого не щадит... Если цезарь выдаст меня отцу, то это все равно что сам меня казнит...

Он остановился. Он не мог дольше говорить. Слова истощились, силы истощились. Он весь устал. Шенборн видел это и хотел навести на дело спутавшуюся мысль несчастного.

— Неудовольствие между отцом и сыном — дело щекотливое, — сказал он мягко. — Я нахожу, что вы поступите благоразумнее, если для избежания толков в свете не будете требовать свидания с их величествами, а предоставите оказать вам явную или тайную помощь и найти средства примирить вас с родителем.

— Нет, нет! Примирить меня с отцом невозможно! Если отец и будет ко мне добр, то мачеха и Меншиков уморят меня оскорблениями или опоят ядом... Отец пощадит — так эти доканают... Нет, пусть цезарь позволит мне жить у него, либо открыто, либо тайно.

Шенборн обещал утром же доложить обо всем императору и просил спокойно выжидать его ответа.

К утру уже почти воротился царевич в свой отель в Леопольдштадте. Он смотрел усталым, разбитым, но несколько успокоенным. Евфросиния ожидала его. Тихо пройдя в ее комнату, он нашел ее стоящею на коленях перед складным распятием. Она молилась. На ней было легкое пажеское одеяние, только без верхнего плаща, длинные белые волосы были перевязаны черной лентой.

Увидев ее, Алексей Петрович остановился и тихо

с умилением проговорил: «Ангел-хранитель мой молится за меня».

Евфросиния встала и подошла к нему. Глаза ее были заплаканы.

— Что, царевич? Какие вести?

Алексей поцеловал ее в лоб и несколько секунд глядел молча в ее глаза.

— Если б я и там глядел в эти глаза, у меня было бы больше силы, — сказал он, думая о чем-то.

— Видел цезаря? — спросила девушка.

— Нет, цезаря не видал, поздно было... Вице-канцлера видел... Он утром доложит цезарю... Обещает протекцию...

— Одного боюсь... — сказала девушка, сильно покраснев.

— Чего, голубица моя чистая?

И он гладил ее голову, все как-будто что-то припоминая. — «Чего боишься ты?»

— Чтоб она не проведала...

— Кто, мой друг?

— Жена цезаря, царевич.

— Почему же ты ее боишься, голубушка?

— Она... сестра... если она узнает...

— Да скажи же, скажи, что узнает?

— Она — сестра покойной кронпринцессы... Если она проведает, что я здесь, она, печалуясь за покойную сестру, против меня гнев держать станет.

— Нет, она не узнает, никто не узнает... Я тебя укрою от всех... Они не отнимут тебя, нет-нет! Я скорее сам умру, чем с тобою разлучусь, мое солнышко, мой светик ясный!

И он схватив руки девушки, прижал их к своей голове. — «Вон как горит — полымя там...»

— Царевич! Тебе надо успокоиться, уснуть, завтра дело будет, — говорила Евфросиния.

Он целовал ее руки. Но когда хотел обнять ее, она тихо освободилась...

— Царевич... брат мой... ты обещал мне... будем же как брат и сестра...

Алексей что-то хотел сказать и заплакал: нервы его были долго напряжены, на душу долго был навален тяжелый камень, теперь он как-будто отвалился немного и дал место слезам.

— Да, да... твоя правда... ты сестра моя... ангел-хранитель мой, — шептал он.

— Алеша, царевич мой! Успокойся, поди помолись и усни.

Плачущего и покорного, она тихо провела его в другую комнату, где их встретил камердинер царевича, неразлучный спутник его Иван Большой-Афанасьев, три раза перекрестила его и сдала на руки этому последнему. Сама же, воротившись в свой номер, заперлась на ключ и тут только освободила себя от непривычного, тесного и неудобного пажеского одеяния.

В первый раз после выезда из Петербурга она здесь, в Вене, уснула спокойно.

Лежит она, разметавшись среди белых как снег подушек, и сама она такая белая, нежная. И видится ей чудный сон. Видится ей, что летит она над землею, под теплым, ласковым солнцем, и так легко летится, так легко ее тело. И видится, и слышится ей то, что она недавно с таким умилением слышала от странничка божия, от Никитушки Паломника, и птички-то Божьи в зеленых дубравушках и по рощицам поют, и цветочки-то в полях, крины сельные, цветут и ручеечки эти по травушке да по камушкам хвала Господу звенят, и травушка эта, зеленая муравушка к небу от земли тянется, и сердечушко-то ее аки свечечка воскояровая теплится и тает, тает, тает... И пролетает она над Москвой белокаменной, над церквами златоверхими... И Господи Боже мой! Сколько звону колокольного слышит она, сорок сороков церквей вне-

ребой звонят, тысячами языков медных, тысячами глоток серебряных поют-славословят, кричат радостно до самого неба! И видит она — вся Москва колышется, — стар и млад, богатый и бедный, попы и бояре, посадские люди и гости, — все это разноцветным морем переливается по Кремлю и около Кремля. И веют по аеру тысячи хоругвей, тысячи крестов и икон блестят и горят аки жар золотыми окладами да узорочью всякою. И видит она на Красной площади сонм святителей — владыка патриарх и митрополиты, архиепископы, епископы, иереи, и весь освященный собор, златыми ризами блистающ... И посреди сонма святителей на царском возвышении, в царских ризах и в царском венце стоит ее друг сердечный Алешенька-царевич млад, а около него стоит млада Афросиниюшка... И от умиления заплакала она сладкими, сладкими слезами, а заплакамши млада — проснулася.

ГЛАВА X

Царевич в Неаполе.

Когда исчез царевич и никто, даже сам царь и его приближенные не знали, куда он девался, по России стали ходить странные, один другого невероятнее слухи. Говорили, что он бежал от отца к султану турецкому, и что султан по этому случаю объявляет России войну. Рассказывали, что турецкие страннички узнали его в числе прочих монахов на Афоне. Бабы-богомолки уверяли, что сами, своими глазами, видели батюшку-царевича-млада во киевских во темных пещерах, во келейке убогой, за железною за решеткой: «В схиме батюшку царевича видели, а на этой на самой на схиме, матка моя, смерть написана — ребры голые, а в руках коса косецкая... сама, своими глазаньками видала... а царевич-от батюшка слезно молится...» Слухи ходили, что «ушел он во град Ерусалим, на Ерихон-гору, к самому как есть пупу земли, а на самом на том пупе земли пещерушка мала ерихонская с единым оконцем, а в той во пещерушке странничек млад, — он и есть, мать моя, царевич Алексей Петрович, — молится — «коли, — говорит, — пещерушка ерихонская вся наполнится моими горючьими слезами, тогда переставленья света не будет, а коли не наполнится — будет тогда и свету переставленье». Были и такие фантазерки-бабы, — и все больше бабы, виновницы создания всяких легенд, которые утверждали: «Сама-де, мать моя, видела его, царевича Лексей Петровича, как он, батюшка, ходит и милостинку просит, и сама я, мать моя, подала ему яичко, Господь удостоил»...

Когда эти слухи были в самом разгаре, переносились, словно на сорочьих хвостах, с ярмарки на яр-

марку, с базара на базар, из села в село, и таким же путем дошли до Левина, который все еще находился на постое, в Харькове однажды вечером, летом 1717 года, к нему зашел странничек, знакомый и ему, и нам Никитушка Паломник, которого, впрочем, Левин знал под именем старца Варсонофия. Он был по обыкновению с дорожной котомкой за плечами и с длинным посохом в руках.

— Откуда Бог несет, старче? — спросил Левин.

— Из Бара-града, батюшка, от нетленных мощей угодника Николы чудотворца, из самой италийской земли.

— О! Далеко же ты был, старче Божий, — заметил Левин.

— Далеконько-далеконько, батюшка. Для нас-то оно, для худых ног наших далеко, а для Господа-то близко. Для Господа и я трудился.

— Ну, и много хорошего, поди, видал, много чудес наслышался?

— Много, много. Всего-то, что видели глаза мои старые, всего-то этого и память моя худая вместить не может, и языку моему косному нелеть есть глаголати.

— Да и у нас тут не мало чудес совершилось, — сказал Левин. — Вот хоть бы о том сказать, говорят, будто царевич Алексей Петрович пропал без вести, будто видели его и в Ерусалиме, и на Афоне. Чего-чего не говорят! И все жалеют царевича.

— Так, так, батюшка. Только слухам-то этим веры давать нельзя. А что государя царевича все жалеют и все его любят, окроме врагов земли российской, так это сущая правда. И вот ради-то этой любви всероссийской его и спасет господь, и укроет под покровом своим.

— Где ж он? Что слышно о нем?

— Что слышно о нем-то? Имеяй уши слышати

— да слышит, имеяй разум разумети — да разумеет... А я тебе, как благочестивому человеку, вот что поведаю за тайну великую: я сам видел царевича здрава и невредима.

— Как? Где?

— Слушай, сын мой. Когда это пропал государь царевич, дал я себе обет сходить к угоднику, Николаю Мирликийскому чудотворцу[14], не откроет ли он мне, батюшка, в видении ночном, в тонце сне не поведает ли, где мне искать света-царевича. И пошел я ныне раннею весною в путь далекий. И Боже мой Милостивый! Какия страны и грады привел меня Господь увидеть, какие языцы услышать, того и рассказать нельзя... Пошел я, сын мой, чрез Киев-град, очистил стопы мои грешные о следы святых стоп подвижников печерских, и направил оттуда путь мой на град Львов, в цесарской земле. Иду это себе и день, и ночь, иду, и только ветерок Божий главу мою грешную лобызает, волосами моими седыми да брадою повевает. И таково это хорошо кругом в пустынях прекрасных: птица это степная пролетит, орел над тобою широкими крылами взмоет, жаворочек в небе прощебечет, ну, и все будто не один идешь, со пустынею разговариваешь... А то горы высокие, каменные, леса по ним главу свою к небесам поднимают, а там веси и грады всякие, — чего, чего нет! И дошел я до Львова-града — город необычной, нарочито невеличек, а все в оном чисто и изрядно, а языком говорят малороссийским, как и в Киеве, и образом люди походят на черкасских людей, и малые дети босиком ходят, как и у нас, а землю пашут не по нашему. Далее, идучи к Вене, граду великому да к веницейской земле, попадаются словенские языцы, а разумети их неудобь есть, токмо ежели скажешь церковною книжною речью, и тогда удобее разумеют оные хорвати, и серби, и илирцы...

Бреду это я себе, старая ворона, и нуждушки мне нету, потому места там теплые, а люди добрые, так оно и не холодно, и не голодно. В Вене-граде церкви все латинские, а люди немецкие, а которые мужики, сказать бы, простой народ, что победнее, так те словенского роду, народ черномаз гораздо. А в Веницее-граде народ италийской, голосист гораздо и всякие бесовские песни петь горазд же. Езда же по граду Веницее бывает водой, в лодочках малых, гондолами называются. А коня там ни единого не увидишь, токмо на некоей большой площади поставлены для примеру кони медяны, и кумиры бесовские, идолы мраморяны, в образе голых баб и мужиков, и оным поклоняются. А в Риме граде папеж живет, брит, стрижен и бесовский табак нюхает, и с оным табашным носом божественную мшу совершает. А Неаполь-град тепел аки баня, населен больше цыганами. Народ черен и черноволос и кудряв, аки арапин, лазароном прозывается, гол и бесстыжь — почитай что нагишом, без рубахи и портов по улицам валяется, потому что тепло, и апельцыны жрет. А живет там цесарев вицерой, сказать бы прикащик, либо воевода, Дауном называется. И был со мной в Неаполе граде таков случай. Прихожу я к морю корабли посмотреть да грешным делом выкупаться, потому — дюже жарко. Подхожу я один к берегу и абие слышу знакомую песню российскую. «Свят-свят-свят! — думаю. — Уже не бесовское ли наваждение?» Прислушиваюсь, а сам творю крестное знамение. Нет, все та же песня, так вот по морю и разливаются голоса:

Во поле березынька стояла,
Во поле кудрявая стояла.

— «Что за пропасть!» — думаю. Стою и слушаю. И вот теперь каюсь Господу Богу: хоть и греховная

это песня, скомрахам и мужикам подобает оную песню воспретить петь, а я стою и слушаю. Да таково сердце-то мое растопилось, вспоминаючи о святой Руси, что я слушаю-слушаю, а слезы у старого дурака на италийскую чужую землю кап-кап-кап... И что ж оказывается? Подплывает это к берегу лодка. В ней сидят на веслах младые люди в матросских куртках, в таких как вот и у нас в Питере матросы ходят. Слышу, говорят по-российски и скверными словами бранят Меншикова, а особливо Саву Рагузинского[15]. «Черт его возьми, говорят, завез нас в эту проклятую землю, и ни платья, ни рационов не выдает, хоть с голоду помирай. Что и царь-то смотрит? Да что, говорят, царь: он и сына-то своего измором морил, так что и тот бежал за море». «Ну, думаю, это нашего сукна епанча, на нашей сопели и голос подают, аукнуться-де можно». Высаживаются на берег. Я к ним. «Здравствуйте, говорю, добрые молодцы, а как зовут и по отчеству величают, не ведаю». Так и опешили молодцы. — «Здравствуй, говорят, дедушка! Кто ты-де, отколь и куда-де Бог несет?» — «Странничек, говорю, старый-де ворон, вон куда-де свои старые кости занес». — Смеются, рады покалякать с земляком. «А вы-де, говорю, добрые молодцы, дела пытаете, аль от дела лытаете?» — «Нету, говорят, дедушка, мы-де ни дела не пытаем, ни от дела не лытаем, а горе мычем на чужой стороне, мы-де царские навигаторы, посланы царем в иноземные городы в науку, морское навигаторское дело изучать. А эта-де навигаторская наука — сущая мука. Рационов нам не шлют, голодом морят и домой возвращаться не велят. Хоть в петлю-де так впору. Этот-де злодей Сава Рагузинский, коему нас царь препоручил, совсем нас кинул». А один из них и говорит: «Я-де хочу на Афон бежать, в монахи там постригусь». — «Благое дело, говорю, а сам-де ты кто-

же будешь?» — «Я-де, говорит, сын боярина князя Андрея Петровича Прозоровского, Михайла, навигатор». — «Кто ж-же, говорю, твоего родителя не знает на Руси, человек метной, говорю, старого роду».

— Знаю и я князя Прозоровского, — сказал Левин, все время молчавший и слушавший рассказ старика, — и сына его Михайлу знавывал. Хорошие люди... Ну, рассказывай.

— Ладно, — продолжал старик. — «А что-де, говорят, на матушке на Руси ноне поделывается? Мы-де тут по ней истосковались, сохнем». — «Да на Руси, говорю, не ладно что-то, все те же затейные дела делаются, от Меншикова, говорю, житья нет, а у Андрея-де Иваныча Ушакова по горло дела: его-де монастырь, говорю, всегда полон братии одного-де, говорю, рясофорует — в кандалы забивает да в каменные мешки сажает, другого-де хиротонисает — руки на дыбе выламывает, третьяго-де, говорю, совсем постригает — голову топором с плеч вместе с волосами снимает». — Хохочут, за бока берутся, знамо, молодость. — «Да ты, говорят, дедушка, превеселый-де». — «Весел, говорю, детушки, потому-де, что далеко от Андрей Иваныча, а дома как раз в бедность бы потащили, оттого на Руси ныне народ и стал все степенный». — Смеются. — «А что-де, говорят, поделывает сенаторушка Гаврило Иванович Головкин, князь Григорий Федорович Долгоруков, Яков-де Вилимович Брюс, Петр-де Шафиров да Ягужинский?» — «Попрыгивают-де, говорю, по царской дудке... Как крикнет-де на них сам-от: «Господа-де сенат! Видали-де вы сию дубинку, коею-де я над вами знатную викторию учиню?» — так господа-де сенат и пишут: «Слушали-де и приговорили: черное-де считать белым, белое — черным, невинного-де казнить, виновного-де наградить, трех Матрен

в матросы отдать, а Луку с Петром в Рогервик сослать». — Еще пуще хохочут.

Да и Левин не выдержал, он тоже смеялся, несмотря на свою постоянную меланхолию.

— Да ты, старче Божий, и впрямь большой потешник, — сказал он. — Ну, что ж дальше-то было?

— Да много кой-чего было, сын мой. Вот эти младые вьюноши навигаторы и спрашивают: «А скажи-де нам, дедушка, что царевич поделывает?» — «Что-де, говорю, он поделывает, то мне неведомо, а что-де поделывал—ведомо. Приходит к нему в некое время князь Меншиков, а царевич и вопрошает. «Что-де нового, светлейший, ваши сенаты пишут?» А он и говорит: «Пашквильное-де подметное письмо, царевич, сенаты получили, а в оном пошквиле прописано: «Понеже-де козлы, носящие богомерзкие брады, и их жены — козы, ходящие в российском одеянии, сиречь нагишом, поелику российским людям портов шить стало не на что, тем самым являются ослушниками царских указов о брадобритии и ношении не указного платья, то да повелено будет над ослушниками-де розыск учинить и по сыску-де козлов кнутом драть, ноздри у оных рвать и в ассамблею послать, а коз в немецкое платье одеть и при дворе оным жить повелеть». «Так велено-де подметчика сыскать и жестокой казни предать». — Опять смеются мои навигаторы. — «А мы-де слышали, говорят, дедушка, что царевич бежал». — «Так-то, так, говорю. Это правда, что без вести пропал». — «А тут-де, говорят, в городе болтают, якобы-де он живет здесь тайно и его-де якобы сам вицерой Даун скрывает вон в том замке, Сент-Альмо называется, что стоит вон на той высокой горе». И показали мне эту гору. Признаюсь тебе, сын мой, от оных их слов у меня словно озноб по телу пошел и просветление разуму сделалось. «Ну, думаю, это, может быть,

батюшка Никола, мирликийский чудотворец, мне грешному знамение посылает за труд мой, что я во имя его, угодника, потрудился, и хотя-де еще не дошел до Бара-града и не облобызал грешными устами моими раки его святительской, одначе он, по велицей милости своей, меня, грешного, не оставляет».

Старик замолчал и задумался. Левин тоже молчал. Мысль его в это время почему-то перенеслась в Киев, туда, к берегу Днепра, где в последний вечер он слышал песню, тоскливая мелодия которой както въелась в его душу, в нервы:

Ой гаю мій, гаю, великій розмаю,
Упустила сокольнока, та вже й не піймаю...

И из тумана прошлого перед ним выступило милое лицо, которое он не мог забыть, и эти плачущие, серые как шкурка змеи и ласковые как у его умершей матери глаза, и вся эта прелестная, украшенная цветами, сизоволосая как вороново крыло головка, и нитки кораллов на белой расшитой рубашке... «Оксанко! Оксанко! Де ты?» — Нет Оксанки, съела проклятая доля...

Он опомнился. Старик грустно смотрел на него.

— Рассказывай же, дедушка, что дальше было, — осилил себя Левин.

— Так я, друг мой, целый день прокороводился тогда с ребятками, с навигаторами-то. Водили это они меня по городу, по церквам по тамошним. Завели и в дом некий, аки бы в гости, но не к себе, а так, к примеру сказать, как бы в наш кабак, только это не кабак, а место чистое, изрядное, словно бы наша ассамблея, как я слыхивал, и угостили они меня там, дай им Бог здоровья, рыбкою и овощем разным, преизрядным. «Землячку-де сильно ради», говорят. А на прощаньи велели кланяться родной сторонушке, а Прозоровской-то князь, вьюнош, так плакал,

провожаючи меня. «Коли не птичкой, говорит, горькою кукушечкой прилечу на родиму сторонушку, так хоть в рясе черной, от мира-де, говорит, откажусь, свет себе завяжу, а на святой Руси, говорит, побываю». Жалко мне его стало.

— На другой день, — продолжал старик после небольшой остановки, — чуть свет, побрел я на ту гору, что показали мне навигаторы. С горы этой весь Неаполь-град — как на ладони. Вот и подхожу я к самому к замку, вижу, часовые стоят у ворот. Я прошел сторонкой в обход, так что часовым меня не видно стало, обошел замок, да на одном пригорочке, на камушке, и сел лицом к замку же. А в ту сторону, где я сидел, в высокой-превысокой стене были оконца малые, за железными решетинами. Вот сел я, старый пес, и сижу. Море это синее раскинулося снизу, и конца краю ему нету, а там гора высокая, острая, аки скуфья, и из оной горы дым идет, словно бы в оной горе, под землею, самый ад находился, а из аду-то, от смолы кипучия смрадный дым подымается. Чудно таково и ужаса исполнено видение горы оной. Сидел я, сидел, да и запел «стих преболезненного воспоминания», что в пустынях отшельники поют:

По грехам нашим на нашу страну
Попусти Бог беду такову:
Облак темный всюду осени́,
Небо и воздух мраком потемни,
Солнце в небеси скры своя лучи
И луна в ночи светлость помрачи.

— Пою это я, старый, коли гляжу, кто-то из замка в оконце на меня смотрит. И, Господи! Так сердце у меня и упало: в оконце-то на меня смотрел Большой-Афонасьев, Иван, слуга царевича Алексея Петровича. Я кивнул ему головой, и он скрылся. Помед-

ля мало, вижу: Боже ты мой праведный! словно солнышко в оконце-то глянуло... Я так и обмер от радости, и осенил себя крестным знаменем, и оконце осенил: в оконце-то глядело не солнышко, а светлое личишко самой Афрасинюшки...

— Кто ж эта Афрасинюшка? — спросил с удивлением Левин.

— Невеста царевича, Ефросинья Федоровна.

— Какого ж она роду? Чьих она?

— Она, надо так сказать, приемушка князя Вяземского, Никифора, учителя царевичева. Ангел, а не девица: и богобоязненная, и разумница, и чистотою девическою блистает аки крин сельный. Не будь ее, царевич давно бы спился с горя да от ласк батюшкиных: у батюшки, вить, кто не пьет, тот и за человека не слывет, а кто мертвую пьет, то и в ранг идет... Так вот как глянула на меня из оконца Афросинюшка, так у меня, старого, инда слезы радостные из очей полилися на италийскую на землю. А сам я сижу, да крестные знамения творю... Около аду-то ангела нашел!

— По малом времени, — продолжал рассказчик, — вижу, идет ко мне Афонасьев-Большой. — «Здравствуй, говорит, дедушка! Откуда-де и как?» — «Из Питербурха-де, говорю, только от Москвы поклон принес.» — «Так иди, говорит, на очи к царевичу, он-де тебя требует». Пошли мы. А я иду, и ноги у меня дрожат: тысячи верст прошли — не дрожали, а тут на поди! Дрожма дрожат. Ввел это он меня в ворота, мимо часовых, те дали дорогу. Прошли через двор. Входим в самые палаты. Откуда ни возьмись выбегает Афрасинюшка, да не во образе девицы, а во образе вьюноши, в курточке распашной и в штанишках узеньких. Я так и ахнул, даже попятился назад аки изумленный. А она, голубушка, застыдилась, щечки-то вспыхнули, а сама ко мне ручки

протягивает и говорит таково ласково: «Ты не узнал меня, дедушка?» А я, старый пес, и разрюмился. «Дитятко мое, говорю, ластушка светлая! Как не узнать тебя? Другой такой у Господа нет». А она обнимает меня, пса смердящего, и сама заплакала. Так тут уж я и не знаю, что было со мной.

Говоря это, старик отирал слезы.

— А тут вышел и царевич, — продолжал он. — С лица-то поправился, повеселел, совсем молодец-молодцом вдали-то от батюшкиного глазу. Батюшкин-то глазок сушит... Обрадовался мне и царевич. «Ласточка, говорит, с родной стороны прилетела». — «Собака, говорю, государь, старая с родной сторонушки». Пришел и братец Афрасинюшкин — Иван. Он тоже с ними уехал из российской земли. Порасспросили они меня, что и как дома. Я рассказал. Дивились, как я нашел их. «Перст Божий», — говорят. «Только вот страшно, — говорит царевич, — как бы слухи, что болтают навигаторы, не дошли до батюшки, тогда пропали мы».

Левин слушал рассеянно. Образ Евфросинии снова вызвал в его наболевшей памяти другой образ...

Ой гаю мій, гаю, великій розмаю!

Слова эти слышались где-то в мозгу. И голос песни слышался в душе, только это был голос той, которой он уже никогда не услышит...

О! Мимо! Мимо!... Так можно изойти слезами...

Левин должен был сделать над собой громадное усилие, чтоб вслушаться и понять то, что говорил старик. А старик говорил:

— Пожив у них мало время, я направил стопы моя в Бар-град. И на пути бысть мне видение: срето-

ста ми два беса, един во образе мурина, другой же во образе жены плясавицы...

Мысль Левина опять потеряла нить рассказа. В его душе ныли растравляющие память звуки:

> Ой гаю мій, гаю, великій розмаю!

ГЛАВА XI

Ассамблея у Меншикова.

Перед нами до сих пор проходили лица из тех сфер петровской Руси, где образы старого склада русской жизни живучими рефлексами коренились еще в умах, привычках и исторически унаследованном от предков мировоззрении, и где отжившие и вырождавшиеся идеалы не могли еще вылиться в новые, хотя сколько-нибудь ясные и цельные образы. В этом обширном море старины глухо, словно волны, перекатывалось недовольство; но эти грозные волны были бессильны захлеснуть тот стойкий, могучий бот, который вел на буксире всю глухо стонущую Русь. Правда, старые идеалы были еще так же могучи, как и тот исторический бот, об который хлестались волны стонущей, недовольной Руси, но они покоились на невежестве масс, на спинах правда могучих, но все-таки на спинах в слепоте пребывающего досель народа. А образы новых идеалов у стонущей недовольством Руси еще не очерчивались в беспросветном мраке. Царевич, Евфросиния, Кикин, Вяземский, Никитушка Паломничек, некрасовец и калика перехожий Бурсак, Левин, навигатор князь Прозоровский — все это как бы нервами чувствовало, что жизнь не так бы должна идти, с ними заодно чувствовала и необозримая серая масса, чуявшая, что ее, как и заповедные рощи, «пятнать», «клеймить» скоро будут... но — «ничего не поделаешь»... Оставалось терпеть, страдать — и страдание становится целью, идеалом!

Теперь перед вами пройдут другие лица из того петровского сумрака, в котором даже не разберешь — из этих ли темных углов светится что-то более

симпатичным светом, из углов, где царил страх и страдание, или с бортов того могучего бота, который слишком прямолинейно тащил к своему маяку серую массу, не думая о том, что она вся изобьется о подводные камни, шхеры, мели. А надо было тащить, надо, пора... давно пора!.. Перед нами должны пройти лица иного закала, лица, сидевшие на самом историческом боте русской жизни, уснащавшие его новыми снастями, державшие парус, цеплявшиеся за мачты, реи... У этих не те идеалы, да это и не идеалы, а осязательные реальности, за которые можно было ухватиться и подняться высоко, до верха мачты. Это – дельцы, взбиравшиеся на мачту и часто ломавшие себе шею...

Вон они почти все налицо или по крайней мере наиболее выдающиеся профили некоторых из них — вон они собрались на одной из первых ассамблей, устроенной по повелению царя. Хотя указ об ассамблеях издан Петром 26 ноября 1718 года, но самые ассамблеи существовали уже раньше закона о них, — закона, определявшего для них известные правила, часы собраний и пр. и повелевавшего, чтобы собрания назначались по очереди то у того, то у другого знатного лица.

На этот раз — ассамблея у Меншикова. Залы блестят убранством, яркостью украшений, богатым освещением и нарядами обоего пола знатных персон. Уже один говор толпы, летучие выражения и отдельные слова изобличают, что здесь доминирующая нота звучит в устах «новых людей», которые старались выказать свою европейскую «едукацию». Старое, непривычное ухо так и бьют модные слова — «баталии», «виктории», «навигации», «протекции», «кондиции», «сукцессии», «акциденции», «ассекурации» и «авантажи», «авантажи», «авантажи» без конца. Но тут же, рядом с «авантажами», старый слух ласкают

допетровские звуки, допетровские возгласы и выражения: «Ах, мать моя!» — «Касатик мой!» — «Княжна Авдотьюшка». — «Ах, эта девка Марьюшка такой раритет!»[16] и т. д., и т. д. «Гварнизоны», «фендрики», «оберштер-кригскоммисары», «оберберг-гауптманы», «цухтгаузы», «шпингаузы», «артикулы», «акции» (не наши акции, конечно), «екзерциции», «салютации» — все это словно соль пересыпает деловую речь, звучит смело, авторитетно.

— Ах, эта девка Марьюшка Гаментова — какой раритет! — восклицает красивая женщина с опахалом, сидящая недалеко от царицы Екатерины Алексеевны, около которой сгруппировались придворные дамы — которая с рукоделием, которая просто с опахалом.

Восклицание это вызвано было появлением особы, которая была действительно тогдашним раритетом.

Это была фрейлина Гамильтон[17], блиставшая в то время при дворе и затмевавшая своей красотой знатных красавиц своего времени — двух Головкиных, княгиню Черкасскую и Измайлову. Фрейлин тогда называли «девками», попросту еще, по-старинному, и потому восклицание о «девке Марьюшке» было весьма естественно в устах придворных дам. Та из них, которая назвала Марьюшку «раритетом», была в своем роде тоже раритет и представляла собою придворное светило первой величины, хотя сомнительного блеска. Это была знаменитая Матрена Ивановна Балк[18] или, как ее обыкновенно называли, Балкша. Она происходила из рода Монсов и была старшею сестрою Анны Монс, или Аннушки Монцовой, иноземки, дочери виноторговца, той девушки, из любви к которой Петр особенно усердно поворачивал старую Русь лицом к Западу, и поворачивал так круто, что Россия доселе остается кривошейкою.

— Ах, по чести сказать — весьма прекрасна, — повторила она.

Девушка в самом деле была прелестна. В ней было что-то гордое, мраморное, и оттого самая красота ее казалась холодною. Она ступала медленно, уверенно, как бы чувствуя себя на выставке, так как на самом деле взоры присутствовавших невольно останавливались на ней чаще чем на других, а она как бы старалась отразить эти взоры своим спокойствием и сдержанностью. Отдав подлежащие решпекты кому следовало, девушка прошла в ту залу, где шли танцы.

Сухая, черствая, немножко фельдфебельская фигура хозяина, самого Данилыча, показывалась то там, то здесь, и по лицам гостей, к которым подходил светлейший, можно было видеть, что он со всеми обменивался летучими, на ходу брошенными фразами.

— А! Достойнейший Петр Павлович! Премного счастлив видеть тебя в моей избушке, — обратился он с приветом к одному гостю, живой, юркий тип которого обличал что-то еврейское. — Поправляешься?

— Нижайше благодарю вашу светлость, — был ответ гостя с еврейским обликом. — Как же мне не поправиться, когда вся российская держава, толико веков удрученная педагрическими и хирагрическими немощами, воспрянула ныне от единого слова нашего великого монарха, рекшего расслабленной России: «Возьми одр твой и ходи».

Говоривший эти высокопарные, в то время высоко стоявшие на общественной и придворной бирже фразы, был Шафиров, делец и птенец Петра. Еврейский облик говорившего свидетельствовал, что он знал цену слов на тогдашней бирже.

— Слепые видят и хромые ходят, — добавил он,

— поелику их поддерживает неустанная рука вашей светлости.

Меншиков улыбнулся и заметил как бы заигрывая:

— Благодарствуйте за знатный комплимент. Только вот мы никак не можем с его величеством положить предел тому, чтоб проснувшиеся россияне меньше запускали руки в казенную мошну, а то и слепые, и хромые, а наипаче безрукие воруют...

И Меншиков, и Шафиров исчезли в толпе гостей.

Из толпы выделилась статная, ловко лавировавшая между дамами и мужчинами фигура молодого человека и направилась к императрице. Черные глаза Екатерины летучим огнем скользнули по этой статной фигуре, и быстро опустились.

Молодой человек, став против императрицы, отвесил ей глубокий поклон. Екатерина ласково улыбнулась ему и кивнула головой менее величественно, чем другим особам.

— А! Братец Вилимушка! — пропела Балкша. — Что так поздно изволил пожаловать?

— Я имел счастие исполнять личные поручения всемилостивейшей государыни, — был ответ и поклон в ту сторону.

— Благодарствую, — милостиво выронила императрица. — А государь где находится?

— На верфи изволит осматривать новые корабельные заказы, государыня.

Вновь пришедший молодой человек был Вилим Монс, брат Матрены Балк и секретарь личных дел Екатерины. Монс быстро шел в гору: этот юный делец взбирался уже на мачту исторического бота и обретался в величайшем авантаже. Он был всеобщий любимец, и в особенности среди прекрасного пола, который был от него без ума. Вилимушка Монцов составлял душу дамского общества. Он хорошо

пел все чувствительное и нежное. Из-под его пера выходили восхитительные, по мнению дам, куплетцы, стишки и любовные записочки, которые он писал особо придуманною им азбукою, взятою из латинского алфавита. Он прекрасно танцевал, искусно руководил танцами, фантами, сыпал остротами и знатными комплиментами как горохом. Но в то же время был взяточник первой руки.

Не успел он достаточно порисоваться перед дамами, как рядом с ним очутилась другая угодливая фигура, хотя старая и больше смахивавшая на отжившего подъячего, чем на знатную особу.

— Всемилостивейшей государыне с чадами долгоденствия и здравия, — сказал старик, униженно кланяясь.

— Здравствуй, почтеннейший Гаврило Иванович, — отвечала любезно Екатерина. — Как твое здоровье?

— Милостями великого Бога и премудрого государя нахожусь в удовольствии.

Это был великий канцлер Головкин, человек недалекий, взобравшийся на высоту через доносы на царевну Софью, — личность из породы пресмыкающихся и надоедливый людям и Богу ханжа.

Он раскланялся к Матреною Балк, с другими дамами и с молодым Монсом.

— Радуюсь я, государыня матушка, взирая на сии веселости, а все сие совершилося благою волею великаго государя... Рече: «Да будет свет — и бысть», — подлаживался старик своею псалтырною речью, от которой пахло Алексеем Михайловичем.

— Да, да, хорошо, — отвечала Екатерина, скользнув глазами по красивому лицу Монса.

Лисий взгляд великого канцлера уловил какую-то искорку в глазах императрицы, и старая лиса приняла это к сведению и руководству.

— А уж вам умным и ученым младым птенцам, — обратился он искательно к Монсу, — вам подобает за сие стопы государевы лобызать, со следов его премудрых землицу собирать и в ладонках, рядом с крестом на шее, носить.

— Мы и молимся на государя, — отвечал Монс. — Разве в ваши времена такие великие дела совершались, какие ныне творит Россия по манию монарха? Мы молимся на государя за то, что он излил на нас свет просвещения...

Новые гости, подходившие к императрице, прекратили этот поток хвалебной риторики, которая звучала везде, в каждой группе, на улицах, в бумагах, в церквах, во дворце, и — удивительно! — не приедалась Петру.

Отходя от Екатерины и покосившись на Монса, Головкин ворчал про себя: «Ишь ты, щенок белогубый... из молодых, да ранний... молоко на губах материно не обтер, а уж загребает все, что к нам, старикам, прежде подкатывалось... ишь немецкий ублюдок...»

— Что ты, Гаврило Иванович, молитву что ли про себя творишь в сем вертепе? — откуда ни взялся Меншиков.

— Ах, светлейший князь батюшка! — спохватился старик. — Истинно молитву творю за государя да за тебя, света... Все вашими руками...

— Что, жар-то загребаешь?

— Ох, куды мне, старику, батюшка?

— Куды? В чулок по старине, дочкам красавицам в приданое... А! Вон и твой... Ягужинский... красавец, — иронически и довольно ядовито прибавил он, кивая в сторону и резко подчеркивая слово твой.

Головкина передернуло. Лисьи глаза его запрыгали и словно мыши искали норы, куда бы спрятать-

ся... Слово твой намекало на постыдную тайну, которая, — думал великий канцлер, — давно и глубоко погребена только их руками, его самого и Ягужинского, и о которой никто в мире не подозревал.

— Да, да... был когда-то Павлуша органщик... а там жильцом у меня... а теперь, поди на, генеральс-прокурор, — бормотал растерявшийся старик.

Ягужинский гордо поклонился Меншикову и смотрел на него вызывающим взглядом. Это был взгляд красивых, но похотливых, женских, а не мужских глаз, как и вся фигура его дышала чем-то женственным, сластолюбивым.

— Здравствуй, здравствуй, господин генеральс-прокурор, — ядовито продолжал Меншиков. — А вот я с твоим (он остановился с умыслом на этом слове и снова отпечатал его что называется разрядкой, крупно, курсивом...) с твоим... бывшим... покровителем (это слово он подчеркнул с наслаждением, как именно то самое слово, которое он давно искал и, наконец, нашел...) заболтался.

Ягужинский побледнел. И он, как Головкин, понял, на что намекает почему-то рассвирепевший, тоже «бывший» некогда Herzenskind* царя. Но он нашелся скорее, чем Головкин, и к тому же был смелее его, дерзче, неудержимее на язык.

— Ваша светлость не может мне завидовать, понеже у вас был (тоже подчеркнул и остановился...) более могущественный... покровитель.

Неизвестно, чем бы кончилась эта схватка, если бы Меншиков не был позван императрицею, которая догадалась, что между ним и Ягужинским вышло что-то неладное.

Меншиков ненавидел Ягужинского за то, что этот

* сердечный друг *(нем.)*

последний вошел в такую милость к царю, что оттеснил всемогущего Данилыча на второй план.

— Ах, мин гер, Павел Иванович! — подскочил как из земли выросший Шафиров. — Пылал страстию видеть вашу милость.

Ягужинский успел оправиться и весело поздоровался с Шафировым.

— Поистине ргай здесь по воле мудрейшего царя, — продолжал льстить картавый язык последнего. — Ргай, просто ргай (иудейство говорившего так и хрустело на букве «р»).

— Да, да, думаю, что здесь больше веселостей, чем в Едикуле, — любезно намекал Ягужинский на то, как турки томили еще не очень давно этого самого Шафирова как заложника в «семибашенном замке»[19]: — Больше приятства.

Шафиров таял от удовольствия и придворной аттенции царского любимца.

— О, мин-прехтигер-гер! Больше, больше приятства здесь, чем в Едикуле, — рассыпался он. — О! как шагает Россия в богатырских ботфортах великого царя.

— Да, точно кот в сапогах...

— Истинно, истинно... и — мышей заморских давит.

Откуда ни возьмись Головкин с своими лисьими глазами и уж егозит перед своим бывшим жильцом, а теперь царским любимцем, перед Павлушей Ягужинским.

— Хи-хи-хи, Павлуша, — потирал он руки. — Как же ты знатно огрел «пирожника...» сковородником его, сковородником, да прямо в рожество...

Шафиров уже юлил и хрустел своим подвижным ртом около императрицы.

— В рожество, в рожество, — радостно повторял Головкин, умильно глядя в глаза Ягужинского, так

умильно, как лиса смотрит на цыпленка. — А ко мне когда же?

— Постараюсь на днях.

— А женушка что?

— Все в задумчивости...

— Плохо, плохо... Приходи же — дочки ждут...

У Ягужинского блеснули похотливые глаза... «Приду, приду», — торопился он.

А старая лиса Головкин шептал про себя. «Попался Павлуша... женушку-то задумчивую в монастырь, а его в зятьки для Аннушки... знатный зятек... Ах, пирожник, пирожник... погоди, я тебя упеку! Опять заставлю пироги продавать, только уж в Сибири, якутам... Погоди, Данилыч, погоди, дай только нам женушку Павлуши Ягужинского за ее задумчивость накрыть черной рясой, а там моя Аннушка станет Ягужинской, а без Ягужинского он-то, царь-батюшка, и анисовку не пьет... Оно и выходит: найди ниточку, а по ниточке и до клубочка дойдешь...»

— Что это ты, Гаврило Иванович, на пальцах высчитываешь? — вдруг раздалось над его ухом.

Старик опомнился. Перед ним стояла сама Балкша.

— Что высчитываешь? — повторила она.

— Сенцо, матушка Матрена Ивановна, — отвечала лиса самым добродушным тоном.

— Какое сенцо?

— Да вот мне из вотчины сенца привезли... Сено хорошее. А ты как-то плакалась, что у тебя сена нет. Так я тебе, матушка, десятка два возочков пришлю.

— Спасибо, спасибо, мой родной. Вот уж благодетель-то.

— А братец твой, Вилим Иваныч, здравствует?

— Что ему? Прыгает.

— То-то. А то я заметил, — и старый хитрец понизил голос, — замечаю я, матушка, что наш-то

римской князь, Данилыч, косится на вас с братом: царя, вот-на, от него заслоняете.

И, бросив этот камушек в Меншикова, старый интриган отретировался, говоря: «А сенца-то я тебе пришлю».

Поймав Шафирова, он и в него брызнул своей ядовитой слюнкой.

— За что это, батюшка Пётра Павлыч, осерчал на тебя наш светлейший, свете-то тихий наш? — спросил он, улыбаясь.

Шафиров завился около хитрого старика, как вьюн, из воды выскочивший на песок. Плечи его как-то егозили, руки складывались то у живота, то у подбородка. Умные, словно бы ласковые глаза, сделались, кажется, еще умнее и ласковее.

— Осерчал, осерчал, — повторил искуситель.

— А что? За что ж? Да как-же-ж это? — зачастил Шафиров.

— Да вон там с Скорняковым-Писаревым на наш счет пересмеивался. Я стороной слышал.

— Пересмеивался? С Скорняком-то своим?

— С ним, с ним, батюшка. Говорит, этот-де жид Шаюшка, (это тебя-то он Шаюшкой-жидом величает), этот-де Шаюшка принимает Головкина за головку чесноку и хочет-де съесть его... С чего это на него нашло?

— С жиру бесится. Видит, что царь меньше к нему стал милостив, ну и сердитует на всех, словно пес, что на свой хвост лает.

— Верно, верно.

И оба исчезли.

Зависть, злословие, какая-то перекрестная клевета, взаимное друг под друга подкапывание, низкопоклонство, угодливость ради самой угодливости, сплетня, цепкая как паутина, подлость для подлости как искусство для искусства, — все эти прелести ца-

рили в обширных ярко освещенных залах дворца Меншикова. А между тем внешность, приемы, тон речей, выражения лиц, взглядов, улыбок — все это для постороннего наблюдателя представляло картину внушительную, полную глубокого содержания и драматизма. Да на самом деле она и была внушительна. Эта шипящая ханжа, великий канцлер Головкин, подманивающий к себе сенцом влиятельную при дворе немку Балкшу и отравляющий злою слюною тех, кого ему нужно было отравить или привлечь к себе, этот Шаюшка-жид Шафиров, ловко извивающийся, подобно угрю, между Меншиковым и Ягужинским и обоим роюший яму, этот женоподобный сын кирочного органиста Павлуша Ягужинский, допущенный к рулю исторического бота благодаря своим женским прелестям, этот Вилимушка Монс, из породы чужеядных немцев, заполонивший все женские сердца и через это оседлавший всех влиятельных мужчин, которым de jure, но не de facto должны были принадлежать эти полоненные им сердца, все эти карлы оттиснулись на страницах истории в позах и с профилями великанов, потому что в самом деле в их руках корчилась вся Россия, и какие-нибудь двадцать возов сена, брошенные на ручки государственного рычага скряжническою рукою Головкина и съеденные лошадьми Матрены Балк, заставляли иногда трещать весь государственный механизм и стонать миллионы людей, за зипуны которых цеплялся этот механизм тысячами своих колес, зубцов, клещей, шестерней и иных трущих, мнущих, бьющих и сосущих приводов.

В других залах, в которых кишела ассамблея, была несколько иная атмосфера, но с теми же заразительными миазмами.

Вон в первой паре танцующих плавно и величаво скользят перед зрителями две звезды первой величи-

ны, блистающий на придворном небе — красавец Вилимушка Монс, успевший от императрицы ускользнуть в залу танцующих, и восхитительная раритет, девка Марьюшка Гаментова, в движениях которой столько целомудренной грации, столько чистоты и нетронутости, как на поверхности вон того большого зеркала, на которое хотя и дышал утром пьяный рот лакея, вытиравшего его тряпкой, однако оно блестит ослепительной чистотой.

От другой пары танцующих веет, кажется, еще большей свежестью. И действительно, миловидное, совсем детское, раскрасневшееся от удовольствия и ребяческой стыдливости личико княжны-кесаревны Ромодановской, Катюши, так и просится вон из этой отравляющей атмосферы куда-нибудь в поле, в яркоцветистую степь, к звенящим в небе жаворонкам, к жужжащим под весенним солнцем насекомым, а ее уже начинает опутывать эта цепкая паутина придворной жизни. С нею танцует красивый денщик Петра — Орлов, исполнявший обязанности ближайшего флигель-адъютанта царя.

Между танцующими очутилась уже и красивая фигура Ягужинского, и серьезное, хотя еще очень моложавое лицо Остермана, который в это время усиленно учился иностранным языкам и никак не мог вдолбиться в латынь.

— Ишь черт с младенцем связался, — заметила сидевшая в числе почетных дам генеральша Чернышова, которую царь «любительно» величал «Авдотья бой-баба», нагибаясь к своей соседке, княгине Черкасской, — подлинно черт.

— Кто это в черти-то попал, а кто в младен·
— спросила последняя.

— А Орлов с кесаревной Ромодановской.

— Подлинно младенец невинный эта Катюша. Ей бы рано и танцевать здесь.

— А особливо с Ванькой-то Орловым.

— Ну, что ж! Он, я чаю, хочет только этим отвести глаза от своей зазнобушки, Марьюшки Гаментовой.

— О, не бойся, княгинюшка, с Машкой-то своей он дома и лежа потанцует, на перине.

И Авдотья бой-баба зло засмеялась.

— Да, — сказала Черкасская, — а какой тихоней эта Марьюшка прикидывается — недотрога — и на поди.

— Недотрога! А вон дотрога-то ее уж из-под роброна лезет.

— Неужто тяжела!

— Разве не видишь? Словно зеленого гороху наелась... Подлинно Иван да Марья — на одном стебельке.

Скользившая в это время мимо них в своей паре величавая Марьюшка услыхала последние слова. Она догадалась, в кого брызнули этим ядом... Через несколько секунд ее выносили в другую комнату: она упала в обморок.

ГЛАВА XII

Фрейлина Гамильтон.

Едва успели упавшую в обморок Гамильтон перенести в другие комнаты и привести в чувство, как по ассамблее прошел говор, что царь приехал.

Хозяин и хозяйка бросились встречать державного гостя, хотя это было против ассамблейных правил и Петр часто обрывал хозяев, которые его встречали. Но на этот раз Меншиков извернулся, сказав, что он встречает не царя, а спасителя отечества от презельной зевоты, коею Россия одержима была 855 лет, и при этом бросил под ноги царя цветной шелковый носовой платок и ветку латании, которою он вместо опахала отмахивался от жару. — «Се одежды, а се — ваии», — сказал он, кланяясь.

Царь милостиво улыбнулся находчивости своего любимца и спросил:

— А где же осел, на котором я въехал в спасенное мною от зевоты отечество?

— Осел пал под Полтавою, ваше величество, — ловко, хотя грубо нашелся Меншиков.

Петр погрозил ему пальцем, но видимо был доволен остротой.

Головкин, Шафиров, Ягужинский, Остерман, Балк, Монс и другие вельможи стояли шпалерами. Царь, приветствуя всех ответным поклоном, держал в руке какие-то чертежи и бумагу и говорил весьма оживленно:

— Вот знатный прожект. Его представил мне на верфи один веницейский шкипер. Говорит, что с помощью метательного рычага и сугубого блока может с великою скоростью потопить всякий неприятельский корабль. Прожект сей подобает рассмот-

реть со старанием. Без исследования ничто, хотя бы и невозможное, не должно быть оставляемо: «Вся изыскующе, добрая держите». Может и от сего будет что доброе. Христофорус Колумбус почитаем был за юродивого, а сей юродивый великое дело совершил.

И, обратясь к стоявшему невдалеке знакомому уже нам красивому денщику Орлову, сказал, подавая ему чертеж и бумагу:

— На, возьми. Потом положишь у меня на ночной столик. Ночью рассмотрю.

— Орлов взял бумаги и удалился. Лицо его было несколько бледно. Он казался озабоченным, грустным. Да и было отчего...

Во дворце, на половине фрейлин царицы, в одной небольшой, но изящно убранной комнате, опершись руками на уборный столик, горько, безнадежно плакала молодая девушка. Плечи ее, от которых отливало белизною мрамора, вздрагивали от неудержимых рыданий. Прекрасное бальное платье с распущенною на груди шнуровкою, роскошная, расплетенная и разметавшаяся по мраморным плечам и по спине коса — все было в беспорядке, все забылось в страшном горе, которое теперь выплакивала и не могла выплакать девушка.

Это была фрейлина Гамильтон, красавица Марьюшка, ослепительной наружностью которой еще так недавно любовалась вся ассамблея. Но куда девался этот царственный, победительный, холодный, но в то же время обаятельный вид красавицы? Здесь была только молодая, прелестная девушка, которую срезало непоправимое, незабываемое горе, сразило как былинку, и она теперь неутешно плакала, да так неутешно, что, кажется, с каждым ее всхлипываньем разрывалось молодое сердце и истекало кровью, а потом вновь разрывалось, исходило кровью, разбивалось о что-то жесткое, безжалостное, неумолимое.

— Мама моя! Матушка! — шептала она молитвенно как-то. — Матушка моя! Для чего ты меня на горе покинула? Родимая моя! Ох, ох, и горе мое гореваньице!..

И ее прекрасное, все облитое слезами личико припадало к ладоням, и она всхлипывала, горько, как-то по-детски покачиваясь из стороны в сторону.

— Батюшка! Родимый ты мой! Где же ты? Ох, где та пора-времячко, когда я на ручоньках у тебя сидела, горюшка не ведаючи? Батюшка! Родненький!..

И в эту горькую минуту вспомнилось ей ее невинное, счастливое детство, и не здесь, не в этом мрачном, заражающем душу городе, а где-то далеко, далеко на светлом, теплом юге. Спокойная река течет под крутыми, скалистыми, поросшими боярышником берегами. Виднеется на этой родной реке рыбачья лодка-каюк, а в ней сидит рыбак, дедушка Власьич... Маленькая бойкая Марьюшка бегает по берегу Дона, у самого обрыва, и видит, как в воде, на солнышке, выигрывают головли, поблескивая своею серебристою чешуей. А там за горой выросток казачий, Васюта Баев, пасет станичных лошадей и поет свою любимую песню:

Как у нас на Дону во Черкасске
Собирались казаченьки во един круг.

На кусту боярышника воркует горлинка, и маленькой Марьюшке так жаль ее деток, которых она видела в гнезде и приносила им хлебца, а они хлебца не ели...

Власьич подплывает к берегу, вынимает плетешок с живою рыбою, разводит на берегу огонь и, очистив рыбу, варит из нее вкусную щербу...

А вот отец едет с охоты на вороном коне. Богатый чепрак блестит узорами, которые мама вышивала...

И Марьюшка бежит навстречу отцу, который сажает ее к себе на седло, и они скачут, скачут по степи, так что дух захватывает...

Смелою и своевольною росла Марьюшка. Сама разъезжала по Дону в каюке, сама ходила в лес к своему любимому пчелинцу, старому Бобрику... Гудом гудят пчелиные рои по деревьям, заливается по лесу всякая птица, дятел долбит дерево... Жаль Марьюшке дятла: по ночам, говорит Бобрик, он стонет в дупле, на своем гнезде, стонет потому, что у него головка болит от постоянного долбления деревьев... Марьюшке хочется послушать стонущего дятла, но по ночам она всегда спит и никто ее не будит... А кукушка все плачет потому, что она беспамятливая, гнезда своего не помнит... Для Марьюшки понятен говор травы в поле, говор леса, трепет горькой осины... О, золотое детство! Куда все это уплыло?

А цыганка говорила, что Марьюшка «найдет свою долю в царских палатах...»

— Ох, нашла, нашла я мою долю! нашла в царских палатах! — в страстном отчаянии ломала она себе руки. — Ваня! Ванюшка! Ненаглядный мой! Не ты отнял мою долю, не ты, голубчик... Ох, долюшка моя! растоптана моя долюшка царскими ногами...

И снова в этой тоске непроглядной картины далекого детства заволакивали это настоящее с его острыми ранами...

У Бобрика такие добрые, ласковые старые глаза... И у Головкина ласковые, но под их взглядом стыдом красятся щеки... У Шафирова паточный голос, сладкие, гадкие глаза... Власьич, Власьич добрый! Рассказал бы лучше, как вы под Азов-город ходили... Фу, какая тоска, какая смертная тоска!

А эти ядовитые глаза княгини Черкасской... А эти страшные слова этой страшной бабы: «Иван да Марья — на одном стебельке...»

Ух! Холодною льдиною дотронулись до сердца… Холодно-холодно на сердце…

Нет, больше не плачут глаза, выплакались все слезы, высохли, на душе пересохло…

В это время в комнату вошла пожилая женщина, вроде нянюшки, и тихо подошла к выплакавшейся фрейлине.

— Что, мамушка, видала? — спросила последняя упавшим голосом.

— Самого видала, боярышня.

— Будет?

— Велел сказать, боярышня, что будет сам: как-де, после ужина, раздену царя и уложу спать, так-де и приду.

— А обо мне спрашивал?

— Пытал, матушка: как-де Марьюшка в здоровье?

— Что ж ты сказала?

— Сказала, боярышня; боярышня-де, говорю, была сомлевши, а теперь-де ничего, слава Богу.

— Что ж он?

— Приказал: буду-де неупустительно.

Девушка задумалась. Вспомнилось ей, как они сблизились, как она полюбила его, как потом они все вместе с царем и с царицей ездили в иноземные государства… Был тут и он… В Гданске справлял царь свадьбу княжны Екатерины Ивановны с тамошним герцогом[20]… Веселости всякие, гулянья… Сад горит потешными огнями, а промеж деревьев темно-темно… Музыка так вот кровь и бросает то к щекам, то к сердцу… И он тут, держит за руку, обнимает… «Солнышко мое незакатное, Марьюшка… назолушка моя…» Все сгинуло, все смолкло — и огни, и музыка, и далекий говор… Память помутилась, ноженьки подкосились…

— Ты бы сняла с себя это, — сказала мамушка.

Девушка вздрогнула.

— Дай я раздену тебя, родимая, — продолжала мамушка, — дам тебе что полегче.

Девушка молча повиновалась. А в душе какой-то разброд ощущений, мыслей, вперемежку, разорванными клочьями образы прошлого и настоящего... Мать с кроткими глазами расчесывает ее непослушную косу... За окном меж ветлами иволги пересвистываются... Шелковая, с серебром черная борода отца, которую теребит девочка... Нева, дворец... Гам какой-то невообразимый, в ушах звенит... Слышит она, как царь говорит: «Взять во двор Марью Гаментову...» Точно голос казачьего сотника Чернухина: «Стреляй в этого стрепета, а я — в этого...»

«Что это — какая тоска, Господи!» Девушка подняла глаза к образам, чего-то просит, ждет... Нет, ничего и они не дают, ничего, ничего!

Совыканье-то наше было тайное,
Расставанье-то наше стало явное...

И это клочок чего-то прошлого, а с ним налетели и звуки прошлого, от которых на душе саднит... Тошно, тошно, ох, тошнехонько на душеньке!

Как время тянется! И куранты в крепости давно бить перестали.

У, какие холодные глаза у этой ведьмы Чернышевой, у Авдотьи-генеральши... Бедная, маленькая кесаревна Ромодановская Катюша, и она так же будет ждать боя курантов, и ее они съедят, захватают, глазами нечистыми захватают, и полиняет, поблекнет, потускнеет чистота ее, свежесть, ясность...

«Что это думал Ягужинский, когда глядел на меня?.. У него умные, а недобрые глаза...»

— Не умыть ли тебя, боярышня, с глазу? — говорит мамушка, вглядываясь в боярышню. — Недоброе око тяготу на тебя наслало.

— Недоброе око, говоришь?

— Должно — недоброе. Дай-кось я тебя с уголька умою.

— Нету, мамушка, не поможет.

— Что ты, боярышня! В уме ли? С молитвою-то не поможет? Мне мамушка царевны Софьи Алексеевны сказывала: и ей с уголька помогало... И покойного великого государя Алексея Михайлыча с уголька умывали. Дело бывалое.

— Это не с глазу, мамушка.

— Где не с глазу! Чего стоит один глазок у этой немки Балкши! Насквозь пронзает, что твоя рогатина добрая. А Долгоручиха? А Строганиха? Молоко скиснет, как только взглянут, матушка!

Когда переодеванье фрейлины было кончено и коса ее приведена в порядок, мамушка сказала: «Ин пойду теперь — угольков сыщу».

— Постой, мамушка, — сказала фрейлина, — ты была замужем?

— Нету, боярышня, не привел Бог.

— Отчего же?

— Да так, не вышло. В самую это пору, давно уж это было, когда батюшка царь женился на первой царице, на Евдокей на Федоровне, присватался ко мне жених, из наших же, из дворских. Парень был хороший и любил меня. Да и я-то его, грешная, так-то полюбила, что, кажись, и душеньку-то всю свою да еще и с привеском в него положила. А на ту пору, зараз после свадьбы, молодой-то царь взмыл что твой сокол и полетел на Переслав кораблями тешиться. Забрал с собой того-другого! И мой-то попал в свору. А там весть скоро пришла, что в озере утонул на царских потехах... Уж так-то я плакала, что, кажись, со слезами-то горючими вся душенька из меня вышла. Да и впрямь вышла, двух вить душ у человека не бывает. Вышла моя душенька...

Взглянув на свою боярышню, она увидела, что та опять плачет.

— Что бы, родная! Да что ж это за напасть такая! — убивалась мамушка. — Что с тобой?

— Ничего, ничего... У меня душа еще не вся вылилась... не остеклело там...

В дверях показалась девушка, из царицыных камерин.

— Ты что, Ариша? – спросила мамушка.

— Приказала царица про здоровье боярышни спросить, — бойко отвечала востроглазая Ариша.

— Благодарю государыню царицу за милость и память, — сказала фрейлина. — От великого жару в покоях светлейшего у меня голова закружилась, а теперь, благодарение Богу, мне лучше.

Помявшись на месте, Ариша ускользнула, проговорив обычное: «Счастливо оставаться, матушка боярышня».

Боясь, что с возвращением царицы и всего придворного дамского штата из ассамблеи, другие фрейлины станут справляться о ее здоровье, Гамильтон ушла в свою спальню, а мамке велела говорить всем, что она почивает.

— А коли он придет, мамушка, то его проводи особым ходом, — добавила она.

В спальне на нее снова нахлынули воспоминанья, обрывки которых как-то нестройно проходили по ее памяти. Это бывает именно тогда, когда нервы, принимая ощущения как-то вразброд и поддаваясь рефлексам давно пережитых ощущений, в таком же разброде передают мозгу какие-то лоскутки и тех, и других.

Рядом с нервно подергивающимся, до неприятности выразительным лицом царя, в один страшно и мучительно памятный в жизни девушки момент, рядом с этим подвижным лицом и горящими от из-

бытка внутренней силы глазами становится спокойное, морщинистое, с детски наивными глазами лицо пчелинца Бобрика, беззубый рот которого рассказывает о том, как пчела залетела в церковь и увидев, что там перед образами горят свечи из ее воску, стала плакать... Говорил он и об цветке Иван-да-Марья... Они умерли, убили себя, а мать поливала слезами их могилу — и вырос цветок.

«И мы умрем с ним разом... Кто ж будет плакать над нами?..»

«А цыганка говорила: найду свою долю, в царских палатах найду... — Нашла, ох, нашла я ее!..»

«Что это? Я, кажется, с ума схожу... Ох, скорей бы он пришел!»

А его все нет. Девушка стала ходить по комнате, в надежде сократить время. А время тянется, тянется... В минуту она переживает год, а передумает — все годы своей жизни. А таким минутам конца нет, счету нет.

Образ Спасителя из-за киоты глядит на нее. «Он был добрый, зачем же строгим написали?»

Замаскированная обоями и драпировкой дверь тихо отворилась и в комнату вошел статный мужчина. Это был Иван Орлов, царский денщик, которого мы видели на ассамблее танцующим с кесаревной Ромодановской.

Увидав вошедшего, фрейлина тихонько вскрикнула, бросилась к нему и обхватила руками его шею.

— Ванюшка! Ваня!.. Милый мой, родной мой, — шептала девушка.

— Что с тобой, Марьюшка?

— Ваня! Ваня!.. Смерть моя пришла.

— Да перестань, милая, успокойся, сядем. Что же случилось?

Несмотря на то, что Гамильтон была не из маленьких и не из худеньких, Орлов, не раз пробовав-

ший петровской дубинки не трогаясь с места и кулаком убивавший теленка, взял ее, приподнял как двухлетнего ребенка и усадил на низенькую, крытую штофом софу.

— Рассказывай же, моя маленькая казачечка, что с тобой сделалось там? — сказал он, садясь рядом с ней и привлекая ее голову к себе на грудь. — С чего ты там обомлела?

— Ох, и сказать стыдно, и молчать страшно, милый.

— Да что же было-то там такое?

— Ты видел, Ваня, я плясала с Вилимом Монцовым, а эта, его сестрицы кумушка, Чернышиха Авдотья да Черкасская так-то ехидно на меня смотрят и на тебя показывают... А когда я около них туру делала, слышу, Авдотья и говорит: «Иван-де да Марья — на одном стебельке...» И так-то мне на живот глазами указывают...

Говоря это, девушка совсем спрятала голову на груди Орлова. Тот молчал.

— Каково же мне было слышать-то это, Ваня?.. Теперь уж все знают, все видят.

Орлов молчал и тихо гладил ее голову.

— Как же быть-то нам, Ваня?.. Попроси царя... Ох, голубчик, упроси его, а то я руки на себя наложу.

— Намекал стороной, Марьюшка, так таково глянул на меня, что искры из глаз посыпались... «Хочешь, говорит, так в Рогервике на тачке женю, в посаженые заплечного мастера дам».

— О, Господи! Что ж нам делать? — отчаянно металась девушка.

— Подождем, Маша, не убивайся, голубушка.

— Подождем... Ох, а каково ждать-то? Разве ты не видишь? Дай руку...

Он обнял ее. Но утешить не мог. Рука его действительно ощутила, что долго ждать нельзя...

— Вот что, Ваня, ты знаешь, что царевич бежал с Афросиньей... Ты не знаешь, где теперь он?

— А что?

— И нам бы, милый, к ним бежать.

— Что ты! Что ты, Марьюшка! От нашего-то, я чаю, не спрячешься нигде, он и за тремя морями сыщет.

— Нет, не сыщет, Ваня. Вон царевича же не нашел.

— Сказывают, нашел.

— А нас не найдет. Ну, коли там найдет, так мы в леса уйдем, в скиты... Мамушке юродивый Фомушка сказывал, что в пустыне человек — словно иголка в Неве: один Бог его найдет, а людям его не сыскать.

— Ах, Марьюшка, голубушка, — нельзя этого.

— Для чего нельзя? Да и не вечно мы там останемся. Как сам-то помрет... так царевич и простит нас и ко двору вернет. Я Афросинью знаю, видала ее у Вяземского, она добрая, она за нас будет.

Орлов качал головой.

— Так на Дон уйдем, Ваня, а оттуда за Кубань, к Игнату Некрасову: он меня знает, маленькой на руках носил, песни пел про Ермака да про Стеньку Разина.

— Ах, дурочка ты моя милая, казачечка моя неразумная.

— Нету, Ваня, соколик мой, я правду говорю... А тут мне не жить... На меня уж пальцами показывают.

Орлов не знал, что сказать. Мелкая, эгоистическая натура его натолкнулась на нравственную дилемму, и чуть только крокодил показал свою страшную зубастую пасть, петровский делец и карьерист тотчас закричал: «Пожирай моего ребенка, только меня не трогай». Он глубоко чувствовал низость

своей души, но тем с большею энергиею старался не признавать этой низости, и всю тяжесть ответственности сваливал на душу невинную, искреннюю, глубоко и страстно привязавшуюся к своему губителю. Он был мастер выслуживаться перед царем, мастер сочинять доносы, в которых он, несмотря на свою молодость, очень набил руку, а через это и карман, но нравственной жертвы не понимал. Он понимал только, и понимал вполне реально, что выгодно, и что невыгодно, что приятно, и что неприятно, но дальше этого не шел ни его реальный мозг, ни его реальное сердце. По этой логике чести он увлекся красотой Гамильтон, которой увлекались и Петр сам, и Меншиков, и Шафиров, и Головкин, и Брюс, и Толстой; к несчастью, увлекшись сам, он увлек и девушку. И теперь, когда она стояла на краю пропасти, он отдернул от нее свою запачканную доносами руку. Он оказался осторожным лично для себя, как всякая мелкая, трусливая натура, он, говоря современным языком, действовал анонимно, как всякая бездарность, чувствующая, что она может выказаться невыгодно для себя, и сознающая, что не имеет за собой таких качеств и дарований, которые выкупали бы эту мелочность. Удалиться от двора, бросить карьеру — это было выше его маленьких сил.

— Ваня! Ваня! Что ж нам делать? — отчаянно говорила девушка.

— Подожди, подожди, моя лебедушка! Я подумаю, — отвечал он и пояснил, что он должен сейчас уйти, что его ждет царь для прочтения какого-то прожекта. — Завтра я приду к тебе.

И поцеловав плачущую девушку, он быстро удалился, как бы боясь, что она его остановит.

Оставшись одна, Гамильтон серьезно стала обдумывать план побега. Но она ни за что не хотела бежать без своего Вани.

Больше всего сердце тянуло ее к царевичу. Он так же как и она страдал и боялся. Он надеялся на более счастливые дни.

«Повидаюсь с Вяземским Никифором, — думала девушка, — побываю у царевичева отца духовного, у отца Якова... Как ему не знать, где царевич? Царевич ему на духу подлинно сказал... А то к Кикину дойду, и он знает, он поможет нам...»

И бедная верила в возможность исполнения своих планов. Она верила, что после непогоды блеснет и их солнышко. А у нее одно солнышко, только бы оно было с нею, только бы оно не заходило...

«А она, Афросинья, добрая, приголубит меня» — снова мечталось ... Я и Вяземского попрошу...»

— Дай-ка я тебя, боярышня, раздену, в постельку уложу, не ранняя, чай, уж пора, матушка, вторые петухи пропели, — говорила мамка, входя в спальную.

— А ты, мамушка, в Киеве не была? — вдруг спросила боярышня.

— А что, матушка? На что тебе?

— Так... Много туда ходу?

— Я чаю, молиться туда хочешь идти? Куда вам с белыми-то ножками!

— Ну, мамушка, скажи только, голубушка.

— Не ведаю, родная, не была сама. А вот ужо как увижу Фомушку блаженного — поспрошаю.

Гамильтон твердо решилась бежать от позора. Но было уже поздно, да и некуда: царевича привезли в Россию...

. . . .

Через несколько месяцев в Летнем саду, в «огороде», у фонтана, найден был чей-то мертвый младенец, завернутый в салфетку с царским гербом... Матери ребенка не нашли...

ГЛАВА XIII

Сторонники царевича на кольях и Левин. Фомушка юродивый.

Зима 1719 года. Раннее морозное утро. По Кронверкской перспективе Петербургской Стороны, от Карповки, тихо, задумчиво наклонив голову, идет прохожий. Иногда он останавливается и осматривается по сторонам. То обратит внимание на какую-либо церковь, на дом, словно из-под земли выросший, то вглядывается в иглы Адмиралтейства и Петропавловского собора, тонкими линиями вырезывавшиеся в туманном, каком-то отталкивающе-холодном небе. Видно, что этот человек или никогда не был в Петербурге, или был очень давно. Одежда обличает в нем военного.

Это — Левин. Он только что приехал в Петербург с юга, из Харькова. Заезжал и в Киев... С Киевом у него были счеты — непоконченные... Такие счеты покanчиваются только ликвидациею жизни, гробом, могилою...

В последнее время до того усилились в нем нервные припадки, особенно после посещения его старцем Варсонофием на возвратном пути из Неаполя и Бара, что командир местных войск, генерал князь Иван Юрьевич Трубецкой, приняв проявления нервных припадков Левина за глубокую меланхолию, превратившуюся в неизлечимую падучую, отправил его на основании указа в Петербург в Военную коллегию для медицинского освидетельствования. Кроме отпуска, Трубецкой снабдил Левина особым письмом к Меншикову.

Левин не забыл Стефана Яворского, задушевную беседу митрополита в Нежине, теплое его благословение. Не выходят у него из памяти участливые, глу-

боко-проникающие глаза митрополита. Все-все помнится, даже глупый воробушек, трусливо скачущий около огромной печерской просфоры.

Рано еще. Петербург по-видимому и не думает просыпаться. Только кое-где в морозном воздухе вьется дымок к голубому небу, да озябшие воробьи чиркают, напрасно ища зерен на мерзлой мостовой.

Какая однако громадина выросла на пустынных некогда берегах Невы. Левин видел эти берега почти мальчиком в начале своей службы вскоре после приезда из Пензы, перед нарвской баталией, где он в первый раз слышал грохот пушек и свист пуль, словно пронизывавших его молодое, детски чуткое сердце, и с тех пор глубоко возненавидел эти проклятые звуки. Тогда на берегах Невы, особенно на месте Петербурга, заложенного уже после, почти ничего не было. А теперь!... Боже мой!... И это все те серые зипуны с серыми лицами, с продранными локтями, с истоптавшимися грязными лаптями, все это они, вечно живущие впроголодь и впоколоть, питающиеся черным как комья засохшей грязи и жестким как эти же комья хлебом, они, нагромоздившие сотни и тысячи бедных, грязных городов и налепившие словно стрижовых гнезд миллионы жалких-плетеных, рубленых, мазаных, соломенных, камышевых, кизяковых и иных избушек, — все это они успели наворотить такую громадину гранитных глыб, целых скал, камней, мусору, домов, палат, дворцов, церквей, острогов, мостов... Столько сделали, построили всю Россию, завоевали целые государства, отвоевали Сибирь, побили шведов, захватили новые моря, настроили кораблей, — столько сделали, столько, кажется, могли заработать, — и все голодны, все бедны, все необеспечены... Сотни и тысячи судов ходят по рекам с хлебом, с товарами, с казною, с железом, с пушками, с ядрами, все это опять-таки

они же сделали — и суда построили, и хлеб посеяли, собрали и обмолотили своими цепами, и товару наготовили на всю русскую землю, и золотой, и серебряной руды понарыли из глубоких недр земли, и железа оттуда натаскали горы, чтобы наделать из него горы ядер и завоевать ими новые земли, и все-таки сами голодны, бедны... Господи!.. Какая, однако, тоска...

Возбужденные нервы, пылающее воображение, напоенное такими горючими материалами, как все виденное, слышанное и перечувствованное, начиная от детских впечатлений пензинской глуши, от потрясения нарвского погрома, Полтавы, где Левин с содроганием видел рыгающие огнем пушки и носимого на носилках, обезумевшего от стыда и ярости Карла XII, и кончая киевской встречей царевича, киевской встряской на берегу Днепра, когда в его руках трепетало что-то необъятно дорогое, — все это рисовало Левину грандиозную, но мрачную картину жизни человеческой, — картину, которая не могла дольше оставаться такою ужасною, и неизбежно, неминуемо должна лопнуть, разорваться в безобразные клочки... Все должно разлететься вдребезги, покончиться, пропасть, сгинуть... Это конец света...

Бедный!.. Собственное воображение подавляло его, а ухватиться было не за что — ни идеалов, ни веры в них, которые бы, как черт, горами ворочали... Да и какие могли быть идеалы в то время?

Что это такое? Какой невообразимый гвалт над Невою, у кронверка!.. Вороньё тучами вьется, мечется из стороны в сторону, безумно каркает, покрывает соседние крыши, деревья, стены крепости... Словно черное облако колышется, раздвигаясь, сдвигаясь, опускаясь и подымаясь...

Левин подходит ближе к Неве. Открывается площадь. Влево церковь. Далее — дома, дворцы, флаги.

Впереди — Нева. Вправо — каменные стены с башнями, бойницами, зияющими жерлами пушек. Церковь с высоким шпицом... Так вот где воронье и галичье царство — над площадью, на площади...

На площади торчат какие-то странные столбы, оканчивающиеся чем-то еще более странным. Столбы заиндевели, только во многих местах иней сбит вороньими и галичьими крыльями...

Один столб — два — три — четыре... много столбов... На столбы понатыкано что-то тоже заиндевевшее, словно клочья седой шерсти...

На иных столбах какие-то колеса с зубцами... На колесах тоже валяется что-то распластанное, безобразное... Торчат и белеются кости белые...

Так вон где этот вороний гвалт, около колес на кольях, над столбами...

Левин подходит ближе, и птицы, шарахнув вверх и по сторонам, производят ужасный крик, кружась в воздухе... Карканье какое-то злое, страшное...

Левин подходит еще ближе к столбам и с ужасом отступает... На колесах — люди! Трупы человеческие... Это белеются кости ног, рук, ребра голые... Птицы почти все мясо посклевали...

Ужас охватил Левина. Он стоит и не может двинуться. Он бежать не может... Эти недоклеванные мертвецы погонятся за ним.

А на столбах, на кольях — еще ужаснее... Это торчат всклоченные, заиндевевшие головы человеческие. Их птица не тронула, боится, глупая, человека, его лица. Да и как не бояться? Он такой страшный зверь, страшнее всякого зверя... Голову человека страшно трогать, только она в состоянии выдумывать такие ужасы, такие муки. Страшна голова человеческая, даже мертвая, ох, как страшна! А живая, которая выдумала такие муки злобные, должна быть еще ужаснее...

И это — как раз против самой церкви! Это люди не боятся делать такие ужасы вблизи мест и храмов, посвященных Тому, кто был весь милость, всепрощение, который Сам приходил затем на землю, чтобы спасти людей от этих мук, от этих ужасов... Напрасно приходил, напрасно пострадал!

Так думал Левин. Мысль его мутилась.

«Кто они? За что такая казнь?»

А вороны, которым помешали, у которых отняли снедь, каркают, мечутся...

Ух, какие страшные люди, как мало в них человеческого.

Вон у той головы длинные волосы, как у священника, и борода длинная.

«Неужели тут и царевич?.. Нет, царевича раньше, летом еще...»

Какой-то старичок подходит к Левину и всматривается в него. Лицо как будто знакомое.

— А! Здравствуй, Василий Савич! Какими судьбами? — спрашивает старичок.

Левин, все еще под влиянием ужаса, не может придти в себя. Не мертвец ли и это?

— Не узнаешь старого Варсонофия? — продолжал тот. — Вот где привел Господь встретиться. Не на добром месте.

Левин приходит в себя, хотя ужас не выходит из души... А эти вороны так кричат! А колья и головы так неподвижны...

— Здравствуй, дедушка, — говорит он наконец, — насилу спознал тебя.

— Почто приехал в Вавилон сей?

— От князя Трубецкого прислан в Военную коллегию для освидетельствования в болезни.

— А как сюда угодил, в место экое?

— И сам не знаю как... Шел понаведаться к митрополиту, к святейшему отцу Стефану Яворскому...

В Нежине еще бывши, указал быть у него... Да вот и набрел на эту Голгофу...

— Истинно Голгофа... Мученики невинные.

— Кто ж они? За что казнены?

— Царевичевы, упокой его душу, Господи, слуги: отец духовный Иаков Игнатьич, да Большой-Афонасьев — думала ли его головушка в Неаполе, что сидеть ей на колу у Спаса у Троицы? — да дядя царевичев Лопухин Аврам, да Воронов.

— А когда замучены?

— Сегодня будет месяц, как казнь и венец мученический прияли. Я каждый день хожу к ним в гости, про души их помолиться... Скоро от них ничего не останется — птица все съест.

— Головы только целы.

— Да, птица не дерзает на образ и подобие Божие.

— Что ж, разве их так и не похоронят?

— А Бог ведает. Может и долго еще будут тут ко Господу вопиять телеса мучеников... Не больно уж им, не холодно... Только душеньки их содрогаются, скитаючись ныне по мытарствам и навещаючи телеса свои, зрак свой, обезображенный, посрамленный, поруганный...

Левин уже без ужаса, а с глубокой грустью глядел на покрытые инеем головы... В одной из них он силился узнать голову Большого-Афонасьева, которого видел в Киеве, в проезд царевича... В Киеве... этому уж восемь лет... восемь лет...! И царевича не стало... и ее...

Так сердце и упало... Нет и ее, Оксаны... «Прочь! прочь, невозвратное, мучительное...»

— А Ефросиния? — спрашивает Левин.

— Афрасиньюшка? — У старика выступили на глазах слезы... — Об ней после... Да что мы тут-то стоим? Пора и проститься... А зайдем-ко лучше ко мне в келейку. Там и поговорим.

— А к митрополиту когда же?

— От меня.

— Да он приказал к нему первому придти.

— К нему и пойдешь. Я не здешний, не ихний, я Божий.

Они пошли по направлению к Самсониевскому мосту.

— Вон дворец царев, — говорил старик, показывая на небольшой дом вправо у Невы.

Там тоже начиналось движение. Окоченевшие часовые стояли как статуи.

Вдруг они встрепенулись и что-то сделали ружьями.

Из ворот дворца вышел необыкновенного роста человек. За ним вышел другой пониже. Великан протянул руку по направлению к кольям с взоткнутыми на них головами.

И Левин, и старик узнали царя. Он что-то говорил своему спутнику. Лицо его передергивалось и голова нервно откидывалась назад. Страшно было попадаться навстречу такому человеку. За все про все ноздри рвать, кнутом сечь, железом жечь: так по крайней мере думали современники, и обстоятельства в значительной степени подтверждали это мнение.

Когда Левин и старик подходили к мосту, они заметили какого-то оборвыша, без шапки и босиком, который, взявшись что называется «руки в боки, глаза в потолоки», отчаянно выплясывал босыми ногами по снегу. Седые волосы нестройными прядями трепались в воздухе, и нельзя было отличить, седы ли они от старости или от инея.

Левин остолбенел от изумления.

— Да это наш Фомушка, Божий человек, юродивый.

— Да что ж он делает?

— Видишь — пляшет, радуется Божий человечек.

— Чему ж это?

— Вестимо, Бог радости послал.

Они поравнялись с пляшущим.

— Здравствуй, Фомушка. Бог в помощь тебе, — сказал старик.

Юродивый, не обращая на них внимания, продолжал выплясывать:

У Троицы
У Спасушки
На колышках
Головушки.
Уж и головы торчат,
Таки речи говорят:
Вы вороны,
Вы черненьки,
Собирайтеся,
Солетайтеся
На завтрачек,
На полдничек:
Царь-от батюшка
Вам пожаловал
Говядинки,
Человечинки...

Он пел на голос: «Как и мой-от козел всегда пьян и весел».

Левин чувствовал, как холод проникал ему в душу. Страшно ему было слушать такие песни после того, что он сейчас видел. А юродивый, остановившись на минуту, весело сказал:

— Здравствуй, Варсона! Заходи ко мне в гости, у меня свадьба.

— А ты где живешь теперь?

Юродивый рассмеялся, снова подбоченился и,

спросив: «Где»? — снова начал приплясывать и приговаривать:

У Марьюшки
У Акимовны
У Иванушки
У Захарыча –
Что-у Марьюшки в шабрах,
У Ивана на задах...

— Вон он где живет! — говорил старик, улыбаясь. — Угадай-ка его, где это подворье... Марья Акимовна — это у него дщерь Иоакима и Анны, Мария — Богородица Дева, а Иван Захарыч — это сын Захарии и Елисавет, значит, Иоанн Креститель. Так вон он, Божий человек, где живет: у Девы Марии в соседстве и у Иоанна Крестителя на задах... Вот и попадай к нему в гости.

— А кого ж ты замуж выдаешь, кого женишь? — обратился старик к юродивому.

— Пса смердячего, что у царя в покоях гадит и на добрых людей лает, женю я, Варсонушка, на красной девице несчастливице, на Марьюшке Гаментовой.

— А что? — спросил старик с недоумением, зная вполне, что все намеки и иносказания юродивого всегда имеют практическое основание. — Что ж с нею, с Гаментовою-то, Фомушка?

— Этот пес Орелка нагадил на нее, а Андрей Иваныч Ушаков моет ее, голубушку, в немшоной бане.

«Немшоной баней» у тогдашнего простонародья, иносказательно, называлась тайная канцелярия или пыточный застенок, а иногда и просто виселица: «Изба немшона и невершона».

Юродивый давал этим знать, что Гамильтон за что-то арестовали и что виной в этом был какой-то пес Орелка, — конечно, Орлов.

Для юродивого ничто не было тайной. Это был

замечательный тип юродивых старого времени, людей, которые иногда шуткой, иногда иносказанием, иногда голой, грубой правдой бичевали сильных мира, владык светских и духовных, бросали жестким обличением в царей, и цари смирялись перед ними, как перед посланниками Божьими, как перед боговдохновенными пророками. Юродивый — это первичная форма сатиры. Таким юродивым был Фомушка, личность необыкновенно замечательная. Он действительно вел святую жизнь, и народ боготворил его. Петр не любил юродивых, преследовал все, что только напоминало ему древнюю Русь, и он бы давно взоткнул голову Фомушки на кол — «головушку на колышек», как выражался Фомушка, но Фомушка был не такого закала человек, чтоб отдать себя на съеденье так, в угоду царской прихоти. Правда, когда бы пришлось рассчитываться серьезно, то Фомушка скорее дал бы вытянуть из своего сухого тела все жилы, вырвать язык, изжарить себя на медленном огне, чем поступиться чем-либо своим. Это был закаленный пропагандист антипетровского содержания, которого острый язык словно скорпион язвил не только «новшества» Петра, его неумеренную строгость, но и государственную близорукость, какую-то однобокость царя, который ради многих затейных капризов далеко не выходивших из принципов государственной пользы, довел экономическое состояние государства до самозадушения. Мало того, ядовитая паробола Фомушки ставила иногда реформы Петра в таком свете, что ясно кидалось всем в глаза отсутствие в этих реформах умной подкладки.

— Есть у меня, — говорил однажды Фомушка, — сынок, Петруша-дурачек. Росла у него на дворе яблонька кудрявая. Давала эта яблонька каждый год яблочки, только поздно, не к Петрову-дню, а к Спасу. Дай, думает Петруша, заставлю яблоньку давать

мне яблочки к Петрову-дню, как он это видал за морем, в теплых краях, где яблочки созревают к Петрову-дню. Надо сделать, говорит, чтобы яблоньке в моем дворе было так же тепло, как за морем. Да возьми и сруби над яблонькой горенку с печкой! И ну ее топить и топить! Яблочки-то спеклись, а яблонька сгинула. И остался мой Петруша к своим имянинам и без яблочек, и без яблоньки.

И летом, и зимой Фомушка ходил босиком и без шапки. Длинные, седые, нечесанные волосы защищали его уши от морозу, но босые ноги его безбоязненно ступали по снегу и по льду, как ноги собаки. Он был сух как скелет, а лицо напоминало сушеную грушу. Лицо это освещала добрая, какая-то детская улыбка. Но что особенно замечательно было в его лице, так это глаза, маленькие и черненькие, они смотрели необыкновенно умно и необыкновенно добро, это были совсем молодые глаза, чистые, ясные и бодрые. Как он своими дерзкими выходками не обратил на себя внимания Петра и как эта ходячая, неустанная, популярная донельзя парадоксальность не попала на виселицу или в Рогервик, — это останется тайной, хотя нельзя не признать, что сохранностью своей жизни он много был обязан тому, что его боготворили и берегли женщины, начиная от простых баб и кончая придворными статс-дамами и фрейлинами. Кроме того, все недовольные общим ходом дела в государстве, — а таких было чуть ли не девяносто девять процентов, — стояли на стороне доктрин Фомушки. Он был вхож и к самым влиятельным лицам из духовенства, и ко двору, но, конечно, больше задними ходами, — через служек, мамушек и нянюшек. Из духовных сановников Фомушка особенно благоволил к Стефану Яворскому, но зато постоянно язвил Феофана Прокоповича и называл его «латынским волком». Постоянного житель-

ства Фомушки никто не знал, и на вопросы, где он живет, всем отвечал: «У Марьи Акимовны в щабрах, у Иван Захарыча на задах». Какие бы богатые подарки он ни получал, он все раздавал бедным, говоря: «Возьми, это твое, у тебя украли, а я перекрал». На все, что ни происходило в городе или при дворе, он отзывался какой-нибудь выходкой, злой насмешкой или дурачеством, так или иначе намекавшим на данное событие. Когда по Петербургу прошли слухи, что царевич Алексей Петрович умер в гарнизоне, и когда многие говорили, что «государь-де царевича запытал и в хомуте-де он умер за то, что он-де, царевич, богоискательный человек и не любил немецкой политики», Фомушка рассказал своим слушательницам притчу, что был-де Авраам и хотел-де принести своего сына Исаака в жертву Богу, хотел-де зарезать, так ангел-де удержал его руку, а вот-де ныне царь захотел принести своего сына в жертву черту, так черт-де сам подтолкнул цареву руку. А когда приведены были на место казни лица, замешанные в дело царевича, именно: Яков Игнатьев, Лопухин, Большой-Афонасьев и другие, Фомушка явился туда же, на Троицкую площадь, с куском говядины. Дни тогда были постные, стоял Филиппов пост. Когда осужденным отрубили головы и взоткнули на колья, Фомушка стал усердно завтракать своей говядиной на глазах у всех зрителей. Когда же его спросили, что он делает и почему в пост ест скоромное, юродивый отвечал: «Батюшка царь ноне человечинку кушает, а нам велел говядину есть». В другой раз, именно на Страстной неделе, когда Феофан Прокопович отправлял богослужение в Петропавловском соборе, Фомушка стоял на паперти и ел моченый горох. Такое греховное поведение святого человека всех благочестивых людей привело в ужас, и когда многие напоминали юродивому, что

есть до службы в Великую пятницу страшный грех, Фомушка сказал:

Сей грех
Вырос на небесах
И весь пост в воде мок,
Чтоб я его ясти возмог.
А Феофан делал не так —
Весь пост нюхал табак,
А ноне обедню читает,
А черт перед ним на скрыпочке играет.

Благочестивые толковали, что горох мок в воде весь пост — это значит, что Фомушка весь пост ничего не ел, а теперь и беса посрамил, и Феофана-табачника обличил.

Встреча с юродивым поразила Левина. Да и вообще для него выдалось такое утро, что могло перевернуть и менее впечатлительную натуру. Этот город, выросший точно из земли по мановению страшного волшебника, эти ужасные остатки человеческих тел на колесах, эти заиндевевшие на кольях головы, которые даже птиц пугают, этот странный человек, пляшущий босыми ногами по снегу, — все это ложилось на нервы раздражительно, подмывающе... Хотелось что-то сделать, выкрикнуть кому-то угрозу, померяться с кем-то силами... А с кем? — Вон с тем великаном, что по росту даже на человека не похож...!

— Так что ж с Гаментовой-то сталось, Фомушка? — допрашивал Варсонофий.

— Орелка — Орелка опакостил... Ой-ой-ой! Страшно на этом свете, страшно, батюшки!..

И юродивый, закрыв лицо, зарыдал как ребенок: «Ой-ой-ой! Ой, батюшки-светы! Батюшки!..»

ГЛАВА XIV.

Левин встречается с царем Петром I

Сама судьба по-видимому толкала Левина на неведомый ему самому подвиг. Одно, что он ясно сознавал в себе — это непреодолимое желание померяться с кем-то силами, да померяться с чем-либо большим, таким большим, больше и сильнее чего нет в мире. Образ этой силы уже рисовался ему осязательно, и хотя образу этому придавались земные очертания, но сила самая казалась неземною. Великан, которого он видел выходившим из двора, отчасти отвечал идеалу неведомой, страшной силы: нечеловеческий рост, нечеловеческие поступки, нечеловеческое сердце — да, это он, под ногами которого трещит земля и стонут люди, — он, который отнял у России покой, а у него самого то, что было ему дороже всего на свете...

— Когда Левин в то же утро после встречи с юродивым зашел к Варсонофию, этот последний рассказал ему, что знал, о смерти царевича. Потом прибавил:

— А об Афрасиньюшке сказывают, что ее задавили, когда все допросы с нее были посыманы. Когда-де, говорят, ей сказали, что ее отдадут замуж за простонародного человека, она, матушка, молвила: «После-це царевича никто при моем боку лежать не будет». Ее и задавили.

И помолчав немного, старик продолжал:

— О-охо-хо! Сдается мне, что я видел ее, голубушку. Раз это ночью, после кончины царевича, проходил я мимо гарнизона, вижу, у мостков стоит лодка, а из гарнизона неведомые люди несут что-то: мешок, не мешок, а что-то длинное. Я спрятался

и смотрю, что дальше будет. Вот это они положили мешок в лодку, что-то привязали к мешку — не то камень, не то ядро, и поплыли по Неве вверх к дворцу. Поравнявшись с дворцом, остановились. Слышу, от дворца свисток дали. Как свист-то раздался, вижу, в лодке поднимают мешок, да бултых его в воду! Только и было. Сотворил я крестное знамение и, крадучись, пробрался домой. С той поры об ней, голубушке, ни слуху, ни духу. Только Фомушка после болтал: «Девушка-де рыбку ела, а рыбка-де девушку съела».

Оба молчали. Видно, что все слышанное и виденное Левиным пробуждало в нем давно дремавшую энергию, энергию борьбы, подвига.

— Так как ты думаешь, дедушка, о моем деле? — спросил он.

— Вот что я тебе скажу, сын мой, — медленно отвечал старик. — Я знавал твоего родителя, хлеб-соль его тоже знавывал, и тебе худа не пожелаю. Допреж того чем тебе идти прямо к самому Меншикову, хоть у тебя и письмо к нему есть от Трубецкого, повидайся ты с Никифором, с Лебедкой, с иереем. Отец Никифор состоит духовным отцом у самого князя Меншикова. Человек он не из нонешних, человек богоискательный, искал Бога — и обрел. Он тебе все расскажет, что делать, и к князю сведет.

Нетерпение подмывало Левина. Он чувствовал, как в нем прибывает силы, как крепнут его руки, которые, казалось ему, в состоянии были бы землю пошатнуть, море выплеснуть как ковш воды, до неба. Ему хотелось тотчас же схватиться с кем-то.

Узнав, где найти Лебедку, он немедленно отправился к нему. Имя Варсонофия так было известно в доме Лебедки, что Левина тотчас же впустили в комнаты. Его встретила небольшая живенькая девочка, в личике которой и во всей фигурке было

что-то необыкновенно живое, подвижное, ртутное. Курносенький профиль и голубые глазки выражали самую чистую доверчивость. К людям она, как видно, привыкла.

Левин залюбовался девочкой. Она напомнила ему что-то такое светлое и чистое.

— Ты от дедушки Варсонофия? — защебетала девочка, бойко смотря в горевшие внутренним огнем глаза Левина.

— Да, от него, милая.

— Для чего ж он сам не пришел?

— Не знаю. Верно, недосуг.

Девочка повертелась, взяла на руки кошку, которая терлась у ее ног, и снова заболтала:

— Батя у светлейшего. Он скоро придет. Хочешь Маша, молочка? — обратилась она к кошке. — Теперь не пост... Ах, дедушка Варсонофий! Зачем он не пришел? Я его ух как крепко люблю. А он тебе сказывал про Киев? — подскочила она к Левину.

— Сказывал.

— Ах, как я люблю слушать про Киев, про пещеры, про Бар-град, где мощи Николая Чудотворца. А ты был в Киеве?

— Бывал, милая.

— И мощи видел, и Ивана многострадального, что в землю уходит?

— Видал.

— Ах, как страшно! Сказывают, скоро весь войдет в землю, тогда конец свету.

Левин слушал это детское щебетанье, и у него на сердце становилось легче.

— Когда я вырасту большая, — продолжала девочка таинственно, — я пойду в Киев, в Бар-град, на гору Афон, в Ерусалим-град. Все-все посмотрю, приложусь ко всем мощам, и Ивана многострадального увижу, погляжу, сколько ему остается уходить в зем-

лю. А в Ерусалиме-граде Гробу Господню поклонюсь... А потом, знаешь что сделаю? — спросила она еще более таинственно.

— Не знаю, милая, — отвечал Левин, улыбаясь.

— Во пустыню прекрасную уйду...

И девочка приложила пальчик к губам. Левину стало больно. Сердце разом заныло, заныло...

— Ах, как хорошо в пустыне! — продолжала девочка, няньчась с кошкой. — Цветики алые цветут, птички райские поют, старцы и старицы Бога хвалят...

Девочка все это болтала с чужих слов, мечтая об ужасной пустыне, когда в самой ключем била жизнь, да не скитская, а реальная, с ее реальным счастьем и реальным страданьем.

— А мама в кухне. У нее руки запачканы.

Заглянув в окно, девочка закричала: «Батя идет! Батя идет!» — и бросилась встречать отца.

Через несколько секунд в комнату вошел мужчина уже не молодых лет в священнической одежде. Он ласково поздоровался с Левиным, который подошел к нему под благословение и поцеловал руку.

— Пришел я к тебе, отец Никифор, от старца Варсонофия за советом. Я капитан конного гренадерского полка Василий, Савин сын, Левин. Приехал я сюда с письмом к светлейшему князю Александр Данилычу от командира моего, князя Иван Юрьича Трубецкого, для освидетельствования меня в Военной коллегии. По болезненному состоянию моему и по истовой вере желание имею постричься в монахи.

— Что ж, дело хорошее, Богу угодное.

— Так Варсонофий, по старому хлебосольству с родителем моим, прислал меня к тебе, дабы ты замолвил за меня слово у светлейшего.

— Душевно рад, душевно рад. В какую же ты обитель хочешь?

— В Соловецкую святую обитель хотел бы.

— Так, так. И сам я о том же давно думаю. Как только выдам замуж девочку, то, покинув и попадью, уйду в монастырь.

Девочка, возившаяся с кошкой, услыхав последние слова отца, подбежала к нему и заговорила:

— Нет, батя, я замуж не хочу, я в пустыню хочу.

— Вот тебе на! Ах ты, дурочка. Подожди еще, рано в пустыню.

— Нет, не рано, батя. А тебя я в монастырь не пущу, маме скажу.

— Ладно. Сбегай к маме, пускай нам закуску даст, а там и в пустыню пойдем.

Девочка побежала.

— Какой милый ребенок, — заметил Левин.

— Да, коли б не она, давно бы я в монастыре жил, — сказал Лебедка. — Нынче на миру житье опасно — душу погубишь.

— И я то же думаю, отец Никифор, и вот за тем-то к тебе и пришел. Я и прежде хотел смириться, на смирение пойти, а как старец Варсонофий порассказал мне, что здесь делается, так и на свет бы этот погибельный не глядел.

— Воистину так — один грех. Недаром говорится: у Бога темьян, у черта — со смолою казнь. Ты, Василий Савич, хотя и мирской человек, а благую часть избираешь: могий вместити, да вместит.

— Я уж так и решил, другой дороги мне нет, — сказал Левин задумчиво.

— Ты, значит, женат не был? — спросил Лебедка.

— Не привел Бог.

— Что так?

— Царю не угодно было. Он указал другого жениха моей невесте, денщика своего, Ивана Орлова.

— А! знаю... ловкий парень... да и на ушке висит у царя словно усерязь... Токмо он, я знаю, не женат

и обольстил лестию одну девку дворцовую, Марью Гаментову. Теперь девку приговорили к смертной казни, за то якобы, что ребенка, прижитого от этого Орлова, стыда ради удавила. Ее-то под плаху подвел этот Орлов, а сам из воды сух вышел.

— Знатного же женишка нашли моей невесте! — сказал Левин с волнением.

— Что ж она?

— В монастырь ушла.

— Ну, значит, и тебе дорожку указала, иди, не сворачивай.

— Я и то иду. Да только как мне к князю дойти?

— А со мной. Кстати же он приказал принести ему книгу Феофана Прокоповича «О мученичестве»[21], так мы не медля и пойдем.

Взяв сочинение Феофана «О мученичестве», — сочинение, написанное в защиту брадобрития и немецкого платья, Лебедка повел Левина к Меншикову.

Пройдя прямо к князю и доложив о Левине, Лебедка возвратился домой, наказав Левину зайти к нему непременно после аудиенции.

Скоро Левина потребовали в кабинет князя. Когда он вошел, то очутился в таком положении: посредине большой комнаты стоял стол, заваленный бумагами, у стола стояло деревянное с прямой спинкой кресло, а в нем сидел Меншиков спиной к вошедшему, виднелся только княжеский затылок. Меншиков не встал и не оборотился при входе Левина. Последний почувствовал себя очень неловко. Но его спасло зеркало, висевшее против стола. Увидав в этом зеркале лицо князя, Левин поклонился.

— Ты Левин? — спросил князь.

— Я, ваша светлость.

— Из дворян?

— Из дворян Пензенского уезда, ваша светлость.

— Князь Трубецкой доносит, что ты недужен. Каким недугом одержим ты?

— Падучею, ваша светлость.

— А давно это с тобою?

— Седьмой год, ваша светлость.

— А на царской службе давно ли?

— Восемнадцать лет, ваша светлость.

— В каких баталиях был?

— Под Нарвой, при Лесном и под Полтавой.

— А! Лесное помнишь, где мы знатную викторию одержали над Левен-Гоуптом?

— Помню, ваша светлость.

— А меня видел там?

— Видел, ваша светлость... на белом коне ночью... — Лицо Меншикова просияло.

— Ранен? — спросил он.

— Никак нет, ваша светлость.

— А в прутском походе был?

— Не был, ваша светлость. Я сопровождал государя царевича в Киев.

— А!..

Вдруг сзади Левина отворилась дверь, и в зеркале отразилась фигура великана. Левин повернулся как ужаленный и посторонился. Меншиков вскочил.

— Здравствуй, Данилыч! — сказал великан.

— Здравия желаю, ваше императорское величество, — приветствовал Меншиков.

— А ты кто? — совершенно неожиданно обратился царь к Левину.

— Вашего императорского величества гренадерского конного Гаврилы Кропотова полка капитан Левин.

— Зачем прибыл?

— Для освидетельствования в болезни, государь.

— А службу где начал?

— Под Нарвой, ваше императорское величество. Лицо великана нервно задергалось.

— А под Полтавой был?

— Был, государь.

— Теперь в деревню захотел.

— В монастырь, ваше величество.

— А! в дармоеды записаться... бороду растить... О! Бородачи! Бородачи! Доберусь я до вас...

Лицо его было страшно. Оно автоматически дергалось. Глаза горели.

— Чем ты болен?

— Падучей, государь.

— Вели свидетельствовать его наистрожае, — обратился царь к Меншикову.

Тот поклонился.

— Ступай, — сказал царь Левину.

Левин вышел как ошпаренный. Возвратясь к Лебедке под самым тяжелым впечатлением, он застал там старца Варсонофия, что-то объяснявшего первому.

— Ну что? — спросили оба.

— Был, — отвечал Левин.

— Что ж он сказал?

— Ничего. Царь помешал.

— Так у него царь?

— При мне пришел.

— Говорил с тобой?

— Говорил. Сердитый такой. Как узнал, что в монастырь прошусь, в неистовство пришел. «В дармоеды, говорит, записаться хочешь, бороду растить. Я, говорит, доберусь до вас, бородачи».

— Бабушка надвое сказала, — спокойно заметил Варсонофий.

— Так, так, — улыбаясь сказал Лебедка, — кабы у бабушки бородушка, была б дедушкой... Что ж, велел свидетельствовать?

— Велел наистрожае.

— Ничего. На то сито, чтоб чище сеяло.

Разговор перешел на тягости времени.

— Последние времена, последние времена, — повторял Варсонофий.

— И я тако ж слыхал, — сказал Лебедка. — Одиннадцать лет тому назад был я в Новегороде. Повстречался я там на базаре с своим бывшим духовным сыном, с новогородским с посадским человеком, с Гаврилою Нечаевым. Был этот Гаврила в брынских лесах у святых отшельников. Прожил он там не мало время. Так этот Гаврила сказывал, что антихрист уже прииде на землю и в книгах-де это написано.

— Знаю я эти книги, — заметил Варсонофий. — Списаны оне рукою книгописца Григория Талицкого, приявшего от царя лютую казнь лет восемнадцать тому назад. Писаны книги те с древних рукописаний, и наименование им таково: первая книга – «О пришествии в мир антихриста и о летех от создания мира до скончания света», другая книга именуется «Врата»[22]. По сим книгам подлинно выходит, что осьмой царь — антихрист и есть Петр, похитивший имя царя.

— Воистину антихрист, — подтверждал Лебедка. — Он и сына своего не пощадил, бил его, и царевич не просто умер: знамо, что он его убил, понеже царевич в гарнизоне содержался и пытан был. А царевич был добрый человек, он и мне добро делывал: когда мы были за морем в Померании, царевич берег меня.

— И я слыхал, что он подлинной антихрист, — заметил Левин. — В 716 году, когда мы стояли в Харькове, летом к дому моему подъехали три монаха, неведомо какие, все трое образом равны и говорят по-русски, только на греческую речь походит. Остановились они против моей квартиры и стали ко мне проситься. Я с великою радостию принял их. Они дали мне винных ягод и изюму, а я просил их обедать со мною. Разговорились. «Откуда, спраши-

ваю, едете и куда?» — «Из Ерусалима, говорят, от Гроба Господня в Санктпетербург, смотреть антихриста». — «Какой там антихрист?» — спрашиваю. — «Которого вы называете царь Петр Алексеевич — тот и антихрист. Прибудет он в столицу и не долго-де там будет, отъедет в Казань, и в те-де времена уже покою не будет...» Монахи эти и крестом с мощами благословили меня, тут он — на мне.

— Все сбывается по Писанию, — добавил Лебедка, — у нас все это говорят.

— Да и в Малороссии мне сказывали, — пояснил Левин, — что царь — не прямой царь, а антихрист, приводил-де, говорят, царевича в свое состояние, и он-де его не послушал, и за то-де его и убил.

— Недаром знамения на небеси и на земли, — подтвердил Варсонофий.

— Правда. И я таковое знамение видел в 718 году маия 6 дня, — сказал Левин. — У меня и в святцах записано тако: явление было на небеси в полдень, солнце было в кругу великом темном три часа.

— Это — к смерти царевича, — сказал Варсонофий. — Я помню это. Тогда, в конце апреля, привезли Афросиньюшку из Неаполя, потом пытали ее, а к Петрову дню царевича и ее, голубушки, не стало.

Разговор был прерван девочкой, дочерью Лебедки, которая вбежала в комнату и бросилась к Варсонофию.

— Ах, дедушка! — лепетала она. — Меня батя хочет отдать замуж.

— Что ж, пора, — отвечал улыбаясь старик и любовно гладя ребенка.

— Нет, дедушка, не пора, я не хочу.

— А чего ж ты хочешь?

— Я в пустыню хочу.

— Вот как! Раненько.

— Я не теперь, дедушка, а через год, когда буду большая.

— Ну, тогда как раз впору.

— Да еще в Киев хочу, в пещеры, в Бар-град, в Ерусалим.

Пока девочка болтала, Лебедка увидел кого-то в окно, сказал:

— Зачем это нелегкая несет Орлова, денщика царского? Претит он мне.

— Не орел, а ворон, — вставил Варсонофий, — на падаль каркает.

Левин побледнел. Он вспомнил Киев, Оксану... «Так вот кто отнял мою Оксану... и не для себя, а чтоб живую в гроб уложить... Упыри кругом, упыри, кровопийцы, скорей бы подальше от них», — пробегало у него по мозгу и по сердцу.

Вошел Орлов и, не поклонившись никому, сказал, обращаясь к Лебедке:

— Отец Никифор! Царь государь Петр Алексеевич и светлейший князь приказали тебе завтра же прислать к князю гренадерского конного полку капитана Левина. Слышал?

— Слышал и исполню волю цареву и приказ светлейшего.

Орлов ушел. Девочка стояла, раскрыв свои большие голубые глазки. Левин угрюмо молчал.

— Ворон — ворон — ворон, — глухо говорил Варсонофий, — на свою голову каркай.

ГЛАВА XV

Левин в крепости. Казнь фрейлины Гамильтон.

Когда на другой день Левин явился к Меншикову, там уже ожидал его сержант с письменным приказом к коменданту крепости Бахмиотову. Коменданту предписывалось поместить Левина в лазарет и подвергнуть наистрожайшему медицинскому освидетельствованию.

Левина повели в крепость. Хотя он сам добивался освидетельствования, но после суровых слов царя ему представлялась впереди картина пыток... «Что ж, хомут — так хомут — шевелилось в его возбужденных нервах. — Коли выдержу дыбу, так выдержу и все. На то пошел».

В крепость приходилось идти мимо того места, где стояли страшные колья с торчавшими на них мертвыми головами. Стаи ворон кружились над площадью, нахально перекликаясь, но боясь опуститься на остатки человеческих трупов, недоклеванных ими. Народ проходил мимо, взглядывая на колья пристальнее, чем он глядел на фонарные столбы и на деревья: есть явления, к которым человек не может привыкнуть, хотя бы они повторялись каждый день, каждый час.

День был теплее предыдущего. Солнце ярко смотрело из-за Невы, откуда-то издалека, словно бы оно поднялось там где-то, над Киевом, и с изумлением глядело на эти головы, отделенные от тел. А головы, торча на кольях, казались гордо поднятыми над землей, гордо и торжественно, и Левину сдавалось, что они, обратившись на все четыре стороны, кричали востоку, северу, западу и югу: «Смотрите! Смотрите на нас! Видите, что делают люди с людьми! Звери

того не делают с зверями, змеи и скорпии добрее человека».

— Съест, съест меня, — пробормотал все время до того молчавший Левин.

Сержант с удивлением посмотрел на него.

— Он когтями задушит меня... съест, — снова бормотал он, хватаясь за кафтан сержанта.

— Что с тобой, ваша милость? — спросил изумленный сержант, освобождая полу кафтана.

— Он меня съест... не давай ему...

— Кто съест?

— Он... кот... кот меня съест...

Сержант рассмеялся.

— Да разве ваша милость мышь? — спросил он.

— Мышь... меня в мышеловку хотят посадить... не давай меня.

Он говорил это торопливо, шепотом, оглядываясь испуганно по сторонам. Глаза дико блуждали. Сержант понял, что человек не в своем уме.

— Пойдем-пойдем, я не дам тебя коту.

Через крепостные ворота они прямо пришли к комендантской избе. Их впустили в приемную, доложили коменданту, передав в собственные руки пакет с надписью: имянной.

Бахмиотов немедленно вышел с распечатанным пакетом в руке. Это был полный, круглолицый и круглоглазый мужчина, действительно напоминавший откормленного кота, но только без усов и с бритою мордой. Уши торчали прямо, по-кошачьи, как это часто можно видеть на татарских типах. Уши эти, по-видимому, были постоянно настороже, прислушиваясь к всякому шороху в крепости.

— Где больной? — спросил Бахмиотов как на перекличке.

— Здесь, — отвечал сержант, выдвигая вперед Левина.

Комендант подошел ближе.

— Мясо все вышло... не надо больше мяса, — заговорил Левин, дико озираясь.

— Какое мясо? — спросил с удивлением комендант, глядя на Левина.

— Человечье мясо... вороны поели... одни кости там... не давайте им моего мяса, — бормотал тот.

— А!.. — сказал как бы про себя комендант и, обращаясь к стоявшему сзади его писарю, прибавил. — Отведи его в лазарет, по именному указу, для наистрожайшего испытания.

Левина повели в лазарет.

Увидев на крепостной стене каркающую ворону, Левин закричал:

— А! Ты на меня каркаешь, моего мяса хочешь, сердце мое клевать будешь... А у меня нет сердца — его в Киеве вырезали и бросили собакам... Орелка съел мое сердце... Не каркай проклятая! Кш-киш! Киш! Аминь-аминь, рассыпися!..

В лазарете его сдали дежурному врачу с пояснением, что по именному указу больной должен быть испытан наистрожае, что он — капитан Левин, лично известный царю.

— Не пускайте сюда ворону, она каркает на мое мясо, на мою голову, на мое сердце... А мое сердце Орелка съел... Там еще есть мясо, на кольях... Пускай его ест ворона, — бормотал больной.

Доктор, старый немец, нижняя губа которого, сильно отвисшая, как бы говорила, что она устала, что ей надоело служить беззубому рту и хочется на покой, в могилу, — доктор равнодушно, спокойно и внимательно слушал бессмысленную болтовню больного, словно бы это была умная, серьезная речь, и сквозь круглые, огромные как стекло райка очки добродушно заглядывал в глаза Левина, горевшие лихорадочным огнем и дико блуждавшие.

— Господин капитан! — сказал он серьезно. — Мы ворон в лазарет не пускаем.

— Она сама влетит...

— Не влетит, господин капитан. Я отдал приказ не пускать сюда ворон.

Левин как будто успокоился.

— Чем ты нездоров, господин капитан? — спросил доктор.

— У меня падучая.

— Давно?

— С 712 года... Я не ел мяса... А потом стал есть мясо, как ворона, и хотел жениться, а Орелка взял и съел мою невесту и мое сердце.

— Какой Орелка? — серьезно спросил немец.

— Собака... Она здесь...

— Где?

— У царя.

Немец задумался. В продолжение долголетней службы в России ему приходилось иметь дело со всевозможными больными, с сумасшедшими, идиотами, безумными и бешеными. В то время, когда Петр требовал службы от каждого дворянина, а «дуракам» и «дурам» запрещено было даже жениться и выходить замуж, происходили почти поголовные свидетельства, особенно тех, которые, отбиваясь от службы, притворялись больными, сумасшедшими и дураками. Доктора, поэтому, должны были порядочно набить руку на практике освидетельствования.

Левин показался доктору загадочным экземпляром. Вся внешность говорила, что это действительно больной человек: худ, бледен, с вялыми мышцами, с глубоко запавшими глазами. Но до такого состояния можно довести себя и искусственно. Можно притвориться и безумным, говорить всякий вздор... Но нет, глаза Левина говорили что-то другое, в них горело или безумие, или страсть, или фанатизм, одно-

предметное помешательство. Такого выражения нельзя дать глазам по своей воле, такого выражения сочинить нельзя... Нет, внутри этого человека сидит что-то особенное. Такое выражение доктор заметил у духовника царевича, у протопопа Якова, когда ему объявлена была смертная казнь.

Доктор решил наблюдать за больным, испытывать его в продолжение известного времени.

Левина оставили в лазарете. Каждый день доктор справлялся о его здоровье. Больной был покоен и только иногда заговаривался: опять являлись вороны, клевавшие человеческое мясо, собака, съевшая его сердце, кот, намеревающийся броситься на него, на мышь... Иногда больного навещал поп Лебедка, который по просьбе Левина и принес ему его святцы. В этих святцах, которые служили ему памятной книжкой, Левин записывал иногда события всей жизни и свои мысли.

Время шло, а доктор все не мог понять болезни своего пациента. Все казалось ему странным в его поведении, и невольно являлось подозрение, что Левин притворяется. Тогда врач решился прибегнуть к сильному средству — к испытанию больного огнем... В то ужасное время, когда кнут заменял предварительное судебное дознание, застенок — следствие, а дыбы — допрос, медицина, для распознания болезни, прибегала тоже к пыткам — такова была диагноза петровского времени! Левину прописано было тогдашнее модное лекарство, своего рода хинин, или Kali bromatum — именно огонь.

— Что это такое, господин капитан? — спросил однажды доктор, увидав, что больной писал что-то в своем дневнике левой рукой.

— Рука правая отнялась, — отвечал Левин.

Немец осмотрел руку. Она как-то странно болталась.

— Гм! Так мы пропишем ей — огонь... kali ignis — раскаленное железо, — сказал немец серьезно, хотя, видимо, был доволен своим каламбуром.

— На том свете и тебе будут жечь железом правую руку, — возразил спокойно Левин.

— За что меня будут жечь? — спросил немец.

— За то что ты не крестишься.

— О! Das ist Dummheit* — это ваши русские забобоны. На том свете железа и никаких металлов нет, — серьезно заметил немец.

Когда через несколько дней доктор явился с инструментом и с жаровней и стал накаливать железо, желая приступить к операции жжения больного, Левин хотел было уйти, но бывшие при этом фельдшера и сторожа схватили его и стали силой удерживать на койке.

Левин, вырываясь из рук сторожей, неистово кричал:

— Антихрист! Антихрист! Антихрист!.. Пустите меня! Я не хочу в его веру!

Его повалили на койку и держали за руки и за ноги. Он бился головой об койку и продолжал кричать, страшно ворочая глазами:

— Антихрист!.. Да воскреснет Бог... Аминь, аминь, рассыпися...

Когда железо было накалено добела, доктор подошел к больному и поднес свое страшное лекарство к самому лицу его. Увидев это, Левин весь задрожал и застонал.

— Печать антихриста... Ой-ой! Клеймить хотят... Я не верую в него... я в Христа верую... ой-ой!

Немец не обращал внимания на крики. Как истый гелертер[23], он с удовольствием приступал к интерес-

* О! Это глупость *(нем.)*

ному ученому опыту. Нижняя губа его совсем отвалилась и сладострастно дрожала.

— Держите руку. Дайте сюда эту руку, выше подымите, — говорил он.

— О! дьявол!.. Немец проклятый... антихристов слуга... Ой! Ой!

— Нет, немец не проклятый! Немец честный человек.

И честный человек приложил раскаленное железо к руке больного.

— Ай! Клеймо... антихрист...

Левин перестал кричать. Он лишился чувств.

— Это хорошо. Опыт удался, рука чувствует. Sehr gut*, — бормотал немец.

Но и после этого опыта, когда Левин пришел в себя, доктор не мог понять сущности его болезни. В век железных нервов, когда с подсудимыми разговаривали посредством кнута и дыбы, когда больных свидетельствовали посредством раскаленного железа и когда люди, посаженные на колья, в состоянии были плевать в глаза своим мучителям, — о нервных болезнях не имели понятия ни врачи, ни пациенты: при Петре у людей нервов не должно было существовать, нервы были запрещены. Понятны были только осязательная форма болезни: прошибленная до мозга голова, распоротый живот, переломленная нога, отрубленная рука и т. п. — это ясно, что болезнь, что не подходило под эти формы, то шло в категорию болезней от порчи, от глаза, от нечистого...

У Левина, к сожалению, оказался запрещенный товар, у него были нервы. И вот Левин пошел за порченого, за сумасшедшего, за бесноватого. Он сам почти так о себе думал. Нервные припадки он считал падучею, и думал, что этою болезнью его наказал

* Очень хорошо *(нем.)*

Бог за то, что он «ел мясо и хотел жениться». Действительно, припадки эти обнаружились в нем после страшной нравственной встряски, когда он узнал, что любимая им девушка погибла для него, что его чернокосая Оксана похоронила себя заживо в монастырском склепе. С той поры жизнь его была разбита, нервы пошли вразброд, он не понимал сам, что с ним делается, этого не понимал никто... Жизнь для него стала нескончаемой мукой. Эта мука на него наслана свыше, как небесная кара. И вот несчастный пишет в своем дневнике: «Когда был в полку в 1712 году, не ел мяса, а потом стал было есть и хотел жениться, а за то падучею болезнью жестоко наказан». Дневник этот сохранился доныне в одном из наших государственных архивов...

В конце концов Левин пошел за падучего, но все еще оставался в лазарете на испытании.

После огненной пытки, усталый, разбитый, с нервами, доведенными до бешеного состояния, лежит он день, лежит другой, лежит третий... Мертвая тишина кругом... Загубленная жизнь переживается вновь, чувствуется ее гибель всею суммою пережитых страданий... А возврата нет и конца нет... Когда же конец? Конец, проклятый, мрачный конец, когда начала не было! Нет, не надо конца!..

«Матушка! Матушка родимая! Где ты? Где твои глазыньки добрые, где твои речи ласковые, где твои рученьки угодливые? На то ли ты вскормила меня, на то ли меня вспоила, чтобы отдать на руки горю горючему, чтобы долюшку мою развеяли ветры буйные? Матушка! Матушка!..»

«Сторона моя родимая! Сторонушка милая! Где ты? Снегами тебя поприсыпало, туманами позадернуло, далью далекою ты от меня отгорожена... Не ходить по тебе ноженькам моим усталым, не видать тебя очам моим, очушкам слезныим...»

«Дитя мое, дитятко загубленное, девинька моя несуженая! На то ли я тебя у смерти отнял, на то ли ты глазыньки свои открывала ясные, чтобы ризою мертвою их позавесили?»

«Ах ты, жизнь моя, жизнь постылая! В трехпогибельную ночушку тебя матушка породила, трехпогибельными пеленушками вспеленывала, в трехпогибельной воде тебя поп Матвей крестил, в полынь-горькой траве тебя купывали, в полынь горькой травушке купаючи, приговаривали: «Расти ты, дитятко, несчастливое, несчастливое, неудачливое, хлебай ты горе-горюшко нерасхлебное, до темной могилушки иди — не оглядывайся...»

Все это как-то само собой ноется-плачется в изболевших нервах, выстонывается всем телом...

А за окнами, за крепостною стеною творится что-то необыкновенное. Слышится гул какой-то, словно прибой волн, и из гула выделяются глухие голоса человеческие и воронье карканье. Что-то опять не в меру раскаркались вороны...

Левин прислушивается к этому гулу, но слух его не может уловить ничего определенного. Слышно только в соседней камере сторожа разговаривают о чем-то.

— Народу там навалило видимо-невидимо, — говорит один голос.

— Вестимо, всякому хочется взглянуть, как это голова с плеч скатится, — говорил другой голос.

— Эка невидаль! Мало что ль видывали этих голов? Вон и до сей поры торчат головы недоеденные, смотри, сколько хочешь... У нашего батюшки-царя эти забавочки частеньки... Казнями этими он так привадил к гарнизону ворон, что отбою им нет... Кажинный тебе день ждут-каркают: вот-вот нового мясца человечьего, свежинки, поклевать придется.

— Оно так, а все, братец, всякому с охотки-то

поглядеть экую красавицу. Я видел, как ее привезли сюда к нам в гарнизон на казенные хлебы: красавица, братец ты мой, такая, что ни в сказке сказать, ни пером написать.

— А молода?

— Молодехонька, — дитё сущее.

«Еще кого-то казнить хотят, — думает Левин, прислушиваясь к говору сторожей. — Господи! Когда ж конец этому?»

И действительно, перед крепостью на площади против Троицы — словно всенародное торжество. Народ навалил со всего Петербурга — барабаном сзывали, да оно и занятно посмотреть, как боярышне головку отрубят... Точно масляница на площади... Столбы с торчащими головами, колеса... А тут новый высокий эшафот с перилами... Торжество знатное... Да, это всенародное торжество, торжество правосудия... Ох, уж это правосудие! Без него бы — беда!

— Царь едет! Царь едет! — раздались голоса в народе — и площадь заволновалась.

Солдаты, сплошною цепью окружавшие эшафот, сделали на караул. Палачи с блестящими широкими топорами, до того времени спокойно разглаживавшие бороды, ходя по эшафоту как актеры, сняли свои меховые шапки и приготовились к приему гостей. Вся толпа также сняла шапки. Но все молчало, словно вымерло, только карканье ворон стало еще отчетливее, назойливее, нахальнее.

— Везут! Везут! — пробежал по народу шепот, но такой шепот, от которого многие вздрогнули.

Из крепостных ворот показалась черная телега. По бокам ее идут солдаты с ружьями. На телеге, на возвышении, словно на троне, что-то белеется, отливая серебристым блеском. Виднеются две человеческие фигуры, которые при движении телеги качаются

из стороны в сторону, но лиц не видать. Они посажены задом к передку... Страшная, потрясающая душу предусмотрительность! Пусть глаза несчастных жертв человеческого правосудия не видят, что ожидает их впереди. Впереди для них уже ничего не осталось: весь путь их жизни сократился до нескольких сажен, эти несколько сажен отделяют их от эшафота, от топора, от могилы, от вечности... Вот что у них впереди! А позади — целая жизнь. Хоть и не длинна была эта жизнь, но есть на что оглянуться, что вспомнить, о чем поплакать в душе в последний раз...

— Кого казнить-то будут, матушка?

— Боярышню, мать моя, дворскую девку, Марью Гаментову.

— А за что казнят?

— Ребенка, сказывают, удушила.

— Ох, владычица!

— Спозналась эта девка с денщиком царским и забрюхатела от ево, пса, да со стыда девичьего и со страху младенца-то и стеряла.

— Ах, она, моя сердешная! Почто ж она замуж за своего сгубщика не вышла?

— Царь, слышь, не велел...

И она шепнула своей соседке что-то на ухо...

— Ох, владычица! Грехи-то какие! А с ним-то, с погубителем ейным, что сделали?

— Что ему, псу! Целехонек. Еще не одну такую горемычную сгубит...

— А-а-хти-хти! Горе наше женское...

Но вот телега поворачивается у эшафота. Бледное, прекрасное личико преступницы ярко выделяется над черным сиденьем. В руке ее горит большая восковая свечка. Бледно мерцает ее свет. Скоро, скоро она потухнет, как и жизнь той, которая ее держит левою дрожащею рукою, а правою

крестится, сама себя отпевает, сама по себе отходную читает...

Словно вздох пронесся над онемевшею толпою, вздох сдержанный, но могучий...

— Ох, мати Божия! Владычица! — слышатся сдержанные восклицанья. — Да какая ж она красоточка! Ох, голубушка бедная, — плачутся сердобольные бабы.

А она — ни на кого не смотрит, она заглядывает в свою могилу и в свое прошлое...

Перед нею родимый тихий Дон расстилается... Из-под горы заунывная песня доносится.

Совыканье-то наше было тайное,
Расставанье-то наше вышло явное...

Встают детские воспоминанья, детские грезы... Стонет дятел: «Ох, головушка болит...» В густой зелени верб высвистывает иволга... Слышится незабываемый голос матери: «Марьюшка моя, дитятко милое...» И режет сердце другой голос: «Вырастешь ты холеная-доленая, золотом золоченая, в царских палатах неженая...»

А на эшафоте уже вырисовывается гигантская фигура Петра. Лицо его задумчиво, но нервные подергиванья не оставляют ни на минуту этого энергического лица. Палачи стушевываются перед этою колоссальною фигурою.

Преступница сходит с телеги, поддерживаемая приставником и своею мамушкою. У последней по лицу текут слезы... В толпе слышатся сдержанные хныканья...

— Матушка! Заступница!

Свеча тухнет в дрожащей руке осужденной... Конец — погасла!

Девушка сама входит на эшафот, шатаясь и путаясь в платье... Шубка сваливается с плеч. Она всхо-

дит на помост эшафота в одном шелковом белом платье с черными лентами, такая нежная, хрупкая, поблеклая, но прекрасная...

— Здравствуй, Марья! Я пришел проститься с тобой, — говорит царь громко, отчетливо, резко.

Девушка падает к его ногам. Петр поднимает ее.

— Царь-государь! Прости, помилуй! — отчаянно молит несчастная.

Толпа как будто замерла, перестала дышать...

— Без нарушения божественных и государственных законов не могу я спасти тебя от смерти...

Голос царя звучал как что-то металлическое, но надтреснувшее. От этого голоса толпа вздрогнула.

— Прими казнь и верь, что Бог простит тебя в грехах твоих, — помолись только ему с раскаянием и верою...

— Помилуй! помилуй!

— Рука палача не коснется тебя... Прощай, Марьюшка! — Царь поцеловал ее.

Она упала на колени и стала молиться. «Рука палача не коснется... Матушка! Матушка! Не ты ли замолила за меня...»

Царь что-то шепнул палачу...

«Помиловал! помиловал!» — затеплилось у всех в душе...

Царь отвернулся от наклоненной молящейся головки и прекрасной согбенной шеи... Что-то блеснуло в воздухе, это топор... Что-то визгнуло и что-то стукнуло об помост — то была отрубленная голова... Палач не коснулся тела красавицы, коснулось только холодное железо...

Крик ужаса замер в воздухе, заледенел...

Царь нагнулся, поднял за волосы мертвую голову, медленно и пристально вгляделся в ее черты, все еще прекрасные, как бы стараясь запомнить их, и снова поцеловал покойницу. Потом, обратившись

к тем, которые стояли ближе к эшафоту, и показывая пальцем на мертвую голову, сказал:

— Вот сии жилы именуются венами, и в них течет кровь венная, а сии — артерии, и в них течет кровь артериальная, которая нарочито от первой разнствует... Здесь — шейные мускулы, сиречь мышицы, тако именуемые того ради, что оные сжимаются и разжимаются, аки малая мышка — мышонок...

И он снова, в третий раз, поцеловал мертвую головку.

Затем, передавая голову доктору Блюментросту, который приблизился к эшафоту, сказал:

— Возьми сию голову и, сочинив подобающий спирт, положи ее в оный для сохранения в нашей кунштkaморе вместе с прочими раритетами на вечные времена в назидание нашим подданным и их потомству: да ведают все, яко в нашем царстве порок всегда наказывается, добродетель же торжествует.

И он величественно удалился.

В толпе — хоть бы звук. Слишком уж подавляющим чем-то легло на массу такое хладнокровие царя и его правосудие... Все ждали чего-то другого... У всех что-то оторвалось от сердца, точно что украли у каждого из души, из ее теплого тайника, и стало всем холодно и как-то пусто кругом... Человеком стало меньше!..

Вдруг из-под эшафота, из-за досок, которыми он был обшит с трех сторон, выскакивает растрепанная, с всклокоченными седыми волосами, оборванная и босая человеческая фигура... С нею вместе выскочила большая белая собака, вся обрызганная кровью...

В толпе раздался крик испуга, крик ужаса...

— Пойдем, Орелка, пойдем, пес смердящий, ты теперь налакался невинной кровушки... Тебя бы на-

до повесить, да я милостив: блажен, иже и скоты милует...

Толпа узнала своего любимца.

— Фомушка святой! Фомушка!

Но Фомушка и его собака исчезли, словно в воду канули...

ГЛАВА XVI

Катанье по Неве.

Снова над Петербургом глазастая, белобрысая летняя ночь: ни ночь, ни день, ни заря, ни сумерки, что-то неопределенное, как-будто незаконченное, тревожащее непривычного человека, расстроивающее нервы, насылающее бессонницу. Так и кажется, что солнце вот-вот выглянет из-за горизонта, но не там, где ему Бог положил выглядывать, а не в указанном месте, на севере, где-нибудь из-за гарнизона петропавловского или из-за Самсония.

Но те, на которых три года тому назад в 1716 году глядела эта ночь своими белыми очами, — и царевич Алексей Петрович, и девушка Афросиньюшка, такая же, как и эта ночь большеглазая и светлоокая, и Кикин с своими упрямыми, стоячими глазами, они уже не видели этой ночи, они спали крепким, вечным сном, и никакой свет, никакой мрак не могли больше действовать на их навеки успокоившиеся нервы.

Но этот свет — не свет, день — не день, по-видимому, продолжал действовать возбуждающим образом на нервы вон тех молодых офицеров, которые на легком катере плывут по Большой Невке, за Каменным островом. Всех их человек пятнадцать. Они сами гребут и ведут оживленный разговор. Звонкий смех, веселые возгласы, шутки гулко раздаются по воде и оживляют эти, в то время пустынные места, покрытые сплошным, дремучим лесом.

— Эх, господа, затянуть бы теперь нашу питерскую песню, благо тут ее никто кроме лешего да водяного не услышит и доносу учинить будет некому, — сказал один офицерик, высокий и худенький, с черными курчавыми волосами.

— Ханыков дело говорит, затянем панихидку-то нашу, — подхватил другой, полный и краснощекий.

— Так-то так господа, леший в донос не пойдет, а водяной — ему-то братец родной... Оба воду любят... Так водяной-то, чего доброго, и шепнет Ваньке Орлову, а тот—либо самому, либо Андрей Иванычу... На то он и Ушаков, чтоб ему на ушко шептали, — заметил третий офицер.

— Так что ж! Не сидеть же нам повеся нос, как вон господин капитан Левин... На то он Левин, его вон и железом жгли, так не запел... А вправду, брат Левин, ты вытерпел, не кричал, как тебе руку жгли в гарнизоне? — спросил Ханыков.

— Нет, в первый раз не стерпел, обморок на меня напал, а как жгли вдругорядь — не пикнул... Сам немец диву дался, — отвечал Левин.

— И долго еще после того держали тебя там?

— Недолго уж: с небольшим две недели. Да пуще, я думаю, потому выпустили, что я на них страху нагнал.

— Как это?

— Да так — нашло на меня... Память потерял. А было это ночью. Я как упал в бесчувствии на постелю, а свеча-то горела у меня, так пожар в каморе и сделался, насилу потушили... Чуть и сам я не сгорел... Ну, и выписали меня после того, чистую дали.

— Иди, мол, с Богом?

— Да.

— И я бы то же сделал, да у меня характеру не хватит, как у Левина, огненной пытки не выдержу, — сказал капитан Кропотов, ражий мужчина с плечами Геркулеса. — Опостылела эта царская служба. То ли дело дома с собаками в отъезжем поле! А то здесь, в этой проклятой чухонской земле... Эх, тощища какая!

— Ну, Баранов, подтягивай, — сказал Ханыков краснощекому офицеру. И он запел:

Что за речушкой было за Невою,
За Невою было с переправою,
Не кавыль-трава во поле шаталася,
Што шатал-качал удал добрый молодец...

Баранов подтянул, другие подхватили, что называется вынесли грудью, и песня заплакала такою русскою глубоко-народною мелодиею, какая могла только создаться степью раздольною, воспитаться столетиями народного горя, народной тоски, выстонаться народною грудью.

Поэтическая натура Левина не вытерпела. Богатый голос его потоком влился в общий хор, и песня заныла новыми тоскующими нотами:

Что шатал-качал добрый молодец,
Он не сам зашел, не своей охотою,
Завела его, молодца, неволюшка,
Еще нужда крайняя,
Нужда крайняя — жизнь боярская,
Еще служба царская —
Служба царская — царя белого,
Царя белого — Петра Первого...

— Ай да Левушка, — сказал краснощекий Баранов, — да у тебя голосина — и до неба высокого и до дна моря глубокого. С таким голосом не токмо железную пытку, ты и дыбу вынесешь.

— Да, братец, — на что у меня грудь такая, что на ней хоть рожь молоти цепами, а и в ней голосу меньше, чем в твоей... Вот бы в протодьяконы к Феофану Прокоповичу, — говорил Кропотов.

Левин задумчиво улыбался.

— А вот, господа, вы верно не знаете новенькой песни, — сказал он. — Слыхал я ее в Харькове — от

калик перехожих. Есть у меня такие калики. Проходили они из Киева и зашли ко мне. Разговорился я с ними тогда о смерти царевича. Так они и спели мне песенку об этом. Ну, песенка, я вам скажу!

— А что? — спрашивали товарищи.

— Да уж такая песня, что изойдешь, кажется, слезами, изноешься ноем сердешным, пока прослушаешь ее.

— Так спой ее, Левушка, голубчик, потешь нас, — умолял курчавый Ханыков. Вон и дядя Баранов послушает.

— Ее немножко опасно петь, господа, — упрямился Левин.

— Что опасно! Кой черт нас услышит?

Офицеры бросили весла и все стали упрашивать Левина. Лодка двигалась все тише и тише, и наконец совсем как бы стала. Левин запел:

Вы не каркайте, вороны, да над ясным над соколом,
Вы не смейтеся, люди, да над удалым молодцем,
Над удалым молодцем да над Алексеем Петровичем.
Уж и гусли вы, гуслицы!
Не выигрывайте, гусельцы, молодцу на досадушку:
Как было мне, молодцу, пора-времячко хорошее,
Любил меня сударь-батюшка, взлелеяла родная матушка,
А теперь да отказалася!
Царски роды помешалися.
Что ударили в колокол, в колокол нерадостен.
У плахи белодубовой палачи все испужалися,
По сенату все разбежалися.

Один Ванька Игнашенок-вор
Не боялся он, варвар, не опасился.
Он стает на запяточки ко глухой да ко повозочке,
Во глухой-то во повозочке удалой доброй молодец
Алексей Петрович-свет.
Без креста он сидит, да без пояса,
Голова платком завязана...

Чем дальше пел Левин, тем больше проникался лиризмом песни и своим собственным, и певучее горло его буквально плакало. Вся молодая компания, и без того лирически настроенная, всецело отдалась обаянию песни и забыла все окружающее, а массивный Кропотов не чувствовал даже, что по его богатырской груди скользнула слеза и как бы со стыда спряталась где-то.

Один Баранов, который был старше своих товарищей и которого они называли дядей, был настороже.

— А вон, господа, — сказал он, — за островом маячит лодочка. Уж не Орлов ли Ванька пробирается послушать нашей песенки?

Левин опомнился и замолчал.

— Да, и вправду лодка, — заговорили офицеры. — Кому бы охота так рано плыть!

— А может, такие же как и мы гуляки, — заметил Кропотов.

— Нет, мы домой едем, а они, как видно, из дому.

Встречная лодка приближалась, делаясь все явственнее.

— А никак это царский ботик, — заметил Баранов несколько тревожным голосом.

— Ай батюшки! Вот беда! — засуетилась молодежь.

— Смирно, господа, от него не спрячешься, — сказал Баранов, — он уж нас наверно заметил.

— Вот непоседа! — проворчал неповоротливый Кропотов. — И куда это его спозаранку носит?

— Затевает что-нибудь новенькое, уж и чадушко же неугомонное! — ворчал Ханыков.

— Только вот что, господа, — предупреждал Баранов, — коли спросит — говори правду, не виляй, он этого вилянья не любит. Скажем: катались, мол, ваше императорское величество, на взморье ездили.

— Так-то так, а все страшно, — заметил юный Ханыков.

— Ничего, я его знаю повадку, — успокаивал Баранов. — Он на воде добрее чем на земле, это верно.

При сближении с царским ботиком, офицерский катер сделал движение, какое подобало делать при встрече с царем на воде: морские артикулы были соблюдены. Царь это заметил.

— Что вы здесь делаете? — спросил царь.

— Катались, ваше императорское величество, на взморье ездили, — отвечал Баранов.

— Хорошо. Приучайтесь к воде. Вода — школа, — быстро проговорил царь.

— Рады стараться, ваше императорское величество, — грянули офицеры.

Царский ботик быстро пронесся. Только тут офицеры заметили, что Петр был не один, около него сидел старик Апраксин, адмирал.

— Уф! Гора с плеч!.. — тихо проговорил Баранов. — Я вам говорил, господа, что на воде он добрее.

— А все страшноват, пояснил развеселившийся Ханыков.

— Затевает, непременно затевает что-то... Сам не спит и старику спать не дает, точно у него ртуть в жилах вместо крови, — говорил Баранов.

Левин угрюмо молчал. В нем закипало что-то, какой-то внутренний демон нашептывал ему нечто неподобное, неясное, но острое, подмывающее... Шепот демона переходил в далекие звуки, ноющие, неизгладимые из памяти:

Ой гаю мій, гаю, великій розмаю!

«Когда же, когда же замолчит во мне этот голос? — думалось ему. — Когда успокоится смятенный дух мой, перестанет ныть сердце?.. Когда черною ризою это покрою? Свет когда завяжу себе?..»

— Что, Левушка, опять задумался? Али у тебя зазнобушка есть? — шутил здоровяк Кропотов. — А вот у меня одна зазнобушка: собачки это на зорьке потявкивают, от деревни дымком потягивает, а из-за лесочка лисушка-матушка вырыскивает... Ух, и бестия же! Далеко видит, далеко чует... А там зайчик-свертышек, свернулся косой дьявол в клубочек и моргает на тебя... Ату-ату его! И как ульнут это за ним собаченьки голосистые, как взмоется это под тобой лошадушка, как понесется это по полю, ну, так и кажется, что на крыльях в рай летишь... Вот где зазноба молодецкая, потеха удалецкая...

— Правда! Правда! — хором подтвердила компания.

— А то на медведя с рогатиной, на волка с поросенком... Эх, ты охота, охотушка, охота дворянская! Извели тебя люди службой царскою... Зарастают в поле тропочки, по которым мы рыскивали, сиротеют наши собаченьки голосистые, овдовела мать сыра земля без охотничков.

— Ишь распелся, словно мать родную хоронит, — шутя заметил Ханыков.

— Не мать, а полюбовницу, любушку-голубушку! Вот какова охота-то, — кричал Кропотов. — А то здесь — какая наша жизнь? Холопская! Не смей

и потешиться по-своему, по-русски, а изволь немецкую канитель тянуть — дьяволы!

— Да, — заметил один угрюмый и молчаливый офицер по фамилии Суромилов, — при царе Алексее Михайловиче, сказывают, не то было. Он сам любил охотою тешиться, а особливо соколиною... Мне дед рассказывал. Тогда дворянам хорошо было жить: хочешь — служи, не хочешь — дома охотою забавляйся. Хорошо было, тихо.

— Да и самого царя Тишайшим звали, — вставил Ханыков.

— Ну, сынок не в батюшку, — заметил Кропотов. — И в кого он уродился, толчея эдакая?

— Сам в себя, а обликом, говорят, в князей Прозоровских, — отвечал Баранов,

— Ну, не все и Прозоровские такие, — сказал Кропотов. — Я знаю одного Прозоровского, так это тихоня. Он теперь монах в лавре здесь.

Левин вспомнил, что он слышал о молодом Прозоровском от старца Варсонофия, который видел его в Неаполе с другими русскими навигаторами и слышал, что тот хочет уйти на Афон. «А чего доброго это он и есть, — подумал Левин. — Вот бы и мне в лавру... А то к себе в Пензу, в глушь — там тише, к Богу ближе».

Катер, между тем, пройдя Аптекарский остров и Карповку, приближался к Неве. Солнце взошло. Город просыпался.

— Теперь, господа, ко мне на утреннюю закуску, — сказал Баранов. — Все равно уж спать не будете, а то и днем выспитесь.

— Идет, — отвечало несколько голосов.

Катер пристал к берегу. Там приехавшие наткнулись на оригинальное зрелище. Массы голубей и воробьев буквально покрывали землю, воркуя, чирикая и наперебой хватая зерна ржи, пшена и крупы,

которые Фомушка, стоя в позе сеятеля, бросал в разные стороны из висевшего у него на шее мешка. По временам он выкрикивал:

— Эй вы, чубарый! Не смей трогать волохатого!

— Гуленьки-гулю! Чего, дурашка, боишься? Ешь не сеяное, не жатое...

— Постой, вор-воробей! Я до тебя доберусь, драчун экий!

И старик бежал за провинившимся воробьем. Но особенно он строго относился к воронам, которые тоже из любопытства подходили к трапезующей птице.

— Эй вы, немцы! Куда лезете? Это не для вас, для вас царь-батюшка мясцо человечье доставляет... Кш-кш! немецкое отродье!

Офицеры с любопытством смотрели на этого суетящегося старика, воевавшего с воронами и покровительствовавшего голубям и воробьям.

— Здравствуй, дедушка, — сказал Кропотов. — Что поделываешь?

— Сирот кормлю: богатыми у бедных краденое, у богатых перекраденное, бедным даденое, — отвечал Фомушка по обыкновению загадочно.

И вслед за тем, подняв полы своего ветхого кафтанишка, он бросился бежать вдоль берега, торопливо приговаривая:

У боярушек беда –
Оголена борода.
Нос вытащил — хвост увяз.
Хвост вытащил — нос увяз.

Офицеры захохотали: «Вот чудак!»

— Это Фомушка юродивый, — заметил Левин.

— Однако он загнул насчет бород, разбойник, — засмеялся Кропотов.

— Это еще ничего. А в Москве так он почище

коленце выкинул, — говорил Баранов, — когда вышел указ о бритии бород и выбита была пошлинная на бороды деньга, он привесил эту деньгу козлу на шею и пустил его по Москве... Вот хохоту-то было! Хорошо, что его потом раскольники спрятали где-то, Фомушку-то, а то бы быть бычку на веревочке.

Квартира Баранова была недалеко от пристани, и вся компания через полчаса угощалась уже радушным хозяином.

Общество оживлялось все более и более. Кропотов доказывал, что прежде люди были лучше, потому что любили охоту. Суромилов приводил примеры из русской истории вообще и из истории своего деда в особенности о том, что соколиная охота лучше собачьей. Ханыков бренчал на гуслях, найденных у хозяина, запевал разные песни и не кончал их. Один Левин по-прежнему был задумчив.

— Ну, Левушка, спой лучше свою новенькую, — пристал к нему Кропотов.

— Спой! Спой! — настаивали другие.

Левин отказывался. Видно было, что он тяготился своим положением, места что называется не находил. Даже веселое общество товарищей было ему в тягость. Но его все-таки заставили петь песню о смерти царевича.

По-прежнему он пел задушевно, страстно. По мере продолжения песни он становился все возбужденнее, а лицо его все более и более бледнело. Пропев до того места, где говорится:

> Уж и гусли вы, гуслицы!
> Не выигрывайте, гусельцы, молодцу на досадушку:
> Как было мне, молодцу, пора-времячко хорошее, —

он вдруг бросился в кресла и зарыдал.

Все были ошеломлены. Думали, что он пьян. Стали уговаривать, утешать, расспрашивать его. Он продолжал рыдать, приговаривая: «Ох, батюшки вы мои, голубчики! Убейте вы меня окаянного! Нету моченьки моей так жить дольше, нету, родимые вы мои! Не жилец я на этом свете, батюшки! Тошно мне донельзя, тошнехонько досмерти...»

ГЛАВА XVII

Левин у Стефана Яворского.

Прошло еще два года. Левин продолжал оставаться в Петербурге. Нервная возбужденность по-прежнему обнаруживалась в нем иногда болезненными, даже, по-видимому, безумными проявлениями, но за то в нем окрепла воля, разбросанные нравственные силы сосредоточивались на одной поглотившей его идее, идее борьбы против грозившего миру духа зла и погибели. Идея борьбы, неизбежно реализуясь, принимала и реальные формы, вызвав в нем законченное, страстное, бесповоротное стремление — стремление агитации. То, что он потерял в жизни, и потерял безвозвратно — личное счастье, на которое он, в порыве глубокого отчаянья, махнул рукой, заменялось для него теперь другим идеалом, идеал этот был — подвиг. Что бы ни ожидало его, он решился на подвиг, какими бы муками ни грозило ему будущее, он не поступится ничем ни перед этими муками, ни перед истязаниями, пытками, лишениями, ни перед неумолимым образом смерти.

Решение это, как протокол своей совести, он записывает даже в свой дневник, в святцы: «Положил себе это намерение» — и баста, что называется «хоть кол на голове теши», и это буквально, это не фраза, не похвальба, не рисовка.

И на какое же дело должен быть направлен задуманный подвиг? На борьбу против антихриста!

Уже не раз слышал Левин, что антихрист явился на землю и явился в той именно обстановке, в какой его должен ожидать мир. Он явился во всеоружии власти и силы, он явился в образе земного владыки, в образе царя. Уж книгописец Талицкий, представи-

тель церковно-обрядовой книжности, научно доказывал, что Петр и есть этот антихрист. Талицкого сжег антихрист, но в учение сожженного изувера уверовали многие, и не один простой народ, а и архиереи. Потом Левин сам видел шедших из Иерусалима странников, которые направлялись в Петербург, чтобы лично видеть антихриста. Духовник самого Меншикова, друга царя, протопоп Лебедка, положительно утверждал, что духовный сын его, светлейший князь, служит антихристу, и что антихрист этот — Петр. Чего же еще доказательнее? Мало того, в войске самого царя ходят зловещие толки. Не только солдаты, но и офицеры хотят спасаться бегством от страшного «десятирожного зверя» и «седьмиглавого змия». Двоюродные братья Левина, Петр и Иван Разстригины, служившие в Преображенском полку, рассказывают ужасные вещи об антихристе. Раз както Иван Разстригин приходит к Левину и зовет его к себе в гости. Дорогой речь заходит о службе, о царе.

— Я не знаю что делать, — говорит Разстригин. — Хочу бежать из полка... Я не признаю, что он у нас государь. Он — антихрист.

Осторожный Левин замечает ему на это:

— Как ты смело говоришь — не опасно...

— Нет, ничего! У нас из офицеров многие так говорят об нем... Они сказывают, что он в одно время учил три роты, на воде летом, словно на льду... Его вода подымает, он и воду в кровь превращает, — возражал Разстригин.

— И солдаты по воде ходили?

— Ходили.

На это Левин сказал решительно:

— Я давно знаю, что он не прямой царь, а антихрист, и для того хочу постричься.

Тогда Разстригин сообщил брату ужасную тайну.

— А ведаешь ты, — спросил он, — что ныне привезли на трех кораблях знаки, чем людей клеймить, и сам государь по них ездил, и привезены на Котлин остров, токмо никому не кажут и за крепким караулом содержат и солдаты стоят бессменно...

В гостях у Разстригиных было несколько военных. Разговор шел о том же. Старший Разстригин не хотел верить диким рассказам и закричал на брата:

— Полно тебе врать!

— Что ж! Будто это тайна? — возражал младший. — Многие говорят то же в полку, не я один... И все тоже признают... Да и подобное ли дело, если бы он прямой царь был, так разве он сына своего убил бы и постриг бы царицу? — А эту царицу он держит только под видом, а с нею не живет...

Сталкивается Левин с солдатами, и те прямо утверждают как очевидцы:

— Привезены из-за моря клеймы, чем людей клеймить антихристовым клеймом, и у тех клейм стоим мы на карауле месяца по два и больше беспеременно, для того, чтоб о тех клеймах никто не ведал...

Чего же больше?

Левин вспоминает, что еще в Нежине пять лет тому назад митрополит Стефан Яворский звал его к себе. Он отправился к митрополиту.

При виде Левина старому блюстителю патриаршего престола вспомнилось бледное, симпатичное лицо офицера, горько плачущего в церкви. Вспомнилось и многое другое, далекое, невозвратное, молодое... Нежин... зеленая левада с вороньим гнездом на дереве... тихая украинская ночь... запах любистка... далекая песня...

Ой сон, мати, ой сон, мати, сон головоньку клонит...

А там — монастыри, саккосы, омофоры, рипиды, блеск архиерейского облачения, митры, благоговейная толпа молящихся, курение кадил, патриарший престол — и тоска, тоска, тоска о прошлом, о невозвратном, о бедной обстановке, о дорогой Украине, о запахе любистка...

И Левину при виде старого митрополита вспомнилась та же далекая, дорогая Украина, где он нашел было свое счастье... В миллионный раз вспомнился тихий вечер над Днепром, милый голос, неожиданное, громадное, невместимое счастье и тут же злая, зловещая нота далекой песни, ставшей похоронным пением...

— В правде ты устоял, что ко мне пришел, — ласково сказал митрополит, вглядываясь в выражение лица Левина. — А в сенат являлся?

— Являлся, — отвечал Левин.

— А в синоде был?

— Не был, владыко.

— Синод за сенатом. Спроси, там скажут. И если ты хочешь постричься, подай там челобитную. Где же ты хочешь постричься?

— Хоть здесь, в Невском монастыре... Я истомился... Либо клобук, либо гроб, либо плаха!

— Так ты поди прежде посмотри, понравится ли тебе. А сыщи там старца Прозоровского и скажи ему, что от меня ты пришел. Он тебе все скажет.

Левин слушал и о чем-то задумался. Митрополит не мог не видеть, какую страшную печать разрушения наложили годы на этого человека еще не старого, время провело на нем какие-то борозды, что-то старческое, дряхлое виднелось в его внешности, и в то же время все движения, молодой огонь глаз, страстность речи и подвижность выдавали кипучую, не растраченную внутреннюю живучесть и силу. Митрополит понимал, что человек этот сам перегорает:

— А как тебя осунули годы, сын мой, — тихо сказал старик, грустно качая головой. — Все скорбишь?

— Велика моя скорбь, ух как велика, отче!.. Вот... — И он показал митрополиту прожженную руку.

— Что это? — спросил тот.

— Жгли меня железом, пытали, я вынес, не крикнул, пальцем не шевельнул... А как тут, — он приложил руку к сердцу, — душу железом жжет — я не выношу... кричу...

— Что ж там у тебя, сын мой?

— Огонь, пекельный огонь... Не залью его, ничем его не залить, разве кровью, Христовой кровью...

— Это ты правду сказал, друг мой. Та кровь пожары всего мира зальет, зло потопит, только не скоро... А ты смирись, могучая сила в смирении, оно горы переставляет, волны морские усмиряет, великие реки останавливает.

Левин стал прощаться. Митрополит благословил его. Умный старик видел, что он еще не все выведал от странного воина.

— Заходи ко мне после, — сказал он.

— Зайду, не забуду.

Левин торопился в Невский монастырь. Там ему сказали, что Прозоровский в церкви. В церкви издали указали ему Прозоровского, и он к неописанному изумлению узнал в нем одного из тех странников, которых он принимал у себя в Харькове и которые сказали ему, что идут из Иерусалима в Петербург, чтобы видеть антихриста. Левин видел в этом знамение, распаленное воображение его заметалось, как спугнутая птица. «Это он, это тот князь Прозоровский-навигатор, которого старец Варсонофий видел в Неаполе...»

После обедни, когда Прозоровский шел в свою

келью, Левин догнал его и объявил, что прислан к нему от Стефана Яворского, митрополита рязанского.

— Дай мне разобраться, — сказал Прозоровский. — А ты зайди по переходам к моей келье, я к тебе выйду.

Левин повиновался. Скоро вышел и Прозоровский. Левин подошел к нему под благословение, не спуская глаз с его лица.

— Что, не признаешь меня, святой отец? — спросил он.

Князь, долго вглядываясь в лицо пришедшего, отвечал в раздумье:

— Не признаю... не припомню...

— А я тебя узнал... Помнишь в Харькове офицера, капитана Левина? Вас было трое, вы из Ерусалима шли и обедали у меня.

Глаза Прозоровского доселе тусклые, спокойные блеснули.

— Теперь признаю, — сказал он. — А как ты изменился! Совсем стариком стал.

— Да... переехало меня колесом... огненное это колесо, Божье, раздавило меня и спалило...

Прозоровский покачал головой.

— Страшна колесница Бога живого, — сказал он, — и по моей душе она проехала...

— Не ты ли тот князь Прозоровский, Михайло, что в навигаторах был в Неаполе, в италийской земле? — спросил Левин.

— Я тот самый.

— Как же ты попал сюда?

— Божиим попущением, сам того не хотя... В 716 году меня, яко княжича и боярского сына, царь послал для навигаторской науки вместе с прочими в италийскую землю. И учился я. Но была то всем нам не наука, а сущая мука: и голодали-то мы, и по

миру побирались, понеже Сава Рагузинский, тутор наш, жалованья нам не выдавал. И в прошлом 718 году случилися в Италии быть монахи из области султана турского, из горы Афонской. И я с теми монахами поехал в Афонскую гору и там постригся. И наречен я был во иноцех Сергием и учинен там иеремонахом. И из Афонской горы поехал к Москве с тамошним иеремонахом Филипом сербиненом и другим — Стояном болгарином, кои и в Ерусалиме бывали. И ехали мы в Москву для прошения милостыни, тогда-то были и у тебя в Харькове...

— Так-так, живо это помню... Еще меня мощами святыми удостоили, так их на себе вот тут на груди и ношу с той поры, в кресте заделаны, — говорил Левин торопливо. — Помню, помню, и тебя, и их...

— И по письму из Питербурха ближнего стольника князя Ивана Федоровича Ромодановского велено было меня выслать в Питербурх, — продолжал Прозоровский, — и явиться у него в доме, а когда его в Питербурхе не застану, то чтоб явился во дворец. А как я в Питербурх прибыл, а его, князя Ромодановского, не застал, а брат мой князь Федор Прозоровский донес обо мне царице, а царица указала мне явиться к ней, и я явился, и она указала мне явиться Невского монастыря архимандриту Феодосию[24], и явясь я жил в доме князя Ивана Алексеича Голицына, а потом по царскому указу определен в сей монастырь.

Он на минуту замолчал и тихо перебирал четки.

— И вот я здесь... Вспоминаю об Афоне... А ты как? — спросил он Левина. — Все служишь?

— Нет, — отвечал тот, — я уже от службы отставлен, и есть у меня билет. Я человек свободный, только пришел просить твоего совета, хочу я постричься.

— Хорошее дело. Где же ты хочешь постричься?

— Мое обещание есть, чтоб здесь в Невском по-

стричься. И имею я позволение от рязанского архиерея о пострижении, и платье черное уже у меня готово... Больше хотелось бы в Соловках постричься... А здесь можно?

Прозоровский горячо восстал против этой мысли.

— Для Бога! Не сгуби себя! заговорил он быстро. — Меня сюда царь поневоле взял, а я не хотел. Буде же ты хочешь мясо есть, так постригись здесь. Здесь монахи мясо едят и меня принуждают, только я еще не едал. Не одного закона здесь монахи, но разных законов. Буде не веришь, поди на кухню и посмотри — все мясо готовят есть.

Левин отправился на кухню и сам увидел, что там действительно готовят мясную пищу. Это поразило его, разбивалась последняя вера в святость отшельничества. Где же правда? Где конец этой мировой вселенской лжи? Мир должен погибнуть! Он погибает! У Левина из-под ног исчезла почва... Мир шатается... земля пошатнулась на оси... Был один идеал, и тот поглотили звери-люди...

Мясо едят монахи! Да это бездна, в которую валится мир! Для тогдашнего русского человека за пределами этого мировоззрения начинался уже хаос, мрак, отчаяние!

Пораженный, уничтоженный Левин воротился к Прозоровскому.

— Здесь бесы живут, а не иноки, — говорил он с ужасом. — А ты?

— Я и сам не хочу здесь жить, хочу бежать, скрыться, — отвечал Прозоровский. — Скроюсь не в знатный монастырь, а в пустыню.

— И я уйду в Соловки, дальше, дальше от смрада людского!

— Что Соловки! И туда послано отсюда три монаха, чтоб они там приводили монахов мясо есть и учили бы, что де греха дальнего в том нет. Царь

указал, а синод на себя перенял этот грех, тягости-де в том нет, что старцам мясо есть, если-де блуд делать, то и горче-де того... Видел ли ты здесь прядильный двор, на котором живут такие, что если вдова или девка родит, то их на тот двор ссылают? В день оне прядут, а к ночи старцы емлют их к себе в монастырь и спят с ними...

Левину казалось, что он стоит на оскверненной земле, на проклятом месте, что земля должна расступиться и поглотить осквернителей... Монастырь... святое убежище... Да ведь в монастыре и она — та, имя которой он произнести не смел, она, чистая и непорочная!

Простившись с Прозоровским, он тотчас же снова отправился к Стефану Яворскому. Он чувствовал какое-то глубокое оскорбление, нанесенное ему неведомо кем. Чем с большим благоговением вступал он за несколько часов перед тем в лавру, тем с более жгучим чувством стыда возвращался он оттуда...

Когда он стоял в лаврской церкви во время службы, то напоенное его собственным идеализмом сердце его готово было растопиться в умилении. Тихая и величавая торжественность службы и подавляет, и возвышает его: это стройное пение клиров звучит голосами ангелов... Невидимые крылья их тихо волнуют и несут к небу дым кадильниц... Не свечи горят это в сотнях теплящихся огнистых струек, а это теплятся души человеческие в присутствии невидимого Бога... А эти строгие лица старцев, созерцающих им одним видимый лик всемогущего Бога... Это не они поют, а поют тысячи умиленных сердец предстоящего народа... Вот ктитор обходит молящихся... Звякают на его массивное серебряное блюдо тяжеловесные рубли, алтыны, гривны, копейки и полушки, — это капают мирские слезы — кап! кап! Как звонки перед Господом эти слезы! Звонче колокола гремят

они, оглашая людское горе, донося его до самого неба... Так бы и изныл, кажется, в молитве, так бы и изошел кровью сердца за эти мирские алтыны — слезы!..

И вдруг, эти мирские слезы идут на мясо монахам, на наряды прядильницам!.. Господи! Да где же правда? Люди слепые, кого вы питаете вашими слезами, вашею кровью?

— О! О-о! Плачьте, старые очи мои! О-о-о! Разорвися ты, сердце горькое! О-о-о!

Кто это плачет так горько, разливается?

— О-о-о! Плачьте вы, мои очушки, плачьте, плачьте! Не наплакаться вам довеку! Лейтеся, слезы мои горючие, лейтеся, лейтеся, не вылиться вам досуха! О-о-о!

Это плачет Фомушка юродивый, сидя на земле у ворот лавры.

Левин остановился в изумлении. Слышалось, что в этих слезах страшное горе, что за ними чуялось, как сердце плачущего бьется в судорогах. Левину стало невыразимо жаль старика. Он нагнулся к плачущему.

— Дедушка! Об чем ты плачешь? — спросил он участно.

Юродивый поднял на него глаза с выражением совсем детским и снова захныкал как ребенок.

— О-о-о! Больно мне, больно Фомушке, больно!

— Что же болит у тебя, дедушка?

— О-о-о! Болит душенька у Фомушки... О-о-о! Никого нету у Фомушки, никого, никого!... Была у Фомушки птичина малая, горлица чистая, а теперь нету ее, нету-ти... Нету у Фомушки ясноочушки мнученьки Верушки, нету, нету! О-о-о!

— Где ж она, внучка твоя, дедушка?

— Повадилась она, горлица чистая, в этот вертеп летати и поймали ее вороны черные, ощипали ее перышки сизые, выпили кровушку ее молодую, и те-

перь она на прядильном дворе... О-о-о! Нету у Фомушки Верушки, нету, нету!

Левин понял, на какую дыбу подняли душу юродивого «черные вороны»... Он безнадежно махнул рукой и уже больше не оглядывался на лавру.

ГЛАВА XVIII

В лес! В пустыню!

Стефан Яворский, увидев пришедшего к нему Левина, не мог не заметить, что он глубоко потрясен чем-то. Бледные, худые щеки его горели лихорадочным румянцем. Та же лихорадка светилась и в его глазах с расширенными, как у кошки, зрачками.

Старик митрополит тоже казался несколько расстроенным. Перед приходом Левина он рассматривал оставшиеся после смерти его друга, митрополита Димитрия Ростовского, сочинения этого последнего. Вспомнилось при этом далекое прошлое, молодость, незабываемая Украина, беседы о судьбах своей злополучной родины... Как раз раскрылось то место «Рождественской комедии» Димитрия Ростовского, где пастухи обращаются к младенцу Иисусу, лежащему в яслях:

И подушечки нету, одеяльца нету,
Чим бы тебе нашему сагретися свету!
На небе, як сказуют, в тебе палат много,—
А здесь что в вертепишку лежиши убого?..

Почему-то это место напомнило ему убогую родину... «И подушечки нету, одеяльца нету!..»

— Что, сын мой, был в лавре? — спросил он кротко.

— Был, владыко.

— Видел Прозоровского?

— Видел.

— И что ж?

Левин упал на колени. Руки его поднялись как на молитву.

— Спаси меня, владыко! Спаси душу мою! —

говорил он страстно. — Я нашел там вертеп разбойников...

— Не говори так, сын мой, — остановил его митрополит. — Не осуждай брата своего... Помни смирение — велика сила его... Смирись, и громы послушают гласа твоего, в камне сердце взыграет, и скимен рыкаяй слезами оточится... Я знал, что ты здесь не останешься, здесь для братии соблазна море великое и пространное... Встань, подумаем вместе, помолимся вместе.

Левин встал с колен.

— Благослови меня, владыко, в Соловецкий монастырь, — сказал он.

— Хорошо. Я вот уже и письмо приказал написать к архимандриту Варсонофию, а тебе дам копию с онаго. Вот что я пишу отцу архимандриту.

И старик, надев очки, стал читать:

«Пречестные и великие лавры святые обители Зосимы и Савватия соловецких чудотворцев пречестнейшему отцу архимандриту Варсонофию, мне же о Христе брату и сослужителю и благодетелю: благословление от Господа Бога, мир, тишина, здравие, души и телу долгоденствие, беспечальное и безмятежное пребывание и многолетное безболезненное да будет, всеусердно желаю, а паче спасения вечнаго».

Левин слушал внимательно, а при имени Варсонофия ему вспомнился старец Варсонофий, его рассказ о странствии в Неаполь, вспомнился царевич, Евфросинья-девушка, Марья Гаментова, подробности казни которой ему передавал тот же Варсонофий... В спирту голова Гаментовой Марьюшки... «А может и моей голове на роду написано в спирту быть»... Он невольно вздрогнул...

«За сим вашему преподобию в обнадеяние дерзнул писать, — продолжал митрополит, — просил нас

о предстательстве к вашему преподобию гренадерского коннаго полка капитан, Василий, Савин сын, Левин, который в прощении своем объявил мне, что он, будучи в службе великого государя многие годы, пришел к старости и в скорбь и положил себе обещание, чтоб ему принять монашеский чин и постричься в обители соловецких чудотворцев, которое обещание оной капитан объявил прошением в правительствующем духовном синоде и по указу царского величества он, Василий, за скорбью от службы отставлен, и велено из правительствующего духовного синода в святой вашей обители постричь его не отменно».

«Прошу вашей святыни, для нашего прошения яви к нему, Василью, свою милость и прими его в святую обитель и прикажите по обещанию его исполнить и постричь в монашеский чин без всякаго отриновения и содержать его при своей святыни за его царскому величеству службу неотриновенно, за что вашему преподобию воздатель всемогущий Господь Бог, и наше смирение долженствует о вашей святыни Бога молить и всякими образы отслуживать. Вашему преподобию, мне о Христе любимому брату, всяких благ временных и вечных всеусердный желатель богомолец и слуга нижайший, смиренный Стефан, митрополит рязанский и муромский».

— Возьми же это, — сказал митрополит, свернув письмо и подавая его Левину.

Левин горячо поцеловал руку старику, а потом приложился губами к поле его рясы.

— С этим письмом, — продолжал Стефан, — хотя в Соловецком или в другом монастыре тебя постригут. А лучше бы постригся ты где не в знатном монастыре...

— Чего ради не в знатном, владыко?

Он вспомнил, что и Прозоровский говорил ему то же.

— Ради избегновения соблазна, — отвечал митрополит.

— Соловецкая обитель — старая, святая обитель, — возражал Левин.

— Так, сын мой... Только...

Митрополит помолчал. Он рассматривал своего собеседника. На лице его он прочел беззаветную искренность и глубину чувства. Это было такое лицо, которому можно было верить и перед которым можно было высказаться в самой сокровенной тайне.

— Ты говорил мне в Нежине, сын мой, что у тебя была невеста, — продолжал митрополит, — и что она пошла в монастырь. Это была Ксения, дочь сотника Хмары?

— Ксения, — отвечал Левин упавшим голосом.

— И с той поры ты об ней ничего не знал?

— Ничего... Слыхал только, что царь велел увезти ее из киевского монастыря в какой-то дальний монастырь, а в какой — того не сказали.

— И ты не забыл ее?

— Нет... не дает Бог забвенья...

— Хорошее, хорошее было дитя... книжное дитя, — говорил старик задумчиво. — Я видел ее, когда она еще училась в монастыре... Так-то щебетала мне наизусть из книги архимандрита Лазаря Барановича, из «Трубы», как птичка щебетала... Хорошее было дитя, Божье... Ее Бог взыскал.

Левин сидел молча. Письмо, которое ему передал митрополит, видимо дрожало в руке. Стефан заметил это.

— Ты, сын мой, не питаешь ли в сердце своем злобы против царя ради того, что, по неведению, отнял у тебя невесту? — спросил он.

Левин молчал, только письмо еще больше задрожало.

— Не таи от меня сердца твоего, сын мой, —

продолжал Стефан, — откройся мне как на духу. Имеешь злобу?

— Грешен, владыко... Не могу, видит Бог, не могу не думать о нем... Всю-то мою жизнь, всего меня он в скорлупу яичную извел, выпил все из меня, высушил все во мне, огнем выжег и бросил.

— Великий это грех думать так, сын мой. Не хотел он тебе зла, он и не ведал, что есть такой-то на белом свете.

— Верю, а все ж не могу вырвать терние из сердца.

— Вырви... И у меня, сын мой, великое терние в сердце вонжено, им же вонжено... Венцом терновым увенчал он сердце мое... душу мою прободе копием, и прискорбна оттого душа моя даже до смерти... А я молюсь за него.

— А я не могу.

— Молись. И я когда-то думал, что не сумею молиться за него, а теперь молюсь... Не меня обидел он, не невесту отнял он у меня, а обидел церковь Божию, обидел народ свой многотерпеливый, обидел кровно, надругался над ним, тростию своею по главе бил он народ свой, по ланитам бил он его дланию своею, оплеванием оплевал он образ его, смиренный... И я все-таки молюсь за него — не ведает бо, что творит... Под самое сердце ударил он родину мою, матерь мою, вдовицу убогую — Малороссию, и кровию подтекло великое сердце матери моей... Не встать ей с одра болезни: иссушил он сосцы великие матери моей, в оцт и желчь превратил млеко сосцов ее, чахнуть ей веки многие... А я все молюсь за него...

Митрополит помолчал, ускоренно перебирая четки, а потом продолжал как бы про себя:

— Невесту отняли... Нет, землю родную он отнял, — На коленях я стоял перед ним, я, старец

ветхий деньми и святитель, — и молил отпустить меня на покой... Нет, не отпустил... Он повелел мне блюсти патриарший престол... Разумеешь ли ты, сын мой, всю глубину позора моего? — спросил старик, теребя четки. — Разумеешь?

— Нет, отец святой, не разумею.

— Я — блюститель престола патриархов всероссийских... Я — пес, прикованный к подножию патриаршего престола... Я повинен лаять на всякого, кто бы дерзнул помыслить о сем престоле, воссесть на оный... Я — пес, лежащий на сене... Разумеешь теперь?

— Разумею.

— И я молюсь за него. Он великий государь. Великий ум обитает во главе царя. Славы и величия хочет он царству своему и народу своему. Светом просвещения озаряет он землю свою. Аки вол гнет он выю свою царскую над черною работою. Далеко провидит око его. Но он — человек, плоть от плоти народа своего и кость от костей его. Как человек — он ошибается, слепотствует, делает зло там, где хочет добра, хочет жать там, где не сеял, и рыбу ловить хочет, не соплетши мрежей. Как человек — он грешит грехами многими, льет кровь там, где потребно слово ласковое, ноздри рвет у того, кому кусок хлеба дать повинен, кнутом полосует спину у того, кому он повинен приодеть эту спину нагую всем непогодам открытую... И я молюсь за него — человек бо есть...

С благоговением слушал Левин эти тихие, скорбные, но теплые речи старого святителя, и засохшее сердце его размягчалось, таяло, к горлу подступали слезы.

— Научи меня, святой отец, — шептал он.

— Смирись, смирись, смирись... И я не умел прежде смиряться, сын мой... Сквозь душу мою прошел

меч, когда я всенародно должен был предать анафеме друга моего, гетмана Мазепу... Ведал я, что не хотел он зла царю, за край родной поднял он свою старую десницу, за землю дорогую боялся, за народ украинский, за пещеры киевские... Он боялся, что осквернят их... Я плакал, когда возглашал анафему, но я смирился — возгласил — и не онемел язык мой, не ссохлась гортань моя... Я молился за царя, в деснице его миллионы душ человеческих, и в этой же деснице меч, которым он властен пронзить сердце миллионам, воду превратить в кровь, землю — в пустыню... И я трепетно молюсь за царя, чтобы Бог снял покров с очей его.

В это время на полу кабинета, в котором митрополит беседовал с Левиным, послышалась возня и какой-то писк. Левин оглянулся по направлению шума и с испугом вскочил, а митрополит кротко улыбнулся.

В дверях, ведущих в следующую комнату, на полу ежился и фыркал какой-то зверек, величиною с кошку, только круглее, а на него нападала сорока.

Левин смотрел изумленными глазами и ничего не понимал.

— Что, бедный бабась, обижают тебя? — сказал митрополит ласково.

Зверек завозился, силясь пробраться вперед, а сорока еще с большей запальчивостью наскакивала на него, распустив крылья.

— Ах ты, разбойница! Московка эдакая! Что ты его поедом ешь? — продолжал Стефан.

И старик встал, подошел к сороке, которая и против него ощетинилась, поймал ее за нос и отвел в сторону.

— Ну, иди, бедненький бабасю, не бойся, я не дам.

И зверек стал тереться около ног старика, а соро-

ка, по-видимому обиженная, уселась на ручку кресла и стала рассматривать Левина.

— Вот, — сказал митрополит, — мои друзья, земляки: это — бабак, сурок по-московски, мне привезли его из Малороссии маленьким, он вырос у меня, и напоминает мне собой наши милые украинские степи... Как свиснет, так мне и представится степь, а по ней скриплят возы чумацкие... Так-то тепло на душе станет... А вот эта разбойница, — старик указал на сороку, — напоминает мне Нежин, детство... А здесь, сам знаешь, и сорок-то нет, одни галки да вороны.

И у Левина защемило сердце, он тоже вспомнил родную сторону, весну с ее грачами и жаворонками, крик потатуйки у сухого пня, добрые глаза дьячка Турвона...

— Вот на сей токмо обиде я плачусь на царя, сын мой, — продолжал старый митрополит, гладя сурка: зачем он отнял меня у Малороссии и Малороссию у меня отнял?.. Я бы рад уйти за Днепр, в польскую Украйну, только бы поближе к солнцу, к Богу. Так нет, не пускает.

Задушевная беседа старика окончательно размягчила сердце Левина. Он смотрел с благоговением и любовью на этого маститого святителя русской земли, который и на высоте своего государственного положения сохранил молодую свежесть сердца и нежную отзывчивость на все доброе и благое. Лаская «бабася», делая внушения «сороке-московке», старый сановник становился еще симпатичнее в глазах изверившегося в людей Левина.

Дверь кабинета отворилась и на пороге показался келейник митрополита.

— Что, Машкарин? — спросил митрополит.

— Епископ Феофан, — отвечал тот, низко кланяясь.

— А!.. Епископ Феофан Прокопович... проси.

Келейник скрылся.

— Прокопенко... златоустие царево и усерязь многоценна, на ушке царевом висяща, — бормотал старик с видимым неудовольствием.

Левин встал и начал откланиваться, прося благословения.

— Заходи ко мне, будут старцы из Соловецкого, от них ты узнаешь нечто, — сказал митрополит, благословляя Левина.

. . . .

Через несколько дней Левин снова явился к митрополиту. Последний казался возбужденным. Стоя у аналоя, на котором лежала толстая ветхая книга, он, скатывая между пальцами маленькие восковые катышки, приклеивал их то там, то здесь на полях книги и раздраженно бормотал: «Ишь он, умник... Извеся язык, аки пес в спожинки, на свой хвост червивый лает... Мы-де сами по себе, а вселенские патриархи сами по себе... Ишь Прокопенко! Понура свинья, а глыбоко землю рое... Под корень древо великое роет Прокопенко... Я ему докажу из Писания, испятнаю всю книгу...»

Заметив Левина, старик ласково обратился к нему.

— Ну, что, сын мой? Какие мысли Господь на душу положил тебе?

— Не быть в Соловках мне, владыко.

— Не быть? Что же так?

— Душу свою боюсь погубить там.

— А!.. Так видал соловецких старцев.

— Видал, владыко.

— И трепет нападе на тя? И кости твои смятошася?

— Смятеся душа моя, владыко святый... Старец Аксентьев Богом живым заклинал меня бежати со-

блазна соловецкого. «Для Бога! — говорит. — Не для чего туда идти! Монастырь весь разбежался-де по лесам и по пустыням, а остались-де только монахи моты и пьяницы, потому-де что прислано отсюда монахов три человека, и стали-де приводить, чтоб мясо ели, а попы бы-де подбривали усы, чтоб-де святые тайны принимать не помешательно, а дьяконы-де бороды и усы вкружало держали бы, а дьячки-б де бороды и усы брили, а с икон-де со всех оклады и приклады собирали и запечатали и отдали под сохранение».

Левин говорил дрожащим голосом. Еще одна вера разбивалась в нем, а на обломках ее становился тот страшный образ, из уст которого вылетели грозные слова: «О, бородачи! Бородачи! Доберусь я до вас!»

— Так, так, — говорил митрополит, выслушав Левина. — Я знал это... Прокопенко и не до того доведет... Верно ему в Риме папежи хвост прищемили, и он теперь на иконы лает... Что ж ты думаешь делать? — спросил он, силясь успокоиться.

— Поищу незнатного монастыря, бедного. В пустыне, может, скроюсь, может звери лучше людей.

— Не говори — не говори так, сын мой, не гневи Бога: есть у него хорошие люди... Много на земле хороших людей, добрых, ангелам подобных... Забуду ли друга моего и искреннего моего Димитрия, митрополита ростовского? С той поры как я знавал его еще маленьким Данилкою, Даньком Тупталою, когда мы с ним бывало отыскивали под Киевом гнезда сизоворонок и когда уже потом писал он свои Четьи-Минеи, с юных ногтей и до немощной старости был он святым человеком. Нет, много хороших людей знавал я на своем веку. Найдешь и ты их, сын мой. А в Киев, в Печерский монастырь не хочешь? — спросил старик, помолчав.

— Боюсь, отец святой, — отвечал Левин.

— Чего боишься?

— Смущен буду духом... Думать стану, не утерплю, к старикам ее зайду... Следы ног ее буду отыскивать на берегу Днепра... Нет, владыко...

— Воистину — воистину...

И старик задумался. На краю гроба живучая память воскрешала перед ним и зеленую леваду, и тихую ночь, и запах любистка... Память молодости ведь и в гробовую крышку стучится...

— Так иди в пустыню... Жаль мне тебя, полюбился ты мне как сын родной, которого у меня не было, — говорил старик со слезами на глазах.

И он не замечал даже, отдавшись своим далеким воспоминаниям, как скромный сурок, стащив где-то старые митрополичьи четки, волок их по полу, а сорока напрасно силилась отнять их от него.

— Жаль, жаль... прискорбна душа моя...

А на дворе такой яркий день, такое жаркое весеннее солнце, хоть бы и не в Петербурге.

«В лес, в пустыню безлюдную, под солнышко Божье», заговорило в душе Левина страстное желанье при виде света и солнца.

ГЛАВА XIX

В Муромских лесах

Величественную, внушительную, строго настраивающую воображение картину представляют Муромские леса. Не стой за историческими плечами этого великого бора столько народных, исторических и легендарных представлений, не будь на его прошлом столько ярких красок, не стирающихся тысячи лет, не рисуйся в его тысячелетнем синодике такие покойники, как Илья Муромец, бессмертный пестун всего русского народа, как Кудеяр, тоже не умирающий доселе народный герой, не будь наконец имя этого бора пронесено по лицу всей русской земли вместе с памятью о каких-то безымянных, почти мифических образах «разбойников Муромских лесов», — Муромские леса и без этого предрасполагающего к себе прошедшего одним видом своим побеждают вас, подавляют чем-то массивным, необъятным. Как перед всем, что грандиозно и могуче, вы невольно останавливаетесь перед этим богатырем-бором и чувствуете с одной стороны его силу и ваше бессилие, с другой—желание противопоставить ваше бессилие его силе, померяться с ним...

Вон по этому грозному бору между гигантскими елями, раскинувшими свои многочисленные мохнатые руки, по извилистой дорожке, то красно-песчаной и чистой, то темной, усеянной черными чешуйчатыми шишками и колючими иглами, пробираются двое прохожих.

Летнее утро так ярко, но, посыпая золотом зеленые верхушки бора, делая бирюзу неба еще гуще и глубже, солнце не доходит до самой глубины леса, до ног этого великана, упирающихся в красно-песча-

ную землю. В глубине бора прохладно и сыро. Птицы радуются летнему, яркому утру только в вершинах леса, а внизу изредка простучит желна или дятел в сухую кору старого, умирающего медленно, великана-дуба, да шлаква, спугнутая треском ломающегося валежника, иногда шарахнется в сторону, болтая своими неуклюжими крыльями, и снова падает в гущину бора.

Торжественная, подмывающая тишина, вызывающая думы и грезы...

Думается—столетиями назад, глубью времен, когда лес этот все так же был тих и безмолвен.

Проносятся века над этими борами, почти не задевая их, и мысль проносится над ними, воссоздавая их прошлое, богатое образами...

Странники идут молча, задумчиво, с длинными палками в руках и котомками за спинами, словно этими палками они меряют свой далекий путь, а в котомках несут свое прошлое с его легковесными радостями и тяжеловесными горями...

Старший из них кажется очень ветхим, очень потертым жизнью, но потертость его напоминает гладкую поверхность валуна, крепкого, неподатливого, из которого другой кремень или железо легко могут выбить яркую, воспламеняющую искру. Искра эта сама выбивается из маленьких, задумчиво-спокойных глаз, зорко выглядывающих из-под навеса седых бровей. Видно, что перед этими глазами прошло многое такое, что заставило бы другие глаза закрыться от жалости или ужаса. И над седою головою пронеслось немало событий, как над темным бором, который никому не рассказывает своих тайн... Старик одет в длинное черное полукафтанье, напоминающее затрапезную одежду рясофорного чернеца. Седая борода ярко вырисовывается на этом черном фоне.

Младший — высокий, плечистый, но исхудалый мужчина лет за сорок или больше. На бледном лице его лежит какая-то внутренняя тревога, сказывающаяся в больших, черных с расширенными зрачками глазах. На нем — полувоенное одеяние. На задках сапог блестят заржавевшие местами шпоры. Бритая, но покрывшаяся щетиной, борода придает болезненность и без того не цветному лицу путника.

Они идут в чащу. Бор становится все мрачнее и мрачнее, но зато тем более червонным золотом брызжет солнце на вершины леса и тем глубже и бирюзовее становится небо в просветах темной зелени.

— Хорошо здесь, — сказал, наконец, младший путник, от глубины леса перенося глаза к голубому просвету. — Такова ли и пустыня?

— Пустыня прекраснее будет не в пример, — отвечал старик. — Это — дебри, храм тихого безмолвия, владычествие грозного Бога. А тамотка — райское приятство: сами ангелы по травушке-муравушке да над кудрявыми кусточками аки метыли крылышками повевают... Цветики алые и лазоревые растут — лелеются, крины-то сельные, евангельские. Птица всякая это щебечет, голос подает, говор свой в пустынюшке распущает.

— А далеко еще?

— Нет уж, недалече. Али притомился?

— Ноги-то хоть и подшибаются, а душу вперед тянет.

— Истинно, истинно: ноженьки-то подшибаются, за душенькой не угоняются... Так-то и мои старые ноги: им бы и угомон пора, да душа-то угомону не знает. Сем-ка отдохнем.

— Пожалуй.

Они присели под развесистой елью на выдавшиеся из земли, покрытые мохом, коренья.

Тишина казалась еще торжественнее. Перемежа-

ющийся стук дятла в кору дерева гулко отдавался по лесу. Отщепленные им кусочки коры упали на колени старика. Он поднял голову и лицо его осветилось улыбкой.

— Ишь ты, пичуга малая тоже хлебец себе добывает, — сказал он любовно. — Ох ты пустынник этакий, птичина Божья... И не скучает ведь тут. Детки у него, поди, малые есть просят... Тоже ведь своя семья, свои заботы... О-о-хо-хо! Да за то воля — ни подушного окладу, ни гривны за бороду да за неуказное платье не платить.

Слушая добродушное бормотанье старика, младший путник грустно улыбался.

Вдруг, в стороне, в гуще леса послышался треск валежника, как будто бы шло что-то очень тяжелое. Путники стали прислушиваться. Треск повторился, ясно, что это хрустело под чьими-то ногами.

— Не люди ли? — тихо, шепотом произнес младший путник.

— Нет... не человек то, — также тихо отвечал старик.

— Нешто зверь?

— Да. Знаком мне этот хряст. Это медведь идет.

Они начали приглядываться по направлению треска.

— Что-то черное мельтешит, — сказал младший.

— Он и есть. А куда идет?

— Да прямо будто бы на нас.

На лице младшего путника написан был испуг. Старик был спокойнее.

— Не пужайся, — сказал он. — Бог милостив. Я знаю, как прогнать зверя, набил руку, мыкаючись по дебрям и пустыням. Только станем так, чтоб он не заметил нас.

Они стали между стволами елей, густо переплетенных хмелем.

Треск приближался. Бесстрашный дятел продолжал долбить своим долотом, как бы исполняя заданный урок. Откуда-то выскочил заяц, поковылял вперед, но вдруг шарахнулся вбок и исчез в одно мгновение.

Треск все ближе и ближе. Слышно кажется чье-то тяжелое дыхание. Перестал и дятел долбить, точно ждет, что будет.

— Не пугайся, — шепнул старик, — я завою.

И вдруг раздался странный, протяжный, словно жалобный волчий вой. Треск валежника сразу оборвался. Из-за листвы хмеля можно было видеть, как в нескольких десятках шагов, между двумя стволами деревьев темнела массивная голова, поводя ушами.

Вой повторился, еще жалобнее, потом другим тоном, третьим...

Грузное туловище медведя быстро перевернулось, и послышался усиленный хруст сухого валежника.

— Бежал дурачок, — сказал старик улыбаясь.

Младший широко перекрестился и вздохнул самой глубью груди.

— Здоровешенек, да глупешенек, — продолжал старик, — сразу испужался, малый, думает, стая голодных волков. А он парень не из ловких.

— Да, Бог спас. Теперь бы скорей и к жилью, а то неровен час.

— Добре. Идем.

И путники снова пошли по тропе в глубь бора. Бор становился все мрачнее, угрюмее, тенистее. Не слышно было ни дятла, ни желны. Стволы деревьев гуще и гуще прижимались друг к другу.

— Эх, вертепа ты, вертепушка Божья! Дебря ты беспросветная! — бормотал старик как бы сам с собою. — Вспоминал я о тебе, великой темной дeберушке, во пещерах киевских.

И снова умолкал. Поэтическое чутье могучести и красоты природы, как видно, будило в старике какие-то воспоминанья.

— Мощи там в пещерах лежат угодничка Божия преподобного Ильи Муромца... Чай, видел? — спросил старик.

— Как же, прикладывался к ним.

— Вспомнились они мне вот тут, в этой дебри муромской... Должно, угодничек святой Илья здесь хаживал, маливался, може, во вертепе этой.

Что-то ударило его по голове и скатилось на земь.

— Что это? А! Еловая шишечка, хоть и не Макар я, кажись.

Еловая шишка снова упала. Старик поднял голову. На нижних ветвях ели скакала белка.

— А! Это ты, вструха, мечешь в меня шишками... Ишь скачет дурашка — и веселехонька, поди ты... О-о-хо-хо! Как-то все Господь премудро устроил... Вот она себе скачет тут по веточкам, — и нуждушки ей нет до того, что люди делают, что-то творится в Москве-матушке, что в Питере поделывается, какие там батюшка царь Петр Алексеевич новые вавилоны затевает... Скачет она, зверина малая, — и довольна, коли орешек найдет, — и завидушки-то у ней нету, жадности этой, что у человека, оком бы несытым и несытым сердцем все пожрал и у друга-недруга кусок бы из горла отнял, да не с голоду, а с того, что у самого лари и клети от богачества ломятся... Э-э-хе-хе! Житие ты человеческое, житие плачевное... А белочке Божьей и горюшка нету.

Но вот лес начал редеть. Чаще и чаще становились прогалины, светлее становилось кругом, голубые просветы над бором расширились, солнце заглядывало глубже и глубже в разредевшую чащу.

Вон и поляна вырисовалась из-за чащи. Одна половина поляны и лес облиты лучами солнца.

На поляне, из-за деревьев, виднелись строения. Вился белый дымок к небу.

Присутствие жизни сказалось сразу, во всем: то затявкает собака, то прокричит петух. И лесные птицы стали как будто говорливее, когда выбрались из мрачного дремучего бора.

Где-то глухо, гнусливо прокуковала кукушка. Кобчик, маленький хищник ястребиной породы, задорно и звонко кикикает, гоняясь за каркающей вороной.

Золотистая иволга назойливо преследует неповоротливую сороку и сама же свистит и трещит, словно бы ее обижали, а не она.

Звуки жизни так и хлынули отовсюду, точно вырастали из земли, зарождались в воздухе.

— Вот и скиты — тихое пристанище, — сказал старик, отирая потный лоб.

— Слава Богу, пустыня, — отозвался младший его спутник.

— Давно я тут не был, — продолжал старший. — Поди, многое изменилось.

— А признают тебя, дедушка?

— Собаки не признают, чай, новенькие теперь, а люди, надо полагать так, признают.

— А как-то меня примут?

— Вестимо как: спервоначала с опаской, с искусом, а потом в свой закон введут, — без этого нельзя. Да закон у них русский, старый истовый закон и живут истово, не то что в проклятом Вавилоне-Питере.

Они вышли, наконец, на поляну. Широкая ровная поляна обнаруживала присутствие прочного и постоянного жилья человеческого. Деревянные избы, большие и малые, обнесенные заборами, и крытые навесы раскинулись по поляне, а некоторые хоронились одним боком в лесу.

Около одного двора звонко залаяла собака.

— А! Увидал пес чужого, — заметил старик, — теперь подымут лай.

И лай действительно поднялся.

В одном окне ближайшей избы показалось человеческое лицо и скрылось тотчас.

Подвигаясь далее, путники увидели, что на завалинке одной избы, стоящей влево от главной тропы, сидит мужик и крестит левой рукой гусят, которые паслись перед ним на зеленой лужайке. Около него стояла желтая собака с острою мордою и острыми ушами и лаяла словно по заказу, не двигаясь с места.

Путники приблизились к мужику.

— Господи Исусе Христе сыне Божий, помилуй нас! — сказал нараспев старший путник.

— Аминь, — отвечал мужик, немного подумав.

Путники подошли еще ближе. Собака перестала лаять.

— Януарий Антипыч в ските будет? — спросил старший путник.

— А вы что за люди? — в свою очередь спросил мужик, привстав с завалинки.

Тут только можно было увидеть, что правая рука у него была сухая, сведенная, она изгибалась назад.

— Странники мы, — отвечал старший путник.

— А как вы сюда-то попали? — допрашивал мужик, серые, слюдистые глаза которого с особенным недоверием останавливались на младшем путнике. — Кто вам дорогу указал?

— Господь указал, ему убо все пути ведоми.

Мужик видимо начинал подаваться.

— А каким крестом ты крестишься — неистовым? — продолжал он допрашивать.

Старик сложил большой палец с безыменным и мизинцем и перекрестился, сняв свою черную скуфейку.

— Истово — точно, по-нашему, — сказал мужик.

И собака дружелюбно замахала хвостом, точно и она одобряла истовое сложение перстов.

— А сотвори-тко молитву Исусову, — экзаменовал мужик.

Старик сотворил.

— Таперь верю, — обрадовался мужик. — Видишь вот мою правую-то руку?

— Вижу. Что она у тебя, родимый, усохла?

— Усохла, суху руку имам. А ты слушь-ка. Был я это еще махоньким, глупым дитей, неведником. Из Мурома я, значит, муромец, и Ильей зовут. Вот, сказывают, приходят это в избу к нам странники, а в избе только я один, малый ребенок. «Как, говорят, зовут тебя, малец?» — «Ильей», говорю. — «А, Илья-Муромец, богатырь, здравствуй-де», говорят. — «Нет ли, говорят, Илюша, у вас кваску или бражки, испить бы». — «Есть», говорю. — «Сбегай, наточи, говорят, ковшик, мы-де за тебя богу в Ерусалиме помолимся». — Побег я глупый, наточил, приношу... Перекрестились они это по-нашему, истово, выпили... А мне, глупышу, и невдомек, что они, калики-то перехожие, истово крестятся, как след. А я-то сам был от моих родителев никониянец, поповник, церковник, значит, — истового креста не знал.

— «А выпейка-ка, говорят калики, Илюша, сам ты, да перекрестись как след». — Я перекрестился неистовым крестом, никониянским, щепотью, у меня руку-то и свело... Я так и взревел... «Ну, говорят, Илюша, покарал тебя Бог за твоих родителев, будешь ты теперь весь век сухоручка». — Так и остался я сухоручкой. Вот каков он, неистовый крест-от, касатик!

— Ну так как же, Илюша, милый ты человек, Януарий-то Антипыч в ските обретается? — снова спросил старший путник, видя, что Илья Муромец,

кажись, маленько тово, глуповат от природы. — Можно его повидать?

Илья Муромец опять опешил. Он вспомнил, что по скитским правилам он должен быть дипломатичен с незнакомыми, осторожен.

— Да вы чьих будете? — спросил он растерянно.

— Мы страннички, пришли в вашу обитель на поклон к Януарий Антипычу, — отвечал старик, которому начинал уже надоедать бестолковый Илья Муромец.

— А ейная милость чьих? — опять спрашивал он, косясь на младшего путника.

— И он Божий. А ты вот что, Илюша, милый ты человек, проведи нас к Януарий Антипычу, а то поди и доложись ему, пришел-де старец Варсонофий самодруг и принес-де от Кузьмы Федотыча, с Мурома, поклон и грамотку.

— От Кузьмы Федотыча? Знаем, наш муромский человек именитый, — осклаблялся Илья Муромец.

— То-то же, так поди и доложись.

Илья Муромец опять замялся.

— Мы ничего не знаем... Может, ейная милость из приказу.

Его видимо смущали шпоры младшего путника.

Между тем через поляну с правой стороны шла женщина, которая вышла из калитки забора, окружавшего другую избу, полуспрятанную в лесу. Женщина была вся в черном.

Когда она подошла к беседовавшим, то из-под черного платочка, накинутого на голову, выглянуло молодое свеженькое личико. Черные с синеватыми большими белками глаза казались еще чернее по контрасту с волосами, выбившимися из-под платка на лоб и на виски: волоса эти были буквально красные, с таким нежным оттенком, что цвет их впадал в червонное золото.

Девушка поклонилась прохожим.

— Как бы нам повидать Януарий Антипыча, милая? — сказал старик. — Мы из Мурома, от Кузьмы Федотыча с грамоткой.

— А грамотка с вами, дедушка? — спросила она.

— При нас, милая.

И старик, сняв с головы скуфейку, вынул из-за подкладки ее вчетверо сложенную бумажку и подал девушке. Та взяла письмо и побежала к центральной большой избе с высоким забором и навесами. Калитка щелкнула щеколдой, и девушка скрылась внутри двора. Калитка снова захлопнулась.

— Евдокеюшка мигом смастерит — бой-девка, — заговорил Илья Муромец, снова повеселевший, — уж и девка же внезапная! Поискать такой — не найдешь. А начетчица, — уж и Господи! Всего семнадцатый годок пошел, либо восемнадцатый, а вычитывать по книгам такая мастерица, что зажмуря глаза видит, что в книге написано. И уж как начнет вычитывать, начнет, — инда волосы дыбом станут, особливо об антихристе о десятирожном звере, а то о бесе, как бес в рукомойник попал и креста испужался... А еще о трясавицах — девки, значит, эдакие простоволосые либо про алилуеву жену, как алилуева жена милосерда дите свое в печи сожгла... А то про Страшный суд начнет, как это рыба, котора рыба съела руку человечью — и та руку несет, котора ногу съела — ногу тащит, либо зверь — медведь, примером, который медведь человека задрал и съел, тот человека несет, а котора птица — ворона, сказать, — ненароком кость человечью затащила в лес, и та птица кость несет на суд... Уж и Господи ты Боже мой! Каких она страхов, эта Евдокеюшка, не вычитывает, все дочиста выложит... Уж такая девка скоропостижная, и сказать нельзя.

Простодушный Илья Муромец до того увлекся

слышанными от Евдокеюшки чудесами и страхами, что кажется никогда бы не кончил, если б калитка не отворилась и Евдокеюшка не позвала путников в горницу.

Читатель, конечно, давно догадался, что путники, явившиеся в муромские скита, были — старец Варсонофий или Никитушка Паломник, Агасферий тож, — и Левин.

ГЛАВА XX

Муромские скиты. Евдокеюшка

Главная изба муромского скита, в которую вступили старец Варсонофий и Левин, построена была из бревенчатого соснового лесу, с подклетью. Все окна ее выходили на двор и только одно, маленькое как крепостная зорница, выглядывало на поляну по направлению к Мурому. Оно было прорублено выше остальных окон и служило для раскольников наблюдательным постом.

В избу вела невысокая лестница, упиравшаяся в широкое крыльцо с навесом. На крыльце висел медный рукомойник, а около него полотенце с вышитым на нем красным осьмиконечным крестом. С крыльца ход был прямо в сени, широкие, во всю ширину сруба, и светлые, разделявшие избу на две половины, с правой стороны была молельня, с левой — жилые горницы.

Евдокеюшка ввела путников прямо в молельню.

Это была большая квадратная комната с четырьмя небольшими окнами, по два в соприкасающихся, выходящих на двор, стенах. Вдоль всех стен, исключая того места, где находилась русская печь, тянулись деревянные лавки. Все стены молельни увешаны были старинными, разных величин образами, иконописно мазанными на дереве, на них лежала печать ветхой, самой почтенной для раскольников старины — почернелость, закоптелость, мрачность; нечеловеческие и непременно суровые, отталкивающие, но не привлекающие лики с квадратными или узкими как у ацтеков лбами, с страшными, неестественно большими глазами, которые якобы все видят и за всем подсматривают, с кривыми или ненатурально пря-

мыми и длинными носами, все это не человечье, божественное, карающее, грубо пугающее. Это лики тех, которые должны быть страшны даже для трясавиц, девок простоволосых, для бесов, для аллилуевых жен, не то что для человека. Они — только карают и наказывают, и их надо молить только о помиловании: помилуй, помилуй, помилуй!

В одном углу — иконостас, такой же закоптелый, мрачный, грубый. Из него, из-за серебряных окладов выглядывают такие же суровые и еще более закоптелые святостью лики, где уже не различишь ни носов, ни глаз, ни лбов, — все черно, старо, потрескалось, отдает могильностью, склепом.

И от всей избы веет склепом, мертвечиной... Мигают лампадки, теплятся, отекают и плачут, — слезятся желтые восковые свечечки перед этими мертвыми, из могил выглядывающими ликами.

По избе ходит запах ладана, опять-таки как над мертвецом... Аналой в плисовой покрышке, в трауре... Грубый крест, словно из гроба выкопанный археологом. Евангелие в медной, грубой оправе. Какие-то могильные лоскуты... Все это словно выкопанное, отнятое у могил, украденное у времени, у смерти, как в музее Прохорова... Все могильное... Где же мертвец? Что он не лежит тут?

Нет, это не мертвец поправляет лампадку у образа... Соскочил с головы черный платочек, золотом блеснули рыжие волосы и длинная коса... Повернулась головка, блеснуло молодое, свежее, полное жизни личико с живыми глазками, это — Евдокеюшка. Какой страшный контраст со смертью!

Поправив лампадку, Евдокеюшка повернулась, поклонилась низко, низко какому-то старику, накинула платочек на голову и вышла.

Все это мгновенно, как видение, промелькнуло по сознанию Левина, когда он очутился в молельне.

Перед ними стоял высокий, белый как кипень, но прямой и бодрый старик.

— А! Варсонофьюшка! Здравствуй, здравствуй о Христе братец! — заговорил старик. — Сколько лет! Откуда и куда Бог несет?

— Из Питера к вам в святую обитель, а от вас в Ерусалим град забреду, по пути...

— По пути! Ох, ты Божий скороход, Боговы у тебя ноги, неустанные, — говорил старик, улыбаясь.

— А я к вам новичка привел, — сказал Варсонофий, показывая на Левина.

— Что ж, милости просим, всегда рады, — говорил старик, приветствуя гостя. — Побудь у нас в обители — тихо у нас, чисто. Завсегда рады. Поживешь с нами — не соскучишься, здесь вашей братьи много, всяких чинов людей. По нынешнему времю, только в нашей вере, здесь, в лесу, и спасенье обрящешь. Ныне царство антихристово, и вы, неведники, погибаете, аки мухи на мед во геенскую смолу летите. А поживешь у нас, я тебе всю тайну открою. А сам-то ты кто?

— Был гренадерского полку капитан Левин, а теперь просто Василий, — отвечал Левин.

Его давила обстановка. Он нашел больше чем ожидал. Из офицерской столичной обстановки — и вдруг в склеп могильный, в мрачную мужичью избу.

— Антихристу, значит, служил, за антихристову веру плоть свою на побиение отдавал, — заметил старик.

— Нет, дедушка, — зачем так неистово говорить? — возражал Левин, у которого разом пробудился дух отрицания, дворянский дух в мужичьей избе. — Не говори так, за таковых человек, которые побиени на службе за веру Христову да за царя законного, — за тех соборная апостольская церковь умоляет.

— Оно так. Да ныне царь незаконный, ныне антихристово царствие, — оспаривал старый расколоучитель.

— Ты говоришь — антихристово царствие, а я читал в книге, что антихрист родится от колена Гданова, от сущей девицы жидовки, — возражал Левин, тоже хлебнувший раскольничьей беллетристики и философии.

— Так да не так, — горячился раскольник. — Гдан родился от Якова, а от Гданова колена родился антихрист, от девицы жидовки сущей.

— Кто ж антихрист? — не поддавался Левин. — Я чол книгу Ефрема Сирина о последнем времени[25]. Написано в ней: «В последнее-де время будут многие антихристы и лжепророцы», а того, кто именно, не написано.

— Так да не так. Чол ты да не дочел. Ан написано, у Григорья Талицкого в тетрадках написано, вот в этих.

И раскольник показал ему засаленные пожелтевшие тетрадки.

— Слыхал и об Григорье Талицком, — упрямился Левин. — Может он не от божественного Писанья вывел, а из своей головы.

— Так да не так, — повторял свою любимую припевку в прениях старый раскольник, с которым никто не мог соспорить, — это Никон, б.......н сын, из своей головы, из своего поганого рта наблевал, а Григорий Талицкий бисеру многоценного пред нами свиниями насыпал, а мы его ногами попираем, — горячился изувер.

— Что ж, и Талицкий говорит, что который царь будет восьмым по порядку — тот и есть антихрист. А царей было много, не восемь.

— Так да не так. Восемь и есть: царь Иван Грозный — это раз, царь Федор — это два, царь Борис

— это три, царь — Шуйской — это четыре, царь Михаил Федорыч — это пять, царь Алексей Михайлыч — это шесть, царь Федор Алексеич — это семь, а за ним Петр — восьмой: он и есть антихрист.

Глаза старого раскольника блистали. Он торжествовал победу, — он был глубоко убежден, что ученый диспут его кончился торжеством, что противник его поражен, посрамлен и убежден.

— Что, не так ли, старина? — обратился он к Варсонофию, который молчал во время диспута и с удивлением смотрел на Левина. — Верно?

— Что и говорить! Ты, Януарий Антипыч, лих на божественном письме, тебя с этого коня не ссадишь, — отвечал Варсонофий.

— Так да не так, верно: сам Никон-еретик не ссадил бы.

— Как же ты говоришь, что он от колена Гданова родился? — продолжал критиковать Левин, которого возбуждала борьба. — А Петр, подлинно ведомо, родился от царя Алексея Михайловича и от царицы матери его, Натальи Кириловны.

— Так да не так, бабьи это враки. Он и высок, и персоною черен, и кудреват, аки жидовин сын девицы жидовки сущей, на царя Алексей Михайлыча и не смахивал.

— А разве ты видал царя Алексея Михайловича? Он давно помре.

— Так да не так. В прошлых годех, в последние лета царствования его, была на меня с братом причина за веру. Не мы одни в причине были, а и многие премудрые в вере учители. Так тогда я видал царя Алексей Михайлыча... Как были это мы с премудрыми учители, всего двенадцать человек, на Москву в патриарши приказ взяты за веру, как веруем мы, и за веру сожжено десять человек, а брат мой не сожжен для того, что принес вину, а я хотя и был

в оговоре и по тому оговору сыскан и пытан, да после с пытки Божиею помощью ушел. А до того оговору я торговал в Москве в котельном ряду в лавке, и был на Москве пожар, и после того пожару, как я бежал с пытки, брат мой и другие такие же сказали, будто я в тот пожар сгорел, а я не сгорел, а от розыску ушел с Москвы, и жил в Великом Новегороде, и в том Новегороде был пойман и сидел в архиерейском Приказе в той же вере, и с Приказу паки ушел в Муром сюда, а с Мурома в лес, где и построил сию обитель... Так мне ли не знать, что он — не сын царев, а жидовин, жидовки-девки сын, антихрист, и персоною юдоподобен, как этого Юду пишут на «тайной вечери», как он прямо в солоницу хлебом макает.

Неутомим был старый изувер. Неутомимым оказался и Левин.

— Я много раз видал Петра близко, как тебя вот, — говорил он. — Персоною он пошел, сказывают, в нарышкинскую породу, на Федора Кирилыча походит, да такая же крупная порода и Прозоровских князей. А что он в церковь ходит и святую литургию слушает, это мне подлинно ведомо.

— Эка важность! В церковь! А какова церковь-то у них, у церковников, у никониянцев? Нечистая! С Никона пошла церковная нечисть. Вот что! — горячился раскольник.

— Так, ладно. А что ты на это скажешь? В прошлых годах, как мать его царица Наталья Кирилловна немоществовала, и из Новодевичья монастыря во дворец принесен был образ Пресвятой Богородицы, и он, царь, тому образу молился со слезами.

Старый раскольник ехидно улыбался.

— Куда какую притчу сказываешь ты про Петра! — начал он насмешливо. — В книгах, чай, писано, что он, антихрист, лукав и к церкви прибежен будет

и ко всем милостив будет. А что он в церковь ходит — и в церквах ныне святости нет ни на маковую росинку, для того ему и не возбраняется. А чол ты тетрадь учителя Кузьмы Андреева, из Керженских лесов? Лихо на него, Петра, в тетрадке показано!

— Нет, не чол, — отвечал Левин.

— Да что тетрадки! Воочию видно. Намедни был у нас с Мурома человек, был в Питербурхе он, так сказывал про тамошние чудеса: собрал-де он, Петр, беглых солдат человек с двести и, поставя на колени, велел побить до смерти из пушки... Эко стало ноне христианам ругательство! Да что, полно! Говорить страшно...

— Ну, этого мы не видывали, — вмешался Варсонофий, — чтоб в солдат стреляли из пушки, а что лют на казни — это подлинно, сына своего родного царевич Алексей Петровича стерял, нареченную жену его Афрасинью Федоровну, должно полагать, утопил, Кикина, Афонасьева-Большого, Абрама Лопухина и других сказнил, Марьи Гаментовой голову в спирт положил, — это точно!

— Да что мотаться-то! — воскликнул Януарий. — Антихрист он, да и все тут! Приезжий человек из Питербурха сказывал, что он, Петр, у образа Господа Саваофа от венца отнял два рога да и положил коню под чрево.

— Как отнял и положил под чрево? — удивился Левин.

— Ну, как тебе растолковать? Ну, говорит, взял да и положил рога под чрево лошади... ну, и знай, как знаешь!

Левина начинало утомлять все это. Притом он устал от дороги, дурел от этого тяжелого воздуха наглухо закрытой избы, от этого промозглого дыму ладанного, от спора. Внешним образом, апатично, он начал как бы сдаваться. Он ждал чего-то более чистого, идеального.

— Да, тяжкое время настало, — сказал он в раздумьи. — Я сам ушел от него, службу бросил, ищу тихого пристанища.

— Ну и добре. Оставайся у нас, — обрадовался Януарий, видя, что стадо его увеличивается.

— Спасибо, Януарий Антипыч, за прием. Поосмотрюсь у вас, может, душа и прилепится к тихому пристанищу.

— Прилипнет, аки язык к гортани, — скаламбурил Варсонофий.

— Воистину, прилипнет... Только твои хожалые ноги нигде, кажись, не прилипнут, — отвечал раскольник.

— Прилипнут и оне когда-нибудь... к гробовой доске, — задумчиво сказал Варсонофий.

— Это точно что к гробовой досточке, липка она, ух как липка.

И раскольник истово перекрестился, взглянув на один из суровых ликов.

— А хотелось бы, — продолжал Варсонофий, — чтоб святая землица, пыль земли той, где ходили ножки Христовы, пристала к моим грешным ногам. Легче бы в гроб было ложиться с пылью-то этой.

— Может, Господь и приведет... Принеси-ка ин ты и мне щепоть землицы той, Варсонофьюшка, Бога для принеси, — говорил Януарий. — А сам уж я не дойду туда.

— Да у тебя стадо здесь, ты пастырь. А я, что я? — Я овца паршивая.

— Не говори, Варсонофьюшка, ты, може, больше Богу угодил, чем я моим глупым ученьем.

— Да что! Овца я, овца и есть, овца без стада. Бобыль я на белом свете. Было и мне прежде за кого молиться, а теперь — не за кого, за всех православных христиан. А тяжко это. Птица к гнезду своему летит, звери пещер своих ищут, лисы язвины имут,

а в язвинах деток своих обрящут. А я, аки прах в поле, ветром возмущаемый. Были у меня родичи по душе — царевич батюшка, что ласково таково звал меня Никитушкой Паломничком либо Агасферием, Афросиньюшка была, млада горлинка, Кикин благодетель — и все это водою мертвою, кровавою водою сплыло... Ну, и молись теперь за всех православных христиан.

— Что ж, дело хорошее, Божье.

— Ох, Божье, Божье! А Божье-то бывает и самому Богу невмоготу. И он, батюшка, в саду-то Гефсиманском восплакался: «Да мимо идет чаша сия». Тяжка, горька эта чаша.

— Зато слаще будет на том свете, — возражал раскольник.

— Будет, коли Бог сподобит. А все хотелось бы пожить на этом горьком свету... Хоть и бобылем ты остался, и душенька твоя обобылела, а как поглядишь на солнышко раннее, на речушку ясную, на травушку зеленую, — ну, и не бобылем себя видишь, и не хочется крышкою гробовою прикрываться... Уж так я, старая псица, бродить по свету обыкла.

Левин слушал и не слушал их. И его мысль бродила по свету. Из-за мрачных ликов выглядывали другие лики, светлые, а эти мрачные гнали их, заслоняли собою, ладаном дули в лицо им...

— Батюшка! Януар Антипыч! — прозвучал вдруг где-то серебристый голосок.

Левин вздрогнул.

— Пришли наши скитские послушать тебя, — продолжало звенеть серебро.

Левин понял, это серебро катилось из горлышка рыженькой Евдокеюшки, катилось и пело.

Евдокеюшка стояла у порога. Белая рожица ее стыдливо выглядывала из-под черного платочка. Золотая заплетенная жгутом коса нерешительно пере-

миналась в руках — голых по локти и белых, как только может быть бело тело у рыжих.

Старый учитель с любовью посмотрел на свою хорошенькую ученицу. Сухое лицо его, напоминавшее стенные лики, прояснилось, приняло человеческое выражение.

— Много пришло, Евдокеюшка? — спросил он.

— Много, батюшка Януар Антипыч.

— Свои?

— Все свои, Илюша всех перечол.

При имени Илюша она улыбнулась.

— Впусти их. Я сейчас выйду.

Евдокеюшка юркнула в дверь, словно воробей.

— Пришла паства божественного Писанья послушать, млека словесного от сосцов книжных напиться, — сказал раскольник важно.

— Дело доброе, Божье, — сказал в свою очередь Варсонофий.

— Не хотите ли послушать и вы буих словес моих? — спросил Януарий полускромно, полугордо.

— Как не послушать трубы звенящей? У тебя не сквернит из уст, — отпустил комплимент Варсонофий.

Раскольник захватил несколько книг и вышел на крыльцо. Вышли Левин и Варсонофий.

У крыльца толпились мужики и бабы. Последних было больше отчасти потому, что они больше падки на всякое ученье, особенно если в нем есть что-то таинственное, загадочное, увлекательное, а отчасти и потому, что более впечатлительные и восприимчивые чем мужчины, женщины, как и дети, тем с большею жадностью слушают рассказы, проповеди, сказки и всякие бредни; чем страшнее эти рассказы, чем невероятнее сказки. Жажда чудесного, жажда эффекта, как и жажда красоты — это более потребность женской природы, чем мужской. А уж кто же наска-

жет больше ужасов, как не дедушка Януар Антипыч?

И бабы жадно ждали выхода проповедника. В толпе их суетился Илья Муромец и рассказывал ужасы о трясавицах, девках простоволосых, о бесе в рукомойнике, об аллилуевой жене, любимые его рассказы.

Все замерли на местах, когда на крыльце показался Януарий Антипыч. Лицо его было торжественно. Седая голова и такая же раздвоенная борода просились на икону.

— Мир вам, православные! — произнес проповедник.

— Аминь! — отвечала толпа.

— Пришли послушать божественного Писания?

— Послушать, батюшка!

Януарий Антипыч перекрестился истовым крестом. И толпа подняла руки со сложенными сорочьим хвостом перстами и стала творить крестное знамение.

— Во имя Отца и Сына, и Святого духа, ныне и присно, и во веки веком! — возгласил учитель.

— Аминь! — отвечала куча.

— Слушайте! Внемлите! Вот книги божественные — Кирилла Иерусалимского», «Апокалипсис», «Маргарит»![26]

И он показывал книги, обращая к слушателям корешки и крышки.

— Я шлюся на божественное Писание, — продолжал он. — Слушайте! В мире антихрист народился, зверь десяторожный, с хоботом презельным. Рыкает оный зверь, аки лев, иский кого поглотити.

— Ох, Мати Божия! Богородушка, не выдай, — слышится в толпе.

— Нынче никто души своей не спасет, аще не придет к нам, христианам. А которые нынче живут в ми-

ре и помрут, и нам тех поминать не надо и не довлеет. А которые щепотью крестятся, неистово, никонианским буекрестием, и у тех на том свете черти будут на вечном огне пальцы перековывать в истовый крест.

И он высоко поднимал свою костлявую руку, показывая, как надо слагать персты.

— Вот истовый крест, смотрите! — кричал он. — А те, которые будут ходить в никонианские капища, в поповские церкви, сиречь, — и тех черти будут водить по горячим угольям. А которые табак проклятый нюхают и у тех черти будут ноздри рвать горящими щипцами. А которые мужики либо купцы брады бреют, и у таковых вместо волос, вырастут змеи-аспиды. А которые в немецком платье ходят, и на тех черти наденут медные горящие самовары, аки срачицу и порты. А которые бабы прядут в воскресенье, и тех черти заставят из песку веревки вить.

— Батюшка! Микола! Заступи! Не буду прясть, — слышится трусливое покаянье бабы.

— Слышали? — спрашивает проповедник.

— Слышали, батюшка.

— Теперь ступайте с Богом.

Толпа стала расходиться, низко кланяясь учителю.

Левин стоял на крыльце хмурый, задумчивый. Подняв глаза, он уловил взгляд Евдокеюшки, которая стояла на противоположной стороне крыльца, смущенно перебирая в руках лестовку.

Левину показалось, что на лице ее, освещенном солнцем, играет загадочная, лукавая улыбка.

«Над кем? Над чем?.. Неужели ж это то, чего я искал?..»

Он снова взглянул на Евдокеюшку. В глазах ее светилась уже такая доброта, что-то такое жалостли-

вое, участное, что по душе его как бы разом прошли светом и теплом, и глаза его давно умершей матери, такие ласковые, жалостливые, и глаза Оксаны, такие-такие... для них у него не нашлось точного эпитета...

ГЛАВА XXI

Фанатики-раскольники.

Прошло несколько дней со времени прибытия Левина и старца Варсонофия в муромский скит. Первая проповедь Януария Антипыча произвела на Левина смутное, подавляющее впечатление. Что в ней не удовлетворяло его, на какие вопросы его духа и сердца не отвечала она, во что должен был вылиться идеал, которого по-видимому искал он, — он сам не мог уяснить себе этого. Чувствовалось только, что все это как-то узко, не то, не так...

Когда он сообщил свои недоразумения Варсонофию, тот отвечал:

— И тебе, друг мой, и мне этого наперстка воды — мало, ковшом воду живу пить хощем мы, из самого кладезя, из езера, из океана, може, целого, а воробью и из наперстка много... Воробьи, они, друг мой, которые сюда летают воду живу пити.

В это время в скит пришли новые странники, из олонецких и вологодских лесов. Это были два старика и один молодой парень, худой, бледный, но с необыкновенно выразительным лицом, зеленые глаза его отдавали каким-то фанатическим блеском. В муромском скиту, как видно, их уже прежде знали и встретили, как дорогих гостей. Все скитники как из мужских, так и из женских келий собрались на майдане — род небольшой площади перед домом учителя Януария Антипыча. Кто сидел на завалинке, кто на земле, на траве, иные ходили, разговаривали.

На толстом, гладко обтесанном обрубке сидела ветхая, слепая старуха, которую вывела из кельи Евдокеюшка и усадила бережно на этом обрубке, вытесанном из столетнего дуба специально для сиде-

ния. О старухе, которую все, не исключая и Януария Антипыча, называли «баушкой Касьяновной», говорили, что ей больше 125-ти лет от роду. Сама она рассказывала, может быть и припутывая лишнее от старости, будто бы она своими собственными глазынками, тогда еще молодыми и зрячими, видала вора Гришку Отрепьева, что у вора Гришки Отрепьева была бородавка с ядреную горошину и жрал он, вор, по пятницам телятину, а Маришку его безбожницу она видела, как она, Маришка-безбожница, сорокою сидела на кресте церкви Василия Блаженного и как тот крест от того Маришкина сиденья пламенем воспламенился, и у той у сороки тем огнем ноги пожгло. И видала она, баушка Касьяновна, как еретик Никонишко божественную литургию литургисал у Ефимья, и литургисачи божественную литургию, тот еретик Никонишко проклятый табачище у престола нюхал, и которою ноздрею он, еретик Никонишко, потянет табак, и из той ноздри огнь исхождаше, и в том огне беси малые летают, аки комары, а образом люти и свирепи, плещуще руками и поюще: «Восплещем, восплещем! Никон проклятое зелье нюхает, что из утробы блудницы выросло»...

Около баушки Касьяновны стояла Евдокеюшка с дебелой, круглолицей и курносоватой Агафьей, стряпкой Януар Антипыча, о которой рассказывали злые скитницы, что Януар Антипыч очень ее жалует за то, что если-де Бог пошлет глад на обитель святую, то всю-де святую обитель можно будет напитать млеком добродных сосцов матери Агапии, аки манною.

— Уж и постник какой великий, девынька, сказывают, — говорила мать Агапия, положив свои мясистые руки на живот велий свой, словно на аналой, — уж такой постник Азарьюшко-млад, что Великим постом, сказывают, по одной просвирочке ест в день, — в чем только и душа его держится.

— Да и худ же он, бедненький, — соглашалась Евдокеюшка.

— Что ж мудреного, что, бают, в сониях видит? На голодное-то брюхо чего-чего не приверзится, знамо дело, — рассуждала мать Агапия.

— Что ты, матушка! Он святое видит в тонце сне, а не греховное, — возражала Евдокеюшка.

— Ты что о толокне-то, Евдокеюшка, баишь? — вмешалась глухая баушка Касьяновна.

— Что вы, баушка, о каком толокне? — засмеялась Евдокеюшка. — Я говорю, баушка, о тонце сне, коли в сониях видения бывают.

— То-то, то-то... А я уж думала, что толокна у нас не хватит до нового.

И старуха закашлялась.

— А какие страхи вологодски-то странники ноне рассказывали, — продолжала мать Агапия, — волосушки дыбом становятся.

— Об антихристе-то? — спросила Евдокеюшка.

— Ну, это само собой. А то бают, что скитники там жгутся.

— Как?

— Телеса свои жгут, девынька. Запрутся это в кельях, обложатся паклею да стружками, да и подожгут это сами себя, полымя-то их охватит, келья горит свечечкой, а они-то все поют, все поют божественное, покуль душеньки с полымем не вылетят. Так на божественном и помирают — и стар и млад.

— Ох, страхи Господни! — вскрикнула Евдокеюшка, побледнев.

Действительно, пришедшие из вологодских и олонецких скитов три странника, два старика и Азарьюшка-млад, тот худой парень с зелеными глазами, которого мать Агапия называла постником великим, рассказывали ужасы неисповедимые: якобы-де из Питера, от самого Сатаны Луцыферыча, при-

сланы аггелы в образех гарнодер, с гарнодерским капитаном, и у тех-де гарнодерушек указы все печатные, за печатью самого Сатаны Луцыпёрыча, серою горючею те указы припечатаны, кровию Иуды христопродавца подписаны, жупелом присыпаны, и в тех-де указах прописано-пропечатано, что Сатана-де Луцыперыч указал христианам бороды брить, немецкое платье носить, табак богомерзский пить и щепотью, мать моя, креститься. И как пришли-де те аггелы в гарнодерском образе, команда большущая, а с ними доказчик подьячий Микишка Стромилов, и подступила та команда ко святой обители с гласом велиим: «Выползайте-де, паршивые, тараканы запечные! Выходи-де, плесень огурешная!» Так, мать моя, и обозвали этими словами старцев святых. «Из-за вас-де, сволочь, начальство нас по болотам да по трясинам день и ночь гоняет». А святые-де скитнички, старцы говорят: «Не хотим-де слушать указов проклятых самого Сатаны Луцыперыча, лучше-де хотим смерть мученическую принять, чем бороды отдать на поругание». И запершись это скитнички в обители, затеплили все лампадушки у святых иконушек, взяли зажженные свечки в свои рученьки левые, а правыми крестное знамение творят, запели это стих божественский, да зажгомши, матынька моя, обитель святую, — так и погорели все, золою святою стали...

— И золу эту самую, девынька, Азарушка-млад на кресте ноне носит с собой и всем показывает, — говорила Агафья Евдокеюшке, которая вся дрожала.

И действительно, молодой парень с зелеными фанатичными глазами, говоривший в это время с Левиным, сильно жестикулировал, и, расстегнув ворот своей рубахи, вынул из-за пазухи гайтан и показал что-то завернутое в тряпочке.

Левин с ужасом отшатнулся.

— Что это? — спросил он, указывая на какие-то обуглившиеся кусочки.

— Это зола от угодничков, а это — персты нетленные, — отвечал парень.

— Чьи персты?

— Скитничков-угодничков, что погорели.

— Где ж ты их достал?

— На пожарище. Когда скит-то жгли угоднички, я в ту пору отлучился из скита. Прихожу назад, подхожу это трясобинкой, лесом дремучиим, с задов, и слышу шум у скита-то. Я и подполз близко, притаился, гляжу что будет. Вот и вижу я — бесы во образе гарнодер, аггелы бесовские, повелевают, чтобы скит отворили. Наши не отворяют. Бесы ломются, грозят. Вот и вижу я: загорелось внутре скита, полыхнуло полымем, а в скиту-то самом слышу пение ангельское.

— Кто ж это пел?

— Наши — скитские... Да так с пением-то божественским и погорели. А бесы стоят да главами помавают: боятся вить они крестного знаменья, а паче — стиха божественного. Как сгинули это бесы, провалились скрозь землю, я и ну заливать остаточки-то скита, ничего не осталось, угольки одни, да зола святая от телес братии моей. И начал я эту золу раскапывать с молитвою, коли гляжу: лежит рука правая, вся обгорелая, одни косточки. И — оле дива ужаса исполненна! Рученька-то лежит так, что персты, косточки-то черные, сложены истово: большой перст с двумя меньшими, так и сгорел, значит, угодничек, не хотел щепотью душу погубить... Вот, вот эти персты...

И парень совал Левину обуглившиеся кости. Левина била лихорадка.

— Покажи, Азарьюшка, покажь, родной, каки таки святые косточки? — лез к нему неугомонный Илья.

— Вот они — на, прикладывайся.

Илья Муромец перекрестился левой рукой и приложился губами к золе и к обуглившимся костям.

— Ишь Господь сподобил, — осклабился он. — Отродясь мощей не видывал.

— Как не видывал? — спросил Януарий, стоявший тут же.

— Вестимо, не видал заправских, — отвечал Илья не смущаясь.

— А у нас в молельне, в кресте? Али то не мощи?

— То, батюшка Януар Антипыч, мощи нетленны, для виду, значит, одного, а это заправские мощи, от самого, сказать бы, от тела.

— Дурак ты, дурак и есть, — оборвал его старик.

А в стороне, у завалинки, бабы обступили олонецкого странничка Пафнутия и слушают его монотонное пение, не то тягучий речитатив, наводящий тоску одним своим безжизненным унисоном.

«Как родился Христос в Вифлееме, как крестился наш Спас в Иордане, антихристы — жиды его замечали, злой смерти его предать возжелали. И кидался Христос во келейку, к аллилуевой жене милосердой. Аллилуева жена печку топит, на руках-то ребеночка держит. Как возговорит к ней Христос Владыка: «Ох ты гой еси, аллилуева жена милосерда! Кидай ты свое детище во печь, во пламя, примай меня царя небесного на белы руки». Аллилуева жена милосерда свое чадо во огнь, во пламя кидала, Христа на руки примала. Прибежали тут жиды-архиреи, антихристы злые фарисеи, говорили аллилуевой жене пристрастно: «Ох ты гой еси, аллилуева жена молодая, ты куда Христа схоронила?» Возговорит им аллилуева жена молодая: «Кинула-де я Христа во пещь, во пламя». Жидове, книжницы, архиреи, антихристы злые фарисеи, подходили к печке, заглянули, аллилуева младенца в печке увидали, заскакали они, заплясали, печку заслонкою закрывали...

— Ах, они, окаянные! — не выдержала одна баба сердобольная.

— Дите-то малое в печке жечь, матыньки!

— А ты-ка, Оринушка, слушай, что дальше-то будет.

Странничек, не переменяя голоса, продолжал:

«В ту пору петухи запели-закричали, жиды антихристы сгинули-пропали. Аллилуева жена заслон отворяла, слезно плакала-причитала: «Уж как и грешница я согрешила! Чадо свое в огне погубила!» Как возговорит ей Христос царь небесный: «Ох ты гой еси, аллилуева жена милосерда! Загляни-ко ты во печь, во пламя». — И увидала она в печи вертоград прекрасный, в вертограде травынька-муравынька, во травыньке ее чадо гуляет, с ангелами песни воспевает, золотую книгу евангельску читает, за отца, за мать Бога молит»...

— Вот я тебе говорила, Оринушка.

— Что ж ты мне, мать моя, говорила?

— Что дите не сгорит, вот и не сгорело.

А унисон все тянет за душу, становясь безотраднее и безотраднее:

«Как возговорит Христос Царь небесный:
Ох ты гой еси, аллилуева жена милосерда,
Ты скажи Мою волю всем людям,
Всем православным христианам,
Чтобы ради Меня они в огонь кидалися,
И кидали б в огонь младенцев безгрешных»...

— Матушка! Богородушка! Укрой!

— Ох, матыньки!

— Ой, последни денечки!

А страшный унисон все тянет:

«Погорите-пострадайте за имя Христово,
Не давайтесь вы во прелесть зверину,
Во прелесть зверину, во антихристову.
Что антихрист взял силу большую,

Погубит он веру Христову,
Что поставит свою веру злую,
Он брады брить повелевает,
Креститься щепотью завещает»...

— И приходит это он, мать моя, антихрист-от, к ей, к Варваре, в образе вьюноши, и говорит это вьюнош млад ей, Варваре-то: «Варварушка, говорит, дай водицы испить». Вот как это она дала ему водицы, а он, мать моя, возьми да и выпей без крестного знаменья, да как засмеется, и говорит: «Будешь ты теперь, Варварушка, помнить меня». И с тех пор, мать моя, стало у Варвары живот пучить, разнесло во как! — слышится в соседней кучке бабье соболезнованье.

— А он что, антихрист-от, девынька?

— Ему что псу эдакому поделается? Взял да и провалился сквозь землю... О-о-охо-хо!

— А Варваре, поди, придется рожать?

— Знамо... Да каково от беса-то рожать?

И везде только и слышно: бес да антихрист, да во образе змия, да во образе зверя, последние дни да Страшный суд... Жизнь полна ужасов, да и на том свете огонь, смола, горячие сковороды, черти...

Один унисон умолкает, а вместо него слышится другой голос, не старческий, а молодой, страстный. Это поет Азарьюшка, спрятавший уже за пазуху золу и обгорелые пальцы фанатиков:

«Не сдавайтесь, мои светы,
Тому змию седмиглаву,
Вы бегите во пустыни,
Во темны леса дремучи,
Вы костры в лесу поставьте,
Горючой насыпьте серы,
Телеса свои сожгите»...

— Что ж, и сожгем, коли время придет, — говорит мрачно старый Януарий.

— Не сдадимся! — слышатся мужские голоса. — Гореть, так гореть за веру, за бороду.

— Не сдавайся, братцы! — раздается скрипучий голос Ильи Муромца.

— Ох, светы мои! Ох, детушки!

Истуканом стоит хорошенькая Евдокеюшка, бледная, неподвижная. Золотые волосы ее кажутся горящими от лучей солнца, которое, скрываясь за муромский лес, брызнуло на скит целым снопом света. От последних возгласов мужиков и баб девушка вздрагивает и хватается рукою за сердце.

Евдокеюшка, где ты? Что это кричат мужики, — спрашивает испуганно слепая баушка Касьяновна. Девушка не слышит.

— Что за крик? уж не Стеньку-ли Разина привезли на Москву казнить? Евдокеюшка! — взывает обезумевшая от старости старуха.

Девушка нагибается над ней.

— Я здесь, баушка, — говорит она.

— Что это? Дождик идет? Вона на меня капнуло... что это?.. Да теплый какой, — бормочет старуха.

Не дождик это был, то были слезы Евдокеюшки. Когда она нагнулась над старухой, брызнули слезы, да такие теплые, горячие... Их-то слепая и приняла за дождь...

Старое, онемевшее сердце ничего не чуяло. Чуяло сердце молодое, — и чуялось ему что-то недоброе.

Левин также вздрогнул при последних диких возгласах скитников. Взглянув на Евдокеюшку, он увидел, что она плачет, и сердце его сдавилось страхом и болью. Вчера еще она была такая веселая, долго говорила с ним, сидя на завалинке, с любопытством расспрашивала его о Москве, о Киеве, о Петербурге,

говорила, что когда состареется, то пойдет странствовать по белу свету... Ее видимо тяготила скитская жизнь, хоть на нее и смотрели в скиту как на будущую «богородицу». Она была круглою сиротой, взята в скит десятилетнею девочкой и теперь считалась любимейшею и начитаннейшею ученицей Януария Антипыча... А теперь она плачет...

Да и как было не плакать? Вон слышится глухой, дикий хор скитников:

Уходите, мои светы,
Во леса вы, во пустыни,
Засыпайтесь, мои светы,
Рудожелтыми песками,
Вы песками, пепелами,
Умирайте, мои светы,
Что за правую за веру,
За свою браду честную...

ГЛАВА XXII

Самосожжение скитников.

Старец Варсонофий недолго оставался в муромском скиту. Инстинкты бродяги, воспитанные в нем русскою историческою традициею о святости подвига паломничества и выросшие на почве его личных инстинктов, не сознаваемых им, но живших в глубине его души... Инстинкты поэта, пробивавшиеся из-за его грубой духовной коры, когда рядом с любовью к мертвечине старины, к ее бессмысленной обрядности и рядом с грубейшею верою в бесов во образе ляхов, в душе его сталкивались и эти бесы, и перстное сложение, и глубокая, самая чуткая отзывчивость к природе, к этой травушке-муравушке, к этим цветикам лазоревым, кринам сельным, к этим кусточкам и ручеечкам, эти инстинкты, положенные в основу его духа, постоянно влекли его куда-то в неведомые страны, к неведомым людям, чтобы на подошвах своих переносить пыль из одних святых мест в другие и трепать свою душу, как костригу перед Господом, мыкаясь из места в место, из града в град, из веси в весь, оправдывая данное ему когда-то царевичем Алексеем Петровичем прозвище «вечного жида» — Агасферия праведного или Никитушки Паломника. Это был, как и Левин, идеалист, хотя оба они не знали своих идеалов, а только чувствовали, что в душу их что-то постоянно толкалось, постоянно нашептывало: «Иди, иди, ищи — обрящешь, увидишь, узнаешь...» А что? Где? Как? — это не вышептывалось, не подсказывалось, не чуялось...

И вот Варсонофий, пожив в скиту несколько недель, снова наладил и свою неугомонную душу, и свои неустанные ноги на далекий путь. Задумал он

пробраться в Иерусалим, куда, как ему сказывал молодой князь Прозоровский, монах Невской лавры и бывший навигатор, можно было пройти народами единоверными от Почаевской Божией Матери, иди ты в турскую землю на Бел-град, а в Беле-граде сербин живет, веру православную держит, персоною и языком походит на черкашенина, черен и высок ростом, русского человека братом именует и российскую церковь почитает, а из Бела-града иди ты на Софьин-град, а в Софьине-граде болгарин живет, веру православную ж держит и персоною, и языком тако ж на черкашенина походит, тако ж и российскую церьковь почитает, а из Софьина-града идти тебе на Филипов-град, земли болгарские ж и болгарские веры; а из Филипова-града идти тебе на Андрианов-град болгарские же земли, а из Андрианова-града идти тебе на Константинов-град, именуемый Царь-град, а из Царя-града кораблем идти тебе к Святой-Горе, а из Святой-Горы до Иерусалима-града рукой подать...

Разве это не заманчиво?

Левин тоже задумал было идти вместе с Варсонофием, но его остановило одно неожиданное обстоятельство. Все скитники и скитницы полюбили его за его доброту и обходительность. Все видели, что у него на душе какое-то горе и все соболезновали о нем, особенно бабы: «Хоша и дворянская кровь, — говорили скитницы, — да не смердит, святым ладоном прокурена...» Но не это удерживало его в скиту...

Раз как-то, по старой привычке охотника, бродил он по лесу недалеко от скита, выискивая, нельзя ли хоть каких-нибудь лесных ягод поразмыслить. Пробродив даром, он лег под деревом отдохнуть. Через несколько минут он услыхал за кустами голоса. Голоса знакомые. Это Евдокеюшка болтала с маленькой Полей, дочкой скотницы Орины.

— Так кого ты, Поля, больше всех любишь? — спрашивала Евдокеюшка.

— Тетю Евдокеюшку, — отвечал ребенок.

— А еще кого?

— Маму.

— А еще кого?

— Тятьку.

— А кого еще?

— Дядю Васю.

— Какого дядю Васю?

— Дядя Вася.

— Да какой же дядя?

— В сапогах, с колесцами, — отвечала девочка.

Левин понял, что речь идет о нем, о его сапогах со шпорами.

— За что ж ты его любишь, Поля? — приставала Евдокеюшка.

— Он Поле дал бумажку играть.

— А дядя Вася уходит от нас.

— Куда? — спросила девочка.

— Далеко, совсем уходит, тю-тю, покидает Полю.

Девочка заплакала.

— Об чем ты это? А? О дяде Васе?

— О дяде Васе, — продолжал плакать ребенок.

— Не надо, Поленька, не плачь... не надо...

Левин слышал, что и в голосе Евдокеюшки звучали слезы.

— Не плачь... перестань... лучше попроси Бога, чтоб он не уходил от нас... Бог тебя услышит, и дядя Вася останется у нас...

Ребенок замолчал.

— Останется?

— Да. Только помолись Боженьке.

— Как?

— Скажи: «Господи»... Ну, говори: «Господи»...

— Господи, — повторял ребенок.

— Услышь молитву младенца...

— Услышь младенца.

Голоса слышались очень близко. Левин чувствовал, что его сейчас откроют, и ему стало стыдно, что он невольно подслушал то, что, быть может, ему никогда не сказали бы в глаза. Он хотел было спрятаться за дерево, но было уже поздно.

— Дядя Вася! Дядя Вася! — закричала девочка и тащила за собой Евдокеюшку.

Девушка вспыхнула так, что, кажется, корни ее волос покраснели. Левин тоже был смущен до крайности. Поля, схватив его за руку, а другой рукой держась за Евдокеюшку, лепетала:

— Дядя Вася, не уходи от нас, а то я буду плакать. И тетя будет плакать... Не уйдешь?

— Не уйду, милая, не уйду, — отвечал тот, сам не зная, что говорит.

— Дядя не уйдет, тетя, — успокаивала девочка свою приятельницу.

Левин, наконец, победил свое смущение.

— Вы куда это шли, Дуня? — спросил он.

— По морошку-ягоду. Поля морошки хочет, — отвечала девушка, не поднимая глаз.

— А я вам помешал?

— Нет...

Оба замолчали. Поля продолжала держать их за руки.

— Иди, тетя, по морошку, и ты, дядя, — болтала она.

— Ты не уйдешь от нас?

— Не уйду, не уйду... А ты, Дуня, хочешь, чтоб я остался у вас в скиту, да? Нет?

— Не знаю... Скучно у нас тому, кто привык к большим городам...

Поля настойчиво соединила их руки... Левин ося-

зал уже руку девушки... Через мгновение рука Евдокеюшки была уже в его руке... Рука не отнималась...

Куда же девался муромский лес, раскольничьи скиты, Петербург, ужасы последних лет?..

Тут Днепр, Киев, а в руке — трепетная рука Ксении... И знакомая песня плачет:

Ой гаю мій, гаю, великій розмаю!
Упускала соколонька, та вже й не піймаю...

— «Дуня... Дунюшка... добрая моя», — что-то шептало и пело как-будто.

— Дядя Илюша, дядя Илюша морошку несет, — закричала девочка.

В самом деле Илья Муромец идет с берестяным туеском.

Киев, Днепр, Ксения, все пропало... Муромский лес стоит как стоял...

— Уж и морошка же, я вам скажу, — говорит, осклабив белые зубы, Илья Муромец, — уж така-то ядрена, словно бусы у Богородицы на шее.

Этим лесная встреча Левина с Евдокеюшкой и закончилась. Но в сердце первого произошло что-то необъяснимое, там, в глубине, обитал неисходно образ черноголовой Ксении, ко всем мотивам духа — в воспоминаниях, в тоске, в страданиях, в настоящем, прошедшем и даже будущем, ко всякому акту жизни примешивался этот образ, вся жизнь, каждое движение мысли и каждое биение сердца амальгамировались с этим всепроникающим образом, но вместе с тем в сердце, в мысли, во всей жизни чувствовалась пустота... И вдруг является ощущение, что пустота эта заполняется другим образом, который не вытесняет собою образа Ксении, а соединяется с ним, амальгамируется... Это — смущенное личико рыжеволосой Евдокеюшки... Владычество Ксении над его духом, владычество самодержавное, все так

же могуче, ненарушимо, незыблемо, тоска по ней все так же жгуча и удручающа, но эту тоску хочется, хотелось бы излить в слезах на этой груди, которая близко, которая так тревожно поднималась, когда маленькая Поля соединила их руки...

И Левин не пошел с Варсонофием бродить по свету. Он пошел только проводить его до Починок.

Иначе смотрело все кругом — и лес, и зелень, и небо, и лес казался менее угрюмым, менее неприветливым, не мертвецами стояли столетние ели, свесив свои гигантские зеленые руки, эти многорукие великаны что-то говорили, кого-то напоминали. И зелень стала зеленее, приветливее, и далекое небо голубее: зелень говорила, что и по ней ходят живые люди, добрые, голубое небо опрокинуто было не над пустыней, не над мрачным лесом... Этот стук дятла, может быть, слышен там, на поляне... Это солнце золотит золотые волосы...

— Эта девочка с золотыми волосами напоминает мне покойницу Афросиньюшку, дай Бог ей царство небесное, — заговорил вдруг Варсонофий, когда муромский лес остался уже позади.

Левин вздрогнул. И он об ней думал. Но он спросил:

— Какая девочка?

— Да в скиту-то, рыженькая.

— А! Дуня.

— Да, Евдокеюшка. Только у Афросиньюшки были белые волосы, оттого царевич и называл ее «беля ночкой»... Эх, царевич! Царевич!

Они замолчали. Всю дорогу Левин говорил мало, да ему и не приходилось говорить, потому что Варсонофий, предаваясь воспоминаниям, вылавливал из своего богатого событиями прошлого обрывки картин, сцены, давно отошедшие в вечность личности.

— Эх, матушка царевна Софья Алексеевна, соко-

линый глазок, не довелось тебе поцарствовать... Да что? так, видно, Богу было угодно, говорил он как бы про себя. — Ишь ты, ишь ты, пышные какие... стрельцы, словно мак в огороде краснеют кафтаны червленые... Эх ты княже, княже Долгорукой!.. Щуку съели — зубы остались... То-то — и лежишь ты на гноище, рыбою покрыт вместо парчи — савана... Эх, Шакловит, Шакловит — во цари норовит... Где твоя головушка буйная?.. Всех-то ты смела со свету, метла Божия — и злое, и доброе, святое и грешное... Сметешь скоро и нас, аки сметие непотребное...

Когда в Починках он прощался с Левиным, последний сказал:

— Поживу я в муромском скиту, отдохну. Может, смирение осенит мою душу. Митрополит Яворский Стефан наказывал мне смирения искать. Поищу — может и обрящу... А ты, поклонившись Гробу Господню и облобызав землю, по которой босые ноги Его ходили, возвращайся к нам в скит.

— Добре, — отвечал старик. — Коли не тело мое воротится, так душа грешная, когда будет по мытарствам ходить...

Левин торопился с прощаньем. Его тянуло теперь в обратный путь, в муромскую чащу, на полянку, где светилась золотистая головка...

Эх, ты, сердце человеческое, море пространное, по коему корабли преплывают великие и малые! Эх ты усыпальница великая — сердце человеческое! Даешь ты у себя вечное успокоение и кроткому лику матери родимой, и звезде падучей, словно по небу по твоей жизни прокатившейся, и рыженькой Евдокеюшке...

Эх, что вы так тихо идете, ноженьки резвые? Что ты тянешься без конца, дороженька пыльная?

Эх, вы, леса, лесочки темные, дремучие, леса муромские! Для чего-то вы стоите стеною непроглядною, не проглядеть сквозь вас глазынькам.

Эх, вы, дни — денечки, дни летние, бесконечные!..

Три длинных дня прошло, как Левин отлучился из скита. Что-то там поделывается? Ждут ли его? Хотят ли его видеть также нетерпеливо, как он этого хочет?

Все меньше и меньше остается пути. И дальняя дорога, и большая часть леса — назади. Впереди лес начинает редеть. Близость поляны ощутительна...

Что ж это за говор на поляне, шум, возгласы? — По поляне расхаживают и суетливо переговариваются незнакомые люди. Это — солдаты, команда солдат. Зачем они тут, откуда?

— По указу его пресветлого царского величества, отворите скит, покоритесь! — раздается возглас.

— Не покоримся антихристу! — слышится ответный возглас.

В последнем возгласе Левин узнает голос фанатического парня, Азарьюшки.

— По указу его величества, выдайте расколоучителя, — снова раздается голос с поляны.

— Не выдадим! — отвечают из-за высокой ограды, сделанной из толстых брусьев и гладко обтесанных.

— Ребята! — кричит, по-видимому, начальник команды. — Прилаживай лестницы! Ломай слеги повыше! Приставляй к ограде!

— В молельню, православные! В молельню! — раздается за оградой голос Азарьюшки.

— В молельню! — повторяет голос Ильи Муромца.

— Зажигай молельню! Погорим, а не покоримся антихристу! — неистово вопит Азарьюшка.

Вдруг за оградой раздается страшный, душу пронизывающий, крик:

— Пустите меня! Пустите! Я не хочу гореть! Ох батюшки! Помогите.

Огнем опалило Левина и холодом ожгло... Он узнал ее голос, голос той, о которой думал...

Зверем ринулся он через поляну, к скиту...

— Не трогайте ее! Пустите ее! — кричал он бешено.

— Держи его! Держи! Кто это? — кричали солдаты, загораживая ему дорогу.

— Пусти! Убью! Задушу! О!

Его схватили. Вопль за оградой повторился.

— О! Сатанины дети! Аспиды! — задыхался Левин, отчаянно колотясь головой об землю (его свалили солдаты).

А из-за ограды несся, перерываясь, задыхающийся, хрипящий вопль девушки. Ее, по-видимому, тащили в молельню...

Вопль затих... Все затихло на дворе... Левин бессильно бился в железных руках шести солдат... Остальные таскали деревья, но деревья не хватали до верху ограды.

Из-за ограды, из самой молельни, раздалось глухое, мрачное хоровое пение... Пели все обитатели скита... Слов не было слышно, но что-то ужасное вещало это пение.

Раздался треск, шипенье чего-то... Взрыв женских воплей в глубине молельни... Из трубы повалил дым... Пение продолжалось — страшное, могильное пение самосожигателей...

Пожарный треск все сильнее и сильнее... Женских воплей уже не слышно... Дым охватывает половину крыши, клубами вырывает из большого слухового окна на крыше, огороженной перилами для сушки грибов, трав лекарственных, белья...

— Поздно! Горят изуверы... бросьте, ребята, — говорит начальник команды.

Левин не шевелился, он был в обмороке.

Выбилось пламя, выше, выше...

Пения не слышно уж... Задохлись певцы ужасные...

Вдруг в слуховом окне, на правой, не прогоревшей еще половине крыши, показывается человеческая фигура — облик миловидной девушки, с растрепанною, разметавшеюся по плечам золотистою косою и с искаженным от ужаса лицом. Она хочет через перила броситься на землю. Но в это мгновение на нее сзади, выскочив из слухового же окна, накидывается молодой парень в пылающей рубашке...

— Га! — рычит он зверем.

Девушка бессильно вскрикивает. Начинается борьба...

При крике девушки Левин, которого уже не держали солдаты, вскакивает с земли и, протягивая к борющимся на крыше руки, кричит неистово:

— Пусти! пусти ее, проклятый демон!.. Дуня! Дуня!

Несчастная узнала его.

— Вася! Вася! — беззвучно вскрикнула она и — замолчала.

Полуобгоревший фанатик, обхватив ее за талию, вместе с нею ринулся назад, в самую пасть пламени...

Левин грохнулся на землю, как подкошенный...

Вся команда стояла в немом ужасе.

Пламя пожирало все более и более окружающие предметы... Густой, какой-то сальный и серный дым заражает всю поляну. Это жарятся люди, это смердит их горящее сало, их растопленный, глупый, о! какой глупый мозг!.. Это чадят их глупые, темные головы, сложенные на костер из-за «перстного сложения». О, бедные, глупые, жалкие люди!.. Бедные, глупые, жалкие, вы же и могучие, и великие, и бессмертные идеалисты с вашим «перстным сложением»... У всех у нас есть свое «перстное сложение»,

— и блаженни умирающие за него... Бедные, бедные, глупые, жалкие люди, коли вам приходится умирать за «перстное сложение»...

— Как шибко и дружно горит, — заметил кто-то.

— Да они, ваша милость, много серы этой кладут горючей да пакли, чтоб шибче забирало, — нам это дело знакомое, — сказал бывший стрелец, обращаясь к командному офицеру.

Все сгорели... И Поля маленькая, что так любила морошку, и Януарий Антипыч, и глупый Илья Муромец, и Азарьюшка-млад, и млада Евдокеюшка с золотистою косою, и баушка Касьяновна, что своими глазыньками видала, как Маришка-безбожница сорокою сидела на кресте Василия Блаженного, — все золою стали...

ГЛАВА XXIII

Левин на родине.

Эх, ты, степь широкая, раздольная, ты, раздольице сиротское, ты гуляньице бурлацкое! Разлеглась ты, степь широкая, разлеглася ты, степинушка, от Ардатова до Саратова, от Саратова Волгой-матушкой да ровным сыртом до Царицына, от Царицына до Воронежа, от Воронежа да до Кадома. Поросла-то ты, да степинушка, кавылем-травой все сиротскою. Много в тебе, степь, простору для волюшки, да только волюшка куда-то запропастилася...

«Ишь ты раскинулась, раздвинулась, ничем-то ты не огорожена, ни межами не межована, — а все жить на тебе тесно и гулять-то не радостно, степь ты широкая да постылая. Опостылела ты, степь проклятая, опостылела жизнь бродячая, во бегах горе мычучи, во степи под дождем ночуючи, на степном ветру просыхаючи, на солнышко жгучее нарекаючи... Эх, ты, солнце, солнышко! Палишь ты не вовремя, печешь буйную голову все не впору... Эх, вы, ветры буйные, разосенние, — разосенние вы, самые пронзучие! Пронизали вы всю душеньку бродяженьки, изрешетили одежонку бурлацкую...

Эх ты, травынька сухая, что сухое перекатиполюшко! Несет тебя, травынька, ветром по полю, от Ардатова до Саратова, как и меня бродягу вольного, бродягу вольного, сироту горького...»

«Эх ты, полоса, полосынька, полоса несжатая! Кто пахал-боронил тебя, зерном сдабривал? Эх ты, рожь высокая, колосистая-колосистая, золотистая! Жинал я тебя до поту, нажинался до одури, наедался лишь не досыта, напивался не допьяна...»

— Ох, спинушку разломило, матушка! Потом глазыньки заливаются...

— Жни, дочушка, жни — дело наше крестьянское, невольное.

— Ох, матушка, головушка болит, от солнышка она разрывается.

— Жни, дочушка, жни, — полоса-то велика, несжатая...

— Бог в помочь, люди добрые!

— Спасибо, родимый.

— Чье жнете?

— Барское, батюшка.

— А чьех господ?

— Левиных.

— Левиных? Пензенских?

— Саранских-пензенских.

— Герасима да Василья Левиных?

— Их, батюшка.

Девушка, жавшая рядом с матерью, вся загорелая — загорелая так, что не только лицо, руки, шея, но и спина, и молодые, крепкие, «молоком набитые» груди (жала она в одной сорочке, спустившейся с плеч) казались темнокоричневыми, особенно там, где рядом проглядывало белое, не тронутое солнцем, тело, — девушка, взглянув пристально на прохожего и вслушавшись в его голос, точно обомлела, глаза расширились, серп выпал из загорелой руки.

— Али не признаете меня? — спрашивает прохожий.

— Нету, родненькой, не признаем, — отвечает мать.

Прохожий смотрит в глаза девушке.

— И ты, Дарьюшка, не признаешь?

— Ох, матушка!

Девушка стыдливо закрыла рубашкой голые груди и плечи.

— Не признали Яшку беглого?

— Ох, Яшенька, родненький! Откелева Бог несет?

— От Саратова до Ардатова, от Ардатова до Горбатова, от Горбатова до Воронежа, от Воронежа до Царицына, от Царицына — к черту, к дьяволу...

— Ох, родименькой! Куда ж ты теперь?

— На Волгу... души губить...

— Христос над тобой! С нами крестная сила.

— А что, Дарья, замуж не сдали еще, в некруты-то?

Девушка молчала, не смея поднять глаз.

— Нету, не сдавали еще, — отвечала мать.

— А барин на барщину, на поночную работу не брал?

— Бог помиловал.

— А за меня, Дарьюшка, пойдешь теперь, за бродягу, за разбойника-душегуба?

Он выпрямился. Широкая волосатая грудь, широкие плечи и все тело сквозило чрез дырявые лохмотья, которыми он был прикрыт.

— Что? Али не цветно платье на мне? — сказал он горько. — Али не соболья шапочка, не шелкова подпоясочка? Али сапожки не сафьянные?

— О-о-охо-хо! — вздыхала мать.

Дочь мрачно молчала.

— Али я не сокол? Али я не ясный? Али перушки у сокола ощипаны, али крылышки подрезаны? — продолжал бродяга. — Нет, не поймать тебе, ворона, ясна сокола!

И он погрозил кому-то кулаком. Девушка со страхом взглянула на него.

— Что, Дарья? Али не люб я? Али не поважен в этих ризах? А были и на мне ризы боярские, да острог-тюрьма все повытрясли. Только я не кручинюсь, на Волге все добуду...

Он подошел к самой девушке и положил руку на плечо ей.

— Ну, Дарья, — глянь в очи.

Девушка глянула прямо, глубоко.

— Теперь пойдешь за меня?

— Пойду!

Мать всплеснула руками.

— Поцелуемся же в первый раз.

Девушка без слов обвилась загорелыми руками вокруг загорелой шеи бродяги.

— Слышишь, Дарья, сердце словно кистень бьет, слышишь?

— Слышу, — шептала девушка.

Бродяга повернулся к матери.

— Благослови нас, матушка, а не благословишь, так и ветер буйный нам пойдет за батюшку рожоного, а и степь широкая — за матушку родную.

Та благословила.

— Спасибо. Теперь полно служить серпом да граблями, будем служить царю государю Петру Алексеичу кистенем да дубиною. Любо ли Дарья?

— Любо.

Вдали по дороге заслышался звон колокольчика. Показалась пыль, а за нею вырисовывались конские головы.

— Тройка. Кого черт несет? Эх, не впору, а то бы ссадил гостя.

Он стал приглядываться.

— Эки дьяволы! Надо хорониться. Жди же меня, Дарья, дома. Ладно?

— Ладно.

— За мной?

— В огонь и в воду.

Бродяга исчез во ржи, словно в землю провалился.

Тройка наезжала все ближе и ближе. Колокольчик устало позвякивал, словно и ему опротивела эта тишь да гладь бесконечная.

Тройка поровнялась с жницами, и запыленные кони остановились.

— Бог помогай вам, жницы, — отозвался проезжий.

— Спасибо, батюшка.

— Вы из Левина?

— Левински, батюшка барин.

Проезжий вылез из телеги. Это был Левин. Он подошел к жницам. Те поклонились ему.

— Здравствуй, Варварушка... Не узнаешь меня?

Баба изумленно, испуганно кланялась.

— Ты ли это, Варя голосистая? — говорил он с грустью.

Баба бросилась целовать ему руки.

— Батюшка барин! Голубчик, Василь Савич! Господи! Вот не чаяли.

Баба плакала. Она вспомнила свою молодость и молодость того, который стоял теперь перед нею седым стариком. А когда-то певали они вместе, хороводы важивали...

— Не помолодела и ты, Варвара, — говорил он взволнованно.

Только девушка стояла молча, прикрывая свои груди и плечи.

— Кто же это с тобой, Варварушка? — спрашивал Левин.

— Дочушка моя, Даша, барин. Без тебя родилась она.

— А муж-то твой кто?

— Максим-плотник был.

— Был, говоришь? А теперь?

— Десятый годок в бегах, без вести пропал.

— А еще дети есть?

— Был сынок, батюшка.

— Что ж, помер?

— Нет, баринушка, не помер, а по миру ходит,

в повадырях состоит у слепого Захара Захребетника.

— А, помню. Они были у меня в Харькове. Я и в Киеве видал Захара лет десять тому назад.

И при упоминаньи Киева, в сердце словно засаднело... Вся жизнь постылая развернулась, как на ладони... Годы, десятки лет — как один день... Киев, Петербург, муромский лес... О, мимо! Мимо, горя нерасхлебные, боли незаживные! мимо!

— К домам теперь, барин, едешь?

— Домой... на покой...

Он оглянулся кругом. Скучная, неприветливая степь. Господи! И это родина золотая, где прошло золотое детство! Время все съело, все полиняло, и краски этой степи полиняли, и полиняло родное небо, и даль голубая полиняла... Все выцвело, выветрилось, как в душе у него.

Эх талан ли мой, талан таков,
Эх, ты участь моя горькая!
На роду ли мне написано, али от бога заказано?..

Это затянул кто-то далеко за полосою. У Дарьи сердце заныло от этой песни. У Левина тоже защемило сердце, хоть он не знал, кто поет, как знала эта девушка.

— Что ж вы одни жнете? — спросил он, желая прервать тягостное молчание.

— Да нам эта полоса заурочена. Другие тамотка жнут.

— Бросьте все это! Бросайте серпы... Пора и вам отдохнуть, немного осталось...

Те посмотрели на него с изумлением. Они не понимали, что говорит он.

— Вон и птицы летят из этой проклятой земли, — указал он на небо. — Скоро солнце помрачится, звезды померкнут.

Тройка все ждала его. Коренная, отбиваясь от мух и оводов, встряхивала дугой и колокольчик жалобно взвизгивал.

— Мухи песьи и оводы львиные напали на землю, сосут кровь христианскую, — говорил он как бы в самозабвении. — Звени, звени, колоколец — по душе звонишь, по усопшей земле благовестишь...

Вдали слышалось глухо:

Эх, талан ли мой, талан таков...

Он опомнился.

— Брат дома?

— Дома, в Чирчиме, батюшка.

— Прощай, Варварушка, прощайте.

— Прощайте, барин.

Левин сел в телегу, и тройка тронулась. Ямщик лениво затянул:

Уж как попила ль моя буйная головушка,
Пила она, пила — посуляла,
Что за батюшкиной, что за матушкиной
За легкою за работой...

Левин молча слушал. И эта степь, и эта песня переносили его в годы далекой молодости. Только все это не то. Тогда у него не было двойного зрения, а теперь в душе все раздвоилось: и жизнь и смерть стоят рядом... колыбель и гроб рядом... Вон растет деревцо несчастное! Это не оно растет, а его смерть... Подымается деревцо, приближается смерть безребрая... Не ямщик поет — его смерть поет: что пропел он за батюшкиной, за матушкиной за легкою за работой — это уж умерло, и слова умерли, и голос умер в воздухе... Прежде земля висела как кадило перед иконою... а теперь земля сорвалась с крючка, сорвалось кадило вечное, летит в пропасть...

«Как берут меня, берут добра молодца,
Берут во солдатушки...»

— Тебя берут? — очнувшись, спрашивает Левин.

Ямщик удивленно смотрит на него.

— Кого берут в солдаты?

— Это в песне, барин, из песни слова не выкинешь.

Не выкинешь! А как же душу из тела выкидывают?.. «Утопи меня, сам утопи в Днепре, своими руками утопи... Ты меня из воды вынул, ты и утопи...» И ее вынули из души, и выкинули, и душу выкинули... Ох ты, Петр, Петр! Много тобою душ съедено, много... Да не доедены душеньки святые... вон перекати-поле катится — это ее душенька... Сгорела, золою стала, и волоски золотые озолились, опепелились... Дуня! Дуня!

Потатуйка кричит — уту-ту-ту... уту-ту-ту... Это она кричит у сухого дуплястого пня, как и тридцать лет назад кричала... Тридцать лет... И потатуйка жива, да это не та, та давно умерла, как и я давно умер... Нет, не умер, как и дуплястый пень не умер. Мы живем с ним. И у меня в сердце — уту-ту-ту — уту-ту-ту. Эго смерть там — червоточина.

Сгорела золотая головка. А черная где? Ксения! Оксана! Оксанко! Где ты? И Докийка не откликается. Ах, ты пес мой верный Ермак — и тебя не стало. Да и я с того света вернулся домой, домой, на ту землю, где бегали мои ножки маленькие. О, мои ноженьки! Устали вы теперь, износились. Износилась вся душенька моя.

Смирение горами ворочает. Эх ты, Степан, Степан Яворский! Сверни-ко ты гору, что у меня на сердце лежит. Бедный Фомушка юродивый, и у тебя горлинку вороны заклевали, Верушку твою чистую. А у меня двух горлинок заклевали. О! бесы, бесы!

— Деревню Левину, барин, видно, Чирчим тож.

— А! Чирчим, где я родился. Хорошо.

— На водку дашь, барин? Хорошо вез.

— Дам.

Вон там, за теми осокорями, могила матери. Матушка! Матушка! Погляди-ка, что из твоего сына сделали, из твоего Васеньки. Ох, матушка моя! Матушка родимая! Почто на горе родила? Видишь седые волосы у твоего сына? Небо родное! Погляди на меня: таким ли я бегал под тобою, родное мое, такую ли ты головку грело солнышком, какую я привез теперь тебе? Увез русую, кудрявую, привез седую, безволосую. Такое ли сердце я вывез отсюда — и какое привез? Змеи, гады расплодились в нем, и распустил я этих гадов по всей земле, к чему не прикоснусь — змея там, к цветку подойду — и в цветке гадина.

Добрый мой, бедный Турвон, учитель мой! И твоя могила там за осокорями. Приподымись из своего гроба соснового. Э! Да и гроб твой давно сгнил, только горькая память моя не сгнила. Гноили ее двадцать лет на службе каторжной — не сгноили. Живуча она, не податлива, как дерево опаленое. И тебя, Турвон, помню, и грачей помню, ух! Как весну-то зовут, выкаркивают! И Нарву помню — бумм-бумм-бумм! — а мы бежим, и Шереметев бежит. И Полтаву помню, и Карла в качалке помню. Эх ты, горемычный! И Киев помню, царевича помню, худой и вдумчивый... О, дьяволы, аспиды! Съели мою душеньку...

— Эх вы, лошадушки! С горки на горку, даст барин на водку.

И Левин вспомнил, как двадцать лет назад с такими же возгласами вез его ямщик по этой же дороге в Москву, в Петербург. Не тот и ямщик теперь.

— Ты давно ямщиком?

— Лет десять, барин, езжу здесь.

— А прежде кто возил?

— Батька, теперь на печи лежит, старо стало.

Как постарела, сузилась, сморщилась вся родная деревенька. Ветхая часовенка разрушается. Избенки стоят оголенные...

— Все больше в бегах мужики, — указывает ямщик кнутовищем на оголенные избы.

— С чего бегают?

— От указов больше. Указы эти да некрутство больно нашего брата донимают.

И их донимают. До живых печенок, видно, дошло.

Вон и сухой овраг. И старый дуплястый пень все тот же. Даже скворечня старая осталась на скотном дворе. Все мертвое осталось таким, каким и было, все живое состарилось, искалечено, перемерло. Пусто в деревне — все в поле.

— К усадьбе, барин?

— К усадьбе.

Лошади рванули, пронеслись по улице и стали у крыльца усадьбы.

— Привезли на родное кладбище, — подумал Левин.

ГЛАВА XXIV

Пострижение Левина.
Проповедь об антихристе.

Неприютным показалось Левину родное гнездо после двадцатилетнего отсутствия из него. Да и сам он был не тот уже. В душе порваны все живые, привязывающие к жизни и примиряющие с нею струны, зато грубо, болезненно задеты были непорванные струны, которые глухо, но могуче, безумно-страстным разладом звучали в нем, отравляя его мысль, каждый час его жизни. Глухой, ему одному слышимый звук этих страшных струн будил его на борьбу, на всенародную проповедь, на мученический подвиг.

«Иди на муку, ищи муки — и обрящешь, тебя замучат, но ты спасешь миллионы, спасешь Россию от того, кто поглотил твое счастье, вонзил меч в душу твою и довел тебя до муки».

Неприветливо такому человеку смотрел в глаза родной дом. Это была пустыня, но не та, которую он изведал, а пустыня тюрьмы, могильного склепа.

Ни отца, ни матери он не застал уже в живых. И могилы их давно бурьяном заросли, как и все те дорожки, по которым бегали когда-то его резвые ноги.

Вместо матери он нашел дома мачеху. И ему была чужа Агафья Ивановна, и он был чужой для Агафьи Ивановны. Что она ему и что он ей?

И брат Гарася одичал для него. И его годы перемололи, да только не в ту муку, в какую жизнь смолола нашего героя.

И грачи не те, и весна не та: и те грачи улетели, и та весна водою уплыла.

А там больной дядя, Петр Андреевич, и он стал чужим человеком.

Дядя жалуется на болезнь, на то, что стар стал, не может в отъезжем поле за волками гоняться. Брат жалуется на мужиков — мужики разбежались, работать не хотят, хлеб в поле стоит не сжатый, зерно высыпается. Мачеха плачется на прислугу — холопки ленятся, девки мало прядут, ребятишки мало грибов собирают. А ему что до этого?

Что ему хлеб не сжатый, высыпающееся зерно? Пускай оно высыпается, его будет клевать голодная птица, подбирать робкий мышонок.

Что ему девки, холопки ленивые? Пускай ленятся, пускай не прядут. На кого им прясть? На что? На саван? О! На что людям саван, когда всю землю в саван скоро оденут?

О, какая тоска! Какая смертная тоска! Такой тоски не бывало даже тогда, когда из него душу вынули. Тогда хоть боль чувствовалась, острая, живая боль. А теперь — боль мертвая, тупая. Тогда кричать хотелось. Теперь — молчать, молчать, молчать!

Дни идут за днями, чередуясь с ночью. И день и ночь — это мертвецы, поочередно ложащиеся в гроб. То белый гроб и саван белый, то черный гроб и саван черный.

Прошло и лето. Под снегом укрылась земля...

И поляну снегом присыпало, и золу присыпало, и золотую косу, и черные очи.

А! Это он, великан, он вылущил из меня душу, как ядро из ореховой скорлупы, и сердце вылущил. Великан, саженная душа, саженное сердце, злоба саженная! А! Да и у меня не воробьиное сердце было, а ты вылущил его. Только вот из-под этого черепка не все вылущил, из-под черепа. Не высох там мозг, не вылился из глаз вместе с слезами, выходил он из-под черепа седыми нитями, серебряными волосами, да не вышел.

Одно что осталось у него — жажда борьбы против этого саженного человека с саженным сердцем. Но как с ним бороться? Надо народ поднимать.

Идет церковная служба в Конопати. Левин стоит на клиросе рядом с капитаном Саловым. Тихо поют дьячки. Тихо народ молится. А Левина что-то подмывает крикнуть, да так крикнуть, чтоб там в Петербурге, было слышно, чтоб великан услыхал.

— Послушайте, православные христиане! Слушайте! Слушайте! — кричит он на всю церковь.

Все смотрят на него с изумлением.

— Послушайте! — кричит он еще громче. — Скоро будет преставление света!.. Царь загнал весь народ в Москву и Петербург — и весь его погубит... Погубит! Погубит!

Он поднимает руку, чтоб видно было народу.

— Смотрите, православные! Вот тут, меж этими пальцами, царь будет пятнать народ, и все в него уверуют... Бойтесь, православные! Он — антихрист! Он всех печатать хочет.

Оторопелый священник кричит на него:

— Зачем ты такие слова говоришь? Я велю твоим же крестьянам взять тебя.

— Молчи, раб ленивый! Молчи, пастух! Где твои овцы? По лесам разбежались... Скоро и вам будут бороды брить, и станете вы табак тянуть, и будет у вас по две жены и по три... Спасайтесь, православные, бегите! Антихрист идет!

Как безумный он выбежал из церкви. Народ со страхом расступался перед ним.

— Ох, матушки! Последние деньки пришли.

— Ой, смертушка наша!

— Печатать всех, батюшки светы! Запятнают нас.

— А кто пятнать будет?

— Не ведаю, родимые.

Так стонали бабы. Мужики недоверчиво переглядывались.

Левин исчез из деревни, словно в воду канул.

. . . .

Прошел месяц, другой.

В Пензе, в Предтеченском монастыре обедня. По случаю праздника, церковь полна народу.

Церковные колокола звонят что-то очень всем знакомое, но тяжело всем становится от этого знакомого звона, это — похоронный перезвон. Кого-то хоронят, кого-то несут отпевать.

Все ждут покойника. Глаза всех обращаются к входным дверям. Вот-вот внесут... А перезвон колоколов все унылее, унылее. Этот перебой, этот разлад звуков глубоко западает в душу, словно звонят разбитые колокола, и мелодия их какая-то разбитая — разбита жизнь того, по чьей душе они звонят так уныло.

Близко-близко покойник. Слышится напутственная, глубоко проникающая в душу мелодия погребального канона: «Житейское море, воздвизаемое зря напастей бурею, к тихому пристанищу Твоему притек, вопию Ти: возведи от тли живот мой, Многомилостиве!»

Все крестятся... да, притек к тихому пристанищу... Тихо там, ох как тихо...

Но вот и покойник... Кто же это? Его не несут: а — ведут, ведут мертвеца! Что же это такое?.. Ведут кого-то под руки, покрытого черным покровом, как покрывают гроб...

А хор не то торжествует, не то разрывается, плачет: «Житейское море»...

Покрытого мертвеца подводят к амвону. Все напряженно следят за ним. Снимают покров. Шепот и стон испуга пробегает по церкви... Ох! Это — живой мертвец в саване: бледное, худое лицо, поседевшие волосы, низко-низко наклоненная голова.

«Господи! Кто это?» — проносится в толпе.

А он стоит неподвижно, голова глубоко опущена.

— Откуда пришел еси к нам? — спрашивает настоятель монастыря, облаченный в черные ризы как на похоронах. — Откуду пришел еси?

— Из мира, — тихо, едва слышно отвечает живой мертвец в саване.

— Почто пришел еси? — снова спрашивает тот.

— Хочу принять ангельский чин, — отвечает мертвец.

Зрители не выносят этого потрясающего допроса. Женщины рыдают.

— Не из нужды ли мирския пришел еси к нам? — продолжается страшный допрос.

— Ни, отче.

— Не страха ли ради?

— Ни, отче.

— Не корысти ли ради?

— Ни, отче.

— Не принуждением ли?

— Ни, отче.

— Не отчаяния ли ради?

— Ни, ни, отче!

Мертвец зарыдал, и он не выдержал! Вся церковь стонала.

И начинается еще более ужасный допрос, — это хуже пытки, хуже дыбы!

— Отрицаешися ли ты отца и матери?

— Ей, отче, Богу споспешествующу, — рыдает, захлебывается.

— Отрицаешься ли детей своих?

— Ей, отче, Богу споспешествующу.

— Отрицаешься ли братьев и сестер, отрицаешься ли всех сродников твоих?

— Ей, отче, отрицаюсь.

— Отрицаешься ли друзей твоих и всех знаемых твоих?

— Ох, отрицаюсь, отрицаюсь, отрицаюсь!

Дрожь пробегает по церкви. Стены стонут... Не выдерживает и тот, кто допрашивает — и он плачет и из его старого сердца выдавились слезы...

Будет уж! Довольно пытать его! Нет — пытают...

Настоятелю подают ножницы. Все смотрят, что дальше будет... Взяв ножницы, старик бросает их на пол. Резко звякнули ножницы о каменный церковный пол, вздрогнули все, перекрестились... Ждут... «Господи! мука какая! за что?»

— Подаждь ми ножницы сии! — повелительно говорит старик.

Посвящаемый нагибается и подает ножницы.

Опять ножницы с силой ударяются об пол. И опять тот же повелительный голос:

— Подаждь ми ножницы сии!

Подает... В третий раз ножницы летят на пол. В третий раз раздается голос:

— Подаждь ми ножницы сии!

Кто-то истерически рыдает... «Унесите ее, бедную, унесите»...

Кого-то уносят.

И снова начинается какая-то пытка... Присутствующие истомлены, подавлены...

— Да кого ж это мучают, скажите, кого посвящают? — плачет женский голос.

— Левина, капитана... помещик здешний.

— Бедный, бедный.

— Ух, инда пот прошиб меня, глядючи на экую муку... Ну уж, ни за какие, кажись, коврижки не пошел бы, — бормотал толстый купчина, обливаясь потом.

. . . .

Левин — монах. Черный клобук прикрыл его седую голову... Все, кажется, кончено...

Так прошло несколько недель...

В Пензе праздник и базарный день. Базарная площадь запружена народом.

На тележке самокатке сидит нищий, покрытый лохмотьями. Около него собралась кучка парней городских, и кто дает нищему кусок белого калача, кто бублик, кто пряник.

«Демка-чернец! Демка-чернец!» — слышится в толпе.

Это и есть Демка-чернец, что сидит в тележке. Руки и ноги у него дергаются, он весь как на пружинах.

— Отчего это тебя дергает, Демушка? — спрашивают парни.

— По дьявольскому наваждению, от винопития необычного — водку жрал шибко в монастыре, за что и ангельского чина обнажен, расстригли.

Парни смеются.

— А с руками что у тебя поделалось, Демушка?

— Трясение велие, от велия дерзновения ручного, — девок щупал.

Общий взрыв хохота.

— А ноги что, Демушка?

— Все от беса... От ногам-скакания, от хребтом-вихляния, от очам-намизания: с бабами плясал, девкам подмигивал.

Веселая молодежь смеется. Цинизм нищего не смущает молодую совесть.

— А как же ты сказывал, что тебя под Полтавой ранили.

— Под Полтавой, братцы, точно.

— А самого Карла короля видал?

— Видал. Это и тележка его. У него отнял.

Опять хохот. Молодежи и этого довольно: ее на все хватит, — и на доброе, и на злое.

— А царя видал?

— Видал, и с ним за море езжал: немецкую водку пивал, по-российски пьян бывал.

И это смешно тому, кому смеяться хочется.

— Калики перехожие! Калики перехожие! — кричат задние.

По площади идут слепцы с повадырем. Это они, те, которые пели в Киеве у ворот лавры, когда оттуда выходил царевич Алексей Петрович.

Калики не стареются, не во что стареться. Только маленький повадырь вырос в большого парня.

— Это саратовские калики, из Саратова, — кричат ребятишки.

Голос младшего калики, Бурсака, басит на это:

Мы из Саратова,
Из богатова,
Из Саранскова
Побиранскова,
А пачпорт у нас из града Ерусалима —
Бежали мы на волю от злова господина.
Отпустил нас другой господин —
Бог вышний един.
Мы корочку грызем —
Волюшку блюдем;
Пусты шты хлебаем —
Податей не знаем.

И вслед за тем калики затянули хором что-то строгое, мрачное, безнадежное. Шумливая молодежь затихла. И старые, и малые прислушивались к этому народному гимну, бесконечно-тоскливому, зловещему, беспросветному, как самая жизнь, которая их окутывала...

Внушительно звучал голос Захара Захребетника, покрывая голоса товарищей:

Уже жизнь сия скончавается
И день судный приближается.
Ужаснись, душе, суда страшного
И пришествия преужасного,

Окрились, душе, крилы твердости,
Растерзай, душе, мрежи прелести...

— Смотрите! Смотрите! Монах на крыше! — кричат в толпе.

— Что это такое? Что он делает?

И толпа бросилась к мясным рядам, где на плоской крыше одной лавки стоял высокий мужчина в монашеской рясе, в черном клобуке и с клюкою в руке.

Он простирает к небу руки, как бы молится, небо призывает в свидетели...

— Что он, лететь что ли хочет? — раздается голос.

— Молчи, щенок!

Монах снимает с головы клобук и высоко поднимает его на длинной клюке.

— Тс! Тс! Он говорит...

Монах действительно говорил.

— Послушайте, христиане, послушайте! — кричит он резко, отчетливо. — Много лет служил я в армии, у генерал-майора Гаврилы Кропотова в команде... Меня зовут Левин... Жил я в Петербурге. Там монахи едят в посты мясо и с блудницами живут. И в Петербурге из-за моря царь привез пегати, три корабля, чем людей печатать... И запечатают всех антихристовою печатью, запятнают... И тот, кто зовет себя царем Петром, — и он не царь, не Петр... Он антихрист-антихрист! Слышите? Антихрист! И в Москве, и по всей земле люди мясо будут есть в Сырную неделю и в Великий пост... И весь народ мужеска и женска пола будет он печатать своими печатьми, а у помещиков всякой хлеб отписывать, и помещикам хлеба будут давать самое малое число, а из остального отписного хлеба будут давать только тем людям, которые будут запечатаны, а на кот-

рых печатей нет, и тем хлеба давать не станут... Бойтесь этих пегатей, православные! Бегите от них, бегите в леса, укройтесь в пустынях! Солнце сошло с своего пути. Земля сорвалась... колышется... Последнее время... антихрист пришел... антихрист... антихрист...

Страшен вид фанатика. Седые волосы, словно иглы длинные, белые... рвутся от головы.

Народ в страхе разбежался. Площадь опустела.

— Ой! Ой! Ой! — кричал Демушка-калека. — Помогите! Помогите! Ой! Ой!

ГЛАВА XXV

Левин в Тайной канцелярии.

В толпе, наэлектризованной безумною проповедью Левина на крыше и в ужасе разбежавшейся, нашелся один реалист, который не испугался, не принял слов фанатика на веру, и если вместе с прочими бежал с базарной площади, то не от призрака грядущего антихриста, бежал не прятаться, не спасаться, а с тем, чтобы извлечь из этого происшествия выгоду, — поживиться, выслужиться перед властями: он бежал прямо в пензенскую земскую контору с доносом, объявить государево «слово и дело».

Этот с реальным мозгом человек был пензенский мещанин, или обыватель, Федор Каменщиков.

Немедленно в монастырь явилась воинская команда — искать бунтовщика.

Левин не прятался, не отпирался. Это был человек с железною волею, которая только теперь сказалась в нем. Прежде, как человек нервный, как идеалист, он изливался в лирических порывах, когда порыв переходил пределы нравственной упругости, пределы упругости нервов, — нервы эти лопались, как стальная пружина, и воля его ломалась, разбивалась в порывах. Теперь эта воля словно окаменела в нем, — окаменели и нервы.

— Кто здесь Левин? — спросил офицер, явившийся с командою арестовать весь Предтеченский монастырь вместе с игуменом, Левиным и братиею. — Кто Левин?

— Се аз! — отвечал тот. — Я тот, которого вы ищиее.

Он чувствовал, что только теперь начинается его дело, его борьба.

Игумен Феодосий, который еще так недавно посвящал его плачущего, смиренного, которому этот робкий неофит покорно подавал ножницы для пострижения, — Феодосий не узнавал его. Арестуемый, падая на скамью в изнеможении, старый игумен шептал с ужасом: «Сатано! Сатано! Сатано!.. Аминь-аминь, рассыпися»...

Только у старца Ионы, с которым Левин успел подружиться в монастыре и влить в этого старика каплю своей энергии, дико блеснули глаза при арестовании и он проговорил, глядя на Левина:

— Пускай прежде повесят нас под образами, а там и обдирают с них ризы.

Когда потом Левина, в губернской канцелярии, заковывали в железа, он, протягивая руки и ноги, сказал:

— И нозе мои, и руце мои, и главу мою закуйте... Закуйте и язык мой, да души не закуете...

На него закричали, чтоб он замолчал.

— Что кричишь? — Бей тростию по главе, рукою по ланитам... Сподоби мя оплевания.

Вместе с ним заковали и доносчика, реалиста Каменщикова.

— О, Варрава! Варрава! Ты не умер еще, — проговорил. как бы про себя Левин, садясь с своим доносчиком в телегу, которая должна была везти их в Москву, как важных государственных преступников.

С ними отправлен был сержант Арцыбашев.

Дорогой Левин ласково заговаривал с своим доносчиком, расспрашивал его о семье, о детях; но тот всю дорогу упорно молчал, раз навсегда заявивши: «Мне с тобой разговаривать не след, да и не о чем, мое дело сторона».

Левина везли из Пензы на Муром. Когда проезжали лесом, Левин попросил Арцыбашева остановиться.

— Для чего? — спросил Арцыбашев.

— Богу помолиться... Тут недалече покоится прах сестры моей, персть ее, пыль, зола.

Арцыбашев позволил. Левин, выйдя из телеги, упал на колени и поцеловал землю. При этом кандалы зазвенели на нем.

— Слышишь, сестра моя, слышишь? — сказал он восторженно. — Это не оковы звенят, не железо, а золото... Из него куют мне золотой венец вместо тернового.

И он снова поцеловал землю.

— Прощай, прощай, прощай! Скоро увидимся.

Встав с земли и подняв руки к небу, он радостно воскликнул:

— Вон она, над лесом летит! Это душа ее... золотой венец, золотые волосы!

Потом, оборотясь лицом к западу, с горестью произнес:

— А ты где? Ты где, добрая моя? Увижу ли тебя когда-нибудь?

17 апреля Левина привезли в Москву и сдали в Тайную канцелярию. Все что он имел, отобрали у него. Когда в Муроме отказались дать погтовых лошадей под колодников, то Левин сам купил для дальнейшего своего следования• вместе с своим доносчиком и сержантом, купил на свой счет телегу, сбрую и пару лошадей, одну каурую, а другую гнедопегую... Таковыми названы эти исторические лошади в следственном архивном деле о Левине... У Марка-королевича, югославского героя, был «кудрявый» конь, «шарац», с барашковой шерстью, у Александра Македонского был буцефал-конь, у Левина — каурый и гнедо-пегий... За все это он заплатил 14 рублей! Таковы были тогда цены на все, в том числе и на жизнь человеческую... Отобрали у Левина дорожный пуховик, две подушки, лошаковое одеяло, серебря-

ную печать, кошелек с замком, все это, вместе с 10-ю оставшимися у него алтынами, становилось государственным достоянием.

— Разделиша ризы моя по себе, — шептал он, когда его раздевали перед допросом.

Жаль только ему было расставаться с святцами, подаренными ему Ксениею и служившими для него дневником и памятною книжкою. Там, против 24 генваря под именем «Ксения» подписано было: «Тобою, светлая, пресветися душа моя. С тобою, чистая, убелюся паче снега».

Наконец он предстал перед грозного Андрея Ивановича Ушакова, который собственно по наружности был совсем не грозен. Полненький, жирненький, гладенький, с вздернутым носиком, с ожиревшими серыми глазками, он напоминал царскую ключницу, которой недоставало только телогреи и бабьей кики. Он ходил с развалочкой, говорил медленно и ласково, и когда подписывал смертные приговоры, то всегда старался, чтоб росчерк пера вышел покрасивее. Даже выражение «смертная казнь» он всегда старался смягчить тем, что слово «казнь» писал с «ерем» в середине, «казьнь», и когда ему говорили, что следует писать без «еря», он отвечал: «С ерем, друг мой, помягче». Когда в его присутствии пытали подсудимых, то лицо его выражало полнейшее добродушие, и когда пытаемый, не вынося мук, кричал: «Скажу, все скажу!» и часто лишнее, чтоб только избавиться на секунду от адских мук, вздохнуть, не задохнуться, не умереть под пыткой, Андрей Иванович обыкновенно говаривал с улыбочкой: «Хорошее это дело — пыточка, не мучишь по крайности долго человека, сразу скажет». Зато кучеру своему никогда не позволял стегать лошадей, даже слегка. «Что ты живодерничаешь? Блажен, иже и скоты милует», — обыкновенно замечал он.

— Что, друг мой, скажешь хорошенького? — ласково спросил он Левина, кода того ввели в канцелярию.

Левин молчал, озадаченный такими словами.

— Благополучно ли доехать изволил из Пензы? — продолжал Ушаков все тем же тоном.

Левин опять молчит.

— Сказывают, у вас в Пензе антихрист появился? А?

Молчание.

— Жаль, жаль... так как же, друг мой? Экой ты не разговорчивый какой... А мне бы любопытно было узнать об антихристе-то... И насчет печатей — любопытно, любопытно...

Потом, обратясь к подъячим, сказал:

— Допросите его по пунктам. Меня он не хочет огорчать.

Начался допрос. Так как вопросные пункты вертелись исключительно на антихристе, то есть с кем именно говорил подсудимый об антихристе, связывая его имя с именем царя, то Левин ничего не скрыл, смело отвечая на каждый вопрос.

Допрашивающие смотрели на него с удивлением, а в масляных глазках Ушакова светилосв какое-то сладострастное удовольствие, точно они хотели сказать: «Вот лакомый кусочек — просто находка»...

Никакого запирательства, никакой робости, но и ничего лишнего, словно дельный студент сдает экзамен на кандидата.

Говорил он об антихристе с протопопом Лебедкой, с духовным отцом князя Меншикова.

Допрашивающие переглянулись. Ушаков ласково кивнул головкой.

Говорил с князем Прозоровским, монахом Невской лавры.

Говорил с келейником митрополита Стефана Яворского, Машкариным.

При имени Стефана Яворского у Андрея Ивановича разлилось по лицу умиление и ангельская доброта.

Говорил с дьяком дома Стефана Яворского, с Кублицким.

В селе Конопати в церкви и в Пензе — на площади громко возвещал народу пришествие антихриста в лице царя.

Говорил об нем с попом села Конопати, Глебом Никитиным, который и грозил связать его за это в церкви.

Говорил с попом своей деревни — Левиной, Чирчим тож, с Иваном Григорьевым.

С двоюродными братьями своими, Разстригиными, служившими в Преображенском полку, говорил об антихристовых печатях, привезенных царем из-за моря в трех кораблях.

Говорил со всеми своими родными, Левиными, в деревне.

С драгунским капитаном Саловым, с саранским комиссаром Языковым, с игуменом Феодосием, с монахом Ионою, глубоко уверовавшим в проповедь об антихристе и кончине света.

Антихрист, антихристова печать, три корабля с печатями, антихристовы клейма, печатать людей будут, пятнать между большим и указательным пальцами, обдирать образа, монахи едят мясо, спят с блудницами, у помещиков будут хлеб отбирать...

— Любопытно, любопытно, друг мой, много любопытного ты мне рассказал, спасибо, спасибо, мой друг, — говорил Андрей Иванович, ходя или вернее катаясь шариком по канцелярии и с наслаждением потирая свои пухленькие ручки. — А я этого, признаюсь, и не знал, сидючи в своей Тайной канцелярии... А оно вон что, на поди! Три корабля печатей... Ах ты, Господи! Вот и угадай его, антихриста-то. Спа-

сибо, мой друг, что предостерег. А я-то, старый дурак, думаю себе: царь Петр Алексеевич. Служу ему верой и правдой. А тут вон что оказывается — он нас всех морочил. Ну, спасибо, спасибо, друг мой, как бишь тебя зовут-то? Василий, а по отчеству?

Левин опять молчал.

— Савин, подсказал один подъячий.

— Да-да, Василий Савич, спасибо, дружок Василий Савич, что глаза мне открыл... Ну так как же насчет печатей-то? Где эти корабли с ними стоят? У Котлина острова, говоришь? Вот бы мне изловить их, печатальщиков-то этих, да в Тайную. А? Как ты думаешь, дружок?

Молчание.

— Так и митрополит Стефан, говоришь, знал об этом? А? Как же ему, святителю, не стыдно было от меня таить? А мы с ним други-приятели. Ну-ну! Вот истинно: не знаешь где найдешь, где потеряешь. Ну, а насчет самого антихриста-то? Так ты, дружок, заподлинно ведаешь, что он во место царя к нам явился? А? Каков молодец! Как подвел-то нас всех! Каково! Ну, если б, не ты, Василий Савич, если б ты не вывел его на чистую воду — быть бы нам всем с печатями.

Потом подойдя к подсудимому и ласково глядя ему в глаза, спросил:

— Какое твое иноческое имя?

— Варлаам.

— Так ты, чернец Варлаам, стоишь на том, что показал ныне на допросе?

— Стою.

— Ну, так теперь, друг мой, мы с тобой об этом в застенке поговорим. Без этого нельзя, — так, пустая форма, как ныне модники говорят, — одна пустая форма этот застенок, и больше ничего. Разговаривать в застенке — все одно, что после бани блины есть: весело, и на душе легко становится.

А потом, обратясь к секретарю, Ушаков сказал:

— Напиши синоду, чтобы он незамедлительно обнажил инока Варлаама от монашеского чина. А также послать нарочных за всеми, которые значатся в его оговоре.

Он махнул рукой. Левина увели.

— До свиданья, мой друг, — сказал ему вслед Андрей Иванович. — Вот оно что значит книг-то зачитываться, от них и мысли пойдут, а мысли никогда до добра не доводят, — заметил Ушаков по уходе Левина. — Нет ничего хуже мыслей. А жили бы тихо, по нашему — держали бы синицу в руках, — ну, и лучше было бы.

Андрей Иванович был реалист до мозга костей, он твердо помнил, что обухом всякую плеть перешибешь. Но зачем ее перешибать, когда можно расплести? И он расплетал.

В тот же день нарочные поскакали в Петербург, в Пензу, в Симбирск, в Саранск, в Жадовскую пустынь, в Левино, в Конопати, в Рязань. Со всех сторон везли оговоренных, которые должны были помочь развязать страшный узел, завязанный Левиным.

Начались допросы, передопросы, очные ставки и пытки, пытки без конца. Андрей Иванович как сыр в масле катался. В каких-нибудь две-три недели он успел стянуть к узлу все нитки, концы которых были разбросаны по всей России, начиная от Петербурга и кончая Конопатями и деревней Левиной.

В десятых числах мая дело казалось ему до того ясным и таким интересным, что когда 13 мая Петр выехал из Москвы в Астрахань, то Ушаков послал свой доклад по этому делу вдогонку за царем, спрашивая его:

«Старцу Левину по окончании розысков какую казьнь учинить и где, в Москве или на Пензе?»

«Он же, Левин, показал на родственников своих, четырех человек, что при них злые слова в доме говорил, да вышеписанные же слова говорил он в церкви всенародно при капитане да при комиссаре».

«По его же, Левина, распросу касается нечто до рязанского архиерея, токмо ныне без распросу старца Прозоровского нельзя того явственно признать, и ежели по распросу онаго покажется до него, архиерея, важность, и его допрашивать ли и где, в синоде ли или в Тайной канцелярии, и как его содержать?»

Доклад этот застал Петра уже в Коломне, куда он, отправляясь в персидский поход, приплыл из Москвы водою.

Доклад подали ему в тот момент, когда он собирался выходить на берег. Прочитав бумагу, он сказал с сердцем:

— Опять попы да монахи! Они, точно кроты, роют под мой трон. О! Долгогривые и долгоязычные! Если я не укорочу им эти языки, то дети, внуки и правнуки их, рано ли, поздно ли перевернут вверх дном российское царство... Кроты выйдут из земли, попомните меня! — сказал он, обращаясь к окружающим. — Теперь они без глаз, воюют, яко слепые, из-за перстного сложения и из-за трегубой аллилуии. А тогда у них глаза будут, и они объявят войну царям и Богу, и еще неведомо, на чьей стороне останется виктория.

И он тут же положил резолюции по каждому пункту доклада. Против первого пункта, где Ушаков спрашивал — «В Москве или на Пензе учинить Левину казьнь», царь собственноручно написал: *«На Пензе»*. По второму пункту Петр положил резолюцию: *«Следовать и смотреть, дабы напрасно кому не пострадать, понеже и временем мешается, и завирается»* (т.е. Левин и путается и завирается). Относительно Стефана Яворского царь написал: *«Когда важ-*

ность касаться будет, тогда сенату придти в синод и там допрашивать, и следовать чему подлежит».

Потом, обращаясь к приближенным, Петр сказал:

— Сей малороссийский народ и зело умен, и зело лукав. Он яко пчела любодельна дает российскому государству и лучший мед умственный, и лучший воск для свещи российского просвещения, но у него есть и жало. Доколе россияне будут любить и уважать его, не посягая на свободу и язык, дотоле он будет волом подъяремным и светочью российского царства; но коль скоро посягнут на его свободу и язык, то из него вырастут драконовы зубы, и российское царство останется не в авантаже.

ГЛАВА XXVI

Левин в застенке.

Ярко блестят золотые маковки и кресты московских церквей под жаркими лучами летнего солнца. Дня еще немного прошло, но железные крыши и каменные заборы успели накалиться до того, что воробьи и голуби ищут зелени, а люди прячутся в тень, неохотно показываясь на солнце.

Только одна седая голова жарится на солнце. Старик, обвешанный сумками, опираясь на клюку, бродит у генерального двора перед сенатом и что-то бормочет. Он чем-то серьезно занят. Вынимает поочередно то из той, то из другой сумки разные зерна — пшено, крупу, рис, и, изображая из себя сеятеля, сеет все это прямо на мостовую. Всякое его движение сопутствуется голубями и воробьями, которые, расставаясь с тенью крыш и зеленью палисадников, кучами слетаются на мостовую и клюют рассеваемые седым стариком зерна.

— Ах вы, божьи нахлебнички! — обращается старик к воробьям. — Проголодались, поди... А ни сеять, ни жать, ни в житницы собирать не умеете? Да куда вам? Люди бы все у вас отняли.

Завидев кошку, которая пробиралась к воробьям, он бросился на нее с клюкой.

— Ах ты, Андрюшка Ушаков! — прикрикнул он на нее. — Ишь подбирается к глупым воробушкам. У тебя, чай, в Тайной и без того мышей довольно.

На одной из церквей пробило восемь часов. Старик перекрестился.

— Одним часом меньше стало, — сказал он про себя. — И им одним часом меньше мучиться осталось.

Один голубь сел ему на плечо. Умные глазки старика засветились молодою радостью.

— Что, гуля умница, догадался? — ласково сказал старик. — А он не догадывается доселе: если б и я, как он, вздумал учить гулю дубинкой, то гуля давно бы в лес улетел.

— Бог в помощь, Фомушка, — это и был Фомушка-юродивый. — Ты все с своими детками?

Это говорил благообразный старичок, по-видимому, купец.

— С детками, — отвечал Фомушка. — А ты все с своим сынком, с аршином?

И при этом пояснил говорком:

Аршин — аршин,
Купецкой сын,
Не сеет, не жнет,
А все хлеб жует
И рубли кует...

— Верно, верно, Фомушка, — согласился купец.

Звяканье кандалов заставило их оглянуться.

К воротам генерального двора подходил арестант, закованный в ручные и ножные железа и сопровождаемый солдатами.

Фомушка, вглядываясь в него, тихо проговорил: «Бедный, бедный воробушек! Года два назад ты прыгал в Питере, на Троицкой площади, с отцом Варсонофием... Видал я тебя и с господами офицерами у Малой Невы... Видал я, как ты вылетал потом из Невской лавры, а Фомушка в те поры плакал о своей внучушке — горлинке, Веруше, что монастырские вороны заклевали...»

Звяканье кандалов смолкло. Арестанта ввели во двор.

Фомушка, подняв кверху клюку, закричал:

— Эй вы, вороны, вороны сизые! Нахлебнички

царские-боярские! Солетайтеся-собирайтеся, скоро вам будет праздничек-пированьице, столованье царское, угощать вас будут мясцом-говядинкой боярскою, а запивать вы будете кровушкой горячею.

Стук кареты заставил замолчать юродивого. Карета остановилась перед сенатом, где уже собралось несколько любопытных, в том числе и нищие. Фомушка тоже подошел к зрителям.

— Отец наш! Кормилец! — запели нищие, увидав юродивого.

— Генерал-прокурор Ягужинский в сенат прибыл, — пояснил купец.

— Волкодав, — пробормотал юродивый.

Еще подъехала карета. Из нее вышел угрюмый, но бодрый старик. Купец почтительно снял шапку и низко поклонился.

— Князь Дмитрий Михайлыч Голицын — ума палата, — пояснил он. — Это не щелкопер, не чета другим, а премудр, аки Соломон, и старину любит.

— Михаил Иванович Топтыгин, — пояснил юродивый для себя.

Карета за каретой стали подъезжать к сенату. Приехал Брюс, Яков Вилимович, Долгоруков князь, Григорий Федорович, Матвеев граф, Андрей Артамоныч.

Последними явились Шафиров и граф Гаврило Головкин. Они приехали в одной карете.

— Ишь ты, диво какое, — заметил юродивый, — одна берлога привезла двух медведей.

— Должно кого-нибудь судить собрались, — пояснил купец.

— Кого ж больше правого, — заметил юродивый.

— Как правого, Фомушка?

— Вестимо правого. Виноватых никогда не судят.

— Для чего так?

— Для того, что виноватые сами судят.

— Уж ты, Фомушка, всегда загадками говоришь.

— Ну, так отгадывай. А я тебе вот что скажу, купец, слушай: коли нищий украл у тебя кусок пестряди на порты, не ты его тащи в суд, а он тебя за шиворот тащить должен, и судить тебя за то, что ты его до воровства довел.

Купец засмеялся.

— Так по-твоему, воры должны судить не воров.

— Должны: «Зачем-де нас до воровства довели»...

— Чудеса, чудеса!

Последуем однако за сенаторами.

В сенатской зале собрался верховный суд в полном составе. За большим столом, на котором лежат крест и евангелие, сидят судьи в порядке старшинства. В голове суда — старый граф Головкин, с теми же старческо-лисьими глазками, с какими он присутствовал и на ассамблее у светлейшего Меншикова. Только нижняя губа еще больше отвисла. Далее князь Григорий Долгоруков. У этого на лице холодное равнодушие и скука, как будто бы ему все надоело.

Несколько поодаль — Яков Брюс и Шафиров. Последний с еврейскими ужимками рассматривает массивную золотую табакерку соседа и как бы мысленно взвешивает ее ценность.

Князь Голицын смотрит угрюмо, словно бульдог он поглядывает на своих товарищей и особенно косится на Ягужинского, который что-то объясняет графу Матвееву.

Перед ними стоит Левин в кандалах. Он точно помолодел. Лицо его оживленно. Только между бровями, при стыке их, встала новая вертикальная складка.

— Так ты стоишь на том, что показал на рязанского архиерея? — спрашивает Ягужинский.

— Стою, — твердо отвечает Левин.

— И что был у него многажды?

— Был.

— И наедине сиживал?

— Сиживал.

— И утверждаешься на том, якобы он, архиерей, — говорил тебе, что-де государь царь Петр Алексеевич — иконоборец.

— Утверждаюсь.

Судьи переглянулись. Злая улыбка скользнула не на губах, а в глазах Шафирова.

— И сказывал тебе архиерей, будто бы-де государь принуждал его быть синодом? — продолжает Ягужинский.

— Сказывал.

— И сказывал он, архиерей, что он-де якобы стоял перед государем на коленях и просил-де не быть синодом?

— Ей, сказывал.

— Говори сущую правду перед святым крестом и евангелием, — возвышает голос Голицын.

Левин вскидывает на него глаза и с силой отвечает:

— Всемогущему Богу отвечаю, не тебе!

— Стоишь на своем слове?

— Стою, и на нем в гроб лягу.

— И пред лицом архиерея повторишь то слово?

— Не пред лицом архиерея токмо, но пред лицом Бога Всемогущего.

Как электрическая искра пробегает этот ответ по собранию. Даже Долгоруков откидывается на креслах и изумленно смотрит в глаза подсудимого.

— Все сказал? — продолжает Ягужинский.

— Не все.

— Сказывай все.

— Говорил мне еще архиерей: желаю-де в Польшу отъехать.

— Для чего?

— Дабы не быть псом патриарша престола.

— Замолчи! Не кощунствуй! — крикнул на него Ягужинский.

— Ты что кричишь, холоп царев! — И подсудимый зазвенел цепями. — Я и на Страшном суде не замолчу.

Все сенаторы встали с мест.

— В застенок его, — проговорил Головкин.

Подсудимого увели в застенок. За ним последовали все сенаторы.

— Утверждаешься на слове? — еще раз спрашивает Ягужинский.

— Утверждаюсь.

— Палачи! — делайте свое дело.

На подсудимого надевают пыточный хомут, к одной ноге привязывают веревку и тянут на дыбу. От тяжести тела и еще более от того, что один из палачей всеми силами натягивает веревку, привязанную к ноге подсудимого, руки несчастного выскакивают из суставов.

— Бей! — говорит Ягужинский одному палачу.

Удары палача не изменяют решимости фанатика. Он упорно молчит.

Сенаторы ждут, думая, что невыносимые муки заставят несчастного кричать, молить о пощаде, изменить показания...

Ждут десять минут... двадцать... двадцать пять... Можно задохнуться на виске, обезумев от боли... Нет!

Палач от времени до времени повторяет свои удары, от которых вол заревел бы...

Нет! не ревет...

Еще ждут... Становится скучно и досадно.

— Утверждаешься на последнем показании? — нетерпеливо спрашивает генерал-прокурор.

Молчит.

— Стоишь на слове? (К палачу). Ударь сильнее! Стоишь?

Молчание.

Ждут... Тридцать минут... сорок...

— Ведомости пришли из Астрахани, что государь в море отплывает, — говорит Головкин.

— Не сдобровать Мир-Махмуду — замечает Брюс.

Опять ждут.

— Пишут мне из вотчины: засухи стоят, урожаи плохи, чай, выдут, — заводит Голицын.

— Арбузы, сказывают, государю полюбились в Царицыне быковские, — поясняет Шафиров.

— Да, в сухой год арбузы хороши бывают, и ягод прорва, — добавляет Ягужинский.

Ждут. Молчит Левин.

— Еще ударь!

Ни звука... Ждут, слушают... Никак говорит? Да, говорит.

— Матушка! Матушка! погляди на меня с небес, на сына твоего, на Васю, — шепчет несчастный. Посмотри, матушка! Какой я славы дождался.

— Заговаривается, — замечает Голицын. — Пора бы снять.

— Дуня! Евдокеюшка... ты видишь меня... порадуйся...

— Да, бредит.

— А ты, Оксаночко, где ты?

— Снимите! — приказывает Головкин. — Сорок пять минут висел.

Снимают. Ждут слова, мольбы — напрасно!

Подсудимый поднимает руки к небу и говорит восторженно:

— Благодарю Тебя, всемогущий Боже, яко сподобил мя мученической славы! Славлю имя Твое святое ныне и присно!

— Не снимаешь свой оговор с архиерея Стефана? — снова спрашивает Ягужинский.

— Не снимаю! Суще на архиерея право те слова показал... А се ныне добавлю: он же, архиерей, говорил мне, что будут писать токмо три иконы да распятие, а остальные-де станут на воду пускать и жечь. И он же говорил мне: «Едучи до Новгорода, в дороге помолчи, а от Новгорода сказывай, чтоб иконы убирали».

Сенаторы с недоумением, а иные и с тайною радостью посмотрели друг на друга: приходилось допрашивать великого старца, блюстителя патриарша престола, митрополита Стефана Яворского.

Когда Левина увели, граф Головкин обратился к сенаторам:

— Будем допрашивать архиерея, господа сенат?

— Повинны в силу указа царева, — замечает Ягужинский.

— Да будет так! Воля царева — мать закона: она его рождает, пояснил, не без задней мысли, Долгоруков.

Когда Левина вывели из ворот генерального двора, чтоб снова отвести в тюрьму Тайной канцелярии, народ с боязнью расступился перед ним: лицо его выражало что-то такое всепрощающее, необычное между людьми, что становилось страшно чего-то.

Один Фомушка не испугался. Напротив, он быстро подошел к арестанту и поклонился ему до земли. Затем, сев верхом на клюку, как это делают ребятишки, когда играют в лошадки, стал прыгать впереди Левина, показывая вид, что скачет.

— Пошел прочь, дурак! — закричал на него один солдат, по-видимому нерусский... — Что ты делаешь?

— Еду к Марье Акимовне и к Иван Захарычу, — отвечал юродивый загадочно.

— Зачем? — спросил купец, знавший уже, кто разумелся у юродивого под именем «Марьи Акимовны», и кто был «Иван Захарыч».

— Чтоб Марья Акимовна сынка своего попросила отворить райские двери.

— Для кого?

— Вон для него.

И юродивый, указав на Левина, поскакал верхом на палочке среди изумленных москвичей.

— Ишь Божий человек — Христа ради юродствует, радуется, — заметила баба, несшая хлеб с базара. — Господь, должно, радость нам пошлет — хлебушка подешевеет.

— Держи, баба, карман! — обрезал ее купец. — Юродивый радуется — к худу, а плачет — к добру.

Левина уже не видно было. Слышалось только издали мерное позвякиванье кандалов.

— Слышите! Слышите! — говорил вновь откуда-то взявшийся Фомушка, прислушиваясь к звяканью железа. — Это Петруша апостол звенит райскими ключами... Отпирает, отпирает... Ай да Петруша!

ГЛАВА XXVII

Очная ставка с Стефаном Яворским. Левин на спицах.

Идет допрос Стефана Яворского. Митрополита допрашивают не в синоде, а на дому, «ради болезни».

И духовный, и светский верховные суды в полном составе собрались вместе.

Но кто кого судит? Этот ли ветхий, маститый, с кроткими глазами старец в митрополичьем одеянии, сидящий особо, поодаль от других, и задумчиво перебирающий свои четки, к концу которых подвешано маленькое золотое распятие, утвержденное на перламутровой, искусно выточенной мертвой голове? Он ли судит это сонмище вельмож светского и духовного чина, сидящих против него за особым столом? Или эти вельможи, не смеющие прямо взглянуть в кроткие глаза подсудимого и точно слышащие над собою приговор юродивого, что судят всегда виноватые правого, а не правый виноватых, — судят этого кроткого старика?

В числе судей — враг Стефана Яворского, пронырливый и завистливый соотечественник Стефана, воспитанник иезуитов, украинец Феофан Прокопович. Жесткое, хитрое лицо его выражает скрытое торжество под личиной смирения. Рядом с ним другие члены синода: архимандриты чудовский, новоспасский и симоновский. Это — высший духовный суд.

Отдельно от них сидят члены светского верховного суда «господин сенат»: граф Головкин, лукавые глаза которого, словно мыши, попрятались в норы, князь Григорий Долгоруков, Яков Брюс, Шафиров, князь Димитрий Голицын, граф Матвеев и Ягужинский.

Ягужинский протяжно, внятно и с расстановками читает бесконечные показания, данные Левиным в Тайной канцелярии, в сенате и в застенках под пытками 28 апреля, 8, 11, 15 и 26 июня, и последнее — 5 июля.

Утомительно это чтение и мучительно для Стефана Яворского: имя старика попадается на каждой странице, рядом с этим именем звучат слова «антихрист», «царь», «антихристовы печати», «блудники-монахи»...

При подобных словах то в глазах Феофана Прокоповича блеснет зловещий огонек; то глазки Головкина засветятся словно гнилушка ночью. Но задумчивые глаза подсудимого старика смотрят куда-то далеко-далеко, не то на далекую, милую, в тумане старческой памяти выступающую Украину, на родной Нежин, на старое дерево в леваде с вороньим гнездом, не то — в близкую могилу, у которой уже лежит готовая лопата, чтобы засыпать землей кроткие, отглядевшие свой век глаза, чтобы уж не глядеть им в невозвратное прошлое, на невозвратную Украину.

Ни Прокопович, ни Головкин, ни Ягужинский ничего не могут прочитать в этих глазах, потому что их реальный ум незнаком с тою речью, которою говорят задумчивые глаза подсудимого.

Наконец чтение показаний Левина кончено.

Подсудимый глубоко вздохнул, но не изменил ни своего положения, ни задумчивого выражения глаз.

Помолчав немного, Головкин медленно произнес:

— Что будет угодно ответствовать на сие вашей святыни?

Стефан Яворский перенес на него свои глаза, потом медленно перенося их на недоумевающие лица всего собора, начал говорить тихо, плавно, спокойным, совершенно деловым языком:

— Оный Левин в Нежине у меня был ли и такие слова, которые в расспросе его показаны, говорил ли, того за многопрошедшими годами сказать не упомню. А в Петербурге в прошлом 1721 году он, Левин, ко мне прихаживал не однажды и просил прилежно меня, чтоб ему дать грамоту о пострижении, и я говорил ему, чтоб он просил в Военной коллегии об отставке от службы, и когда-де свободный от службы указ за руками генералов и за печатью ему дадут, тогда-де я и о пострижении его грамоту дам. И потом он сказал мне, что оный указ взял и просил меня, чтоб я о пострижении его дал письмо в Соловецкий монастырь к архимандриту. И я такое письмо ему дал.

Ягужинский усердно записывал каждое слово митрополита. Привычное перо скрипело при общей тишине, как бы торопясь уловить не то, что говорил подсудимый, а то, что он думал и чувствовал.

Помолчав немного, митрополит продолжал:

— Да, все это было так, как он сказывал. А таких слов, что будто бы он при мне называл государя антихристом и будто я молвил, что-де он, государь, не антихрист, а иконоборец, и будто я посылал его с келейником своим в сенат смотреть образов и к соловецким старцам будто для проведывания, каково в оной обители жить, также и в Невский монастырь к Прозоровскому, а также о неподписании под пунктами о синоде и о царевиче и что будто в Польшу я хотел отъехать, — и таких слов я от Левина не слыхал и сам ему не говаривал, и ничего того не бывало.

Перо Ягужинского так резко скрипнуло на последнем слове, точно крикнуло: «Неправда! неправда!»

И под Феофаном Прокоповичем затрещало ста-

рое кресло. Глаза его светились словно у борзой собаки, несущейся за лисою... «Ох, уйдет, ох уйдет старая лиса!»...

А митрополит продолжал:

— Да и наедине со мною Левин никогда не бывал, и в спальне у меня не бывал также, а бывал только в передней палате или в крестовой, и то при других людях, а не наедине, и многажды дожидался меня на крыльце и прашивал дорогою о пострижении же. А к попу Никифору Лебедке, может быть, что я его просить о вспомоществовании у светлейшего князя об отставке от службы и посылал, понеже Лебедка, отец духовный светлейшему князю и всему дому его был и мог бы ему помощь учинить.

Митрополит замолчал. Молчало и все собрание сановников.

— И о всем сказанном ваша святыня неотступно подтверждаешь? — спросил наконец Головкин.

— Ей-ей, — отвечал митрополит, — о всем сказанном пред Богом и пред его императорским величеством приношу я самую истину так, как явиться мне пред Богом. А ежели я в сем ответствовании сказал что неистинно и хотя мыслию к тем Левина злым словам коснулся, то дабы мне во аде со Иудою вечно мучиться.

Ягужинский встал и поднес ему то, что записал с его слов. Митрополит внимательно прочел и, подойдя к аналою, на котором стояла чернильница, взялся за перо.

Феофан Прокопович по-прежнему не спускал с него глаз. «Ох, уходит, старая лиса»...

— Ой! — вдруг вскрикнул Феофан в испуге. — «Что это! Что это! С нами Бог!»

Митрополит оглянулся, и кроткое, задумчивое лицо его осветилось улыбкой.

— Ах ты, бабась дурный! Що ты робишь? Як

злякав преосвященного владыку, — сказал он и поспешно подошел к испуганному Феофану.

Оказалось, что ручной сурок, вывезенный из Малороссии и выкормленный Яворским, приняв полу рясы Феофана Прокоповича за полу своего хозяина, Яворского, уцепился за нее зубами и тянул для каких-то своих сурковых соображений. Почувствовав это и увидав, что его тащит за полу какой-то зверь, Феофан Прокопович испугался этой неожиданности и закричал.

— Ах ты, дурный бабась! — продолжал добродушно митрополит, грозясь на зверька пальцем. — Выбачайте его, дурного, ваше преосвященство... Простить великодушно... Это у них, должно быть, ссора вышла с сорокою, так он меня и зовет на суд.

В это время из другой комнаты вышла и сорока, скача по полу и держа во рту апельсиновую корку.

— Вот она, злодейка, — сказал добродушно старик.

Все грозное судилище рассмеялось. Смеялся и Феофан Прокопович, но с досадой.

— Геть видсиля, дурни! — затопал на своих друзей старик, и выгнал их в другую комнату.

Потом, снова подойдя к аналою и взяв перо, он задумался. Вероятно, ему вспомнилась Малороссия, потому что, подумав немного, митрополит сказал:

— Так, так, припамятовал... Дай Бог память — стар становлюсь, забываю... Да, так. Был у меня Левин в Нежине и просил о заступлении к генералу Ренну, понеже он, Левин, в то время, не ведаю в каком деле был арестован и шпага у него снята, и по моей просьбе шпага ему отдана была по-прежнему.

И взяв перо, он дрожащею рукою вписал все это в свое показание и подписался.

Головкин взял подписанное, повертел в руках и, метнув своими светящимися гнилушками в Феофана

Прокоповича, потом в Ягужинского, обратился к Яворскому с такою медовою речью:

— Ваше высокопреосвященство! Мы радуемся радостию великою, что Богу угодно было, в лице твоей святыни, оправить своего служителя пред лицом его императорского величества во взведенном на твою святыню недостойном поклепе. Но дабы убелить паче снега верность твою пред его величеством, подобает уличить пред твоею святынею богомерзкого клеветника и хульных слов огласителя, онаго Левина. Поставим его пред тобою, и да поразит его Божий гнев, аки Анания и Сапфиру.

Митрополит понял, к чему клонилась эта сладкая речь.

— Вы хотите поставить меня с ним на очную ставку? — сказал он. — Да будет воля Божия.

— Нет, не на очную ставку, ваше высокопреосвященство, а ради улики мерзких дел онаго Левина.

— Делайте, что вам велит совесть, — сказал старый святитель, и сел на прежнее место.

Дали знак, чтоб ввели Левина. Он был приведен раньше на митрополичий двор.

Ввели и Левина. Судьи, которые еще недавно пытали его и дивились необычайной силе воли, светившейся в каждой черте лица, теперь не узнавали его. Он вошел в глубоком смущении. Никому не кланяясь и не глядя ни на кого, он подошел прямо к Стефану Яворскому, звеня кандалами, и, став на колени, поцеловал край его одежды с таким благоговением, как бы прикладывался к образу.

Митрополит молча благословил его.

Поднимаясь с полу, Левин робко взглянул на старика. Старик плакал.

Левин не выдержал. Все тело его затряслось так, что зазвенели железа, и он, припав лицом к ногам митрополита, в исступлении заговорил:

— Лобзания мои да будут гвоздьми, ими же пригвождены имуть нози твои святые ко кресту страдания. Слова мои да будут венцом терновым на главу твою честную, отче! Слезы мои да будут оцтом, им же напою я уста твои кроткие! Сердце и ребра твои я, окаянный, копием неправды прободу и голени твои хулою на тя преломлю, старче Божий!

Все с удивлением смотрели на фанатика. Он продолжал валяться у ног митрополита, звеня кандалами в судорожных движениях.

— Встань, сын мой, — кротко говорил старик. — Обличай меня.

Левин встал.

— Слушай ответы архиерея, — громко сказал Ягужинский.

И начал читать показания митрополита. Левин слушал, не поднимая глаз.

Архиерей утверждает, что ты показал на него ложно, — сказал Головкин по окончании чтения.

— Не ложно показал я, а сущую правду, — отвечал Левин с прежнею энергиею.

— И утверждаешься на первом показании?

— Утверждаюсь.

— И на том стоишь, будто архиерей называл царя Петра Алексеевича антихристом?

— Стою и стоять буду!

— Ни от одного слова не отрекаешься?

— Нет! нет! нет!

Феофан Прокопович видимо прятал свои торжествующие глаза... «А! попалася старая лиса!..»

— А ведаешь ли ты, какими муками ты мучен будешь за твои хулы? — спросил Ягужинский.

Левин посмотрел на него с удивлением.

— Я ищу мук, а ты мне грозишь ими! Молю о чаше меда, и ты сулишь мне ее. Давай же скорей! Вот мои руки, — и Левин вытянул их, – вылущивай

кости из кожи, отделяй сустав от сустава, вытягивай жилы мои, аки струны, и струны сии будут греметь хвалу Богу Вседержителю! Га! А они стращают меня муками, мучьте же меня больше! Мучьте святое тело архиерея Божия, вы недостойны ступать вашими ногами по той земле, иде же его честные нозе ходят! Зовите мучителей, слуги антихристовы!

Он пришел в такое исступление, что его тотчас же вывели.

. . . .

Ночь. Каземат тускло освещен ночником. За решеткою казематного окна слышны мерные шаги часового.

Левин сидит у стола, опустив седую голову на руки.

— Матушка! Матушка! Видишь ты славу мою? — говорит он тихо. — Тело мое болит, кости ломят во мне, а я радуюсь духом... Дожил... Доживу ли до последней славы.

Он вспоминает последнюю очную ставку с старым митрополитом.

— Отче святой, прости, прости меня! Мукам отдаю я тело твое ветхое... Я хочу вместе с тобою стоять одесную Бога Вседержителя...

Он помолчал и, взглянув в оконце, увидал, что ночь уже на исходе, восток алеет, воробьи за окном чирикают, ласточки проснулись.

Жаль ему чего-то стало.

— Али мне прошлого жаль, по младости встосковалась душа? Нет, не жаль мне младости, не воротишь ее. Не почернеть моей головушке седой, не потечи быстрой речушке вспять. Али мне Ксенюшку жаль неповинную? Да и ее не воротишь, и к ней дороженька заросла, а может она и гробовой доской прикрылася... Али об Евдокеюшке душенька моя восплакала? Нету, рассыпалася она золою по лесу,

в дыму ее тело девичье развеялося... А все он, лиходей мой, заел жизнь мою... Одного жаль мне — старца Божия, архиерея кроткого... Плакал он сегодня, глядючи на мое окаянство. Тяжко мне было видеть персону его благую, благолепную... А как и его поведут на плаху, на поругание? Нет, сниму с него оговор, завтра же пойду в тайную и сниму...

Все алее и алее становится восток... Утро заглядывает в тюремное оконце... Скоро день заглянет...

А ему что до этого? День, ночь, жизнь, смерть — все это для него чужое... все пропало... наступает вечность...

. . . .

Жаркий летний день заглядывает в казематное оконце. Железные решетки не мешают солнцу, не мешают жизни врываться в тюрьму...

А для него нет уж жизни и солнца нет, не надо ничего.

Он был в тайной. Снял оговор с митрополита...

Чего ему это стоило! Он снял оговор на дыбе... под 25-ю ударами палача, все вынес за доброго старичка, и ему теперь легче... Все кости переломаны, вся спина сплошною раною стала, а легче!

— Непостижима ты, душа человеческая! — думается ему. — Легче мне... мама! Мама! Я к тебе хочу... я плакать хочу, так, как маленьким плакал... Нет, не сумею уж так плакать...

— Господи Исусе Христе сыне Божий, помилуй нас! — слышится голос за дверью.

— Аминь.

Входит монах.

— А! это ты, Решилов... Опять пришел увещевать меня?

— Да, ищу твоего спасения.

— О! Иуда, вотще трудишися... Поди к моим мучителям и скажи им последнюю волю мою... Ко-

ли меня выпустят отсюда, я пойду по лицу земли российской и во всех градах и на путях кричать и порицать царя злыми словами буду и новую веру осуждать на всех стогнах и распутиях, дабы народ ужасался... И ныне, при тебе, в очи твои лукавые взирая, вашего антихриста злыми словами стократы порицаю, и новую вашу неправую веру охуждаю, и тело, и кровь Христову, что неправые попы дают за истинное тело и кровь его, спасителеву, не приемлю, а иконы ваши на генеральном дворе идолами называю, потому что у образа Спасителя не написана рука благословляющая, а у образа Пресвятой Богородицы Младенца не написано, а у образа Иоанна Предтечи благословляющей руки не написано... И то — знамение антихристово... Он пришел, знай это... Ведай и сие: у графа Гаврилы Головкина, что судит меня, у сына его — красная щека, да у Федора Чемоданова у сына ж его пятно черное на щеке, и на том пятне волосы черные ж, а они, Головкина сын и Чемоданова сын же, братья двоюродные, а такие люди будут все во время антихристово, так и в Писании сказано! Поди и скажи это всем, а меня оставь, мне смерть в очи смотрит.

Он замолчал и упал головою на стол...

— Уйди! Уйди от меня! — говорил он судорожно. — Не мешай мне глядеть в очи смерти... Там я вижу мать мою, и их вижу, ты... Ты не должен знать имен их... Уйди! Я с ними хочу говорить...

Решилов ушел.

. . . .

Сенаторы на генеральном дворе. Опять полный собор судей.

Левин стоит на спицах... Острые зубья впились в его голые ноги...

Велика изобретательность человека. Велик ум его творческий и разрушительный. Велика, страшно велика и воля человеческая...

Стоя на спицах, Левин говорит свое последнее слово:

— Все, что я говорил прежде, и то я говорил с умыслом, чтоб время продолжить, дабы народ речей моих наслушался... И ныне я стою на прежнем: небо видит меня... небо слышит мои речи, и оно поведает их людям... Я сам искал смерти, я сам, волею моею, пострадать хотел — и кричу мои слова к Богу, к небу...

На решетку двора села ворона.

— Вон, птица сия слышит мои слова, — она поведает их людям, она выклюет мои глаза и мозг мой и расскажет людям мысли мои, каркать будет, и люди будут думать моею мыслию и видеть зло мира сего моими очами, как я его вижу... Аминь.

Больше он не сказал ни слова.

А сенаторы ждут... Да и нервы же были у сенаторов!

ГЛАВА XXVIII

Казнь. Возвращение на родину головы Левина в банке со спиртом. Идеалисты!..

Неувядаемою славою гремит во всем мире, в Старом и Новом свете, римская Тарпейская скала. Со школьной скамьи имя этой скалы врезывается в память современных учащихся поколений. А сколько генераций отживших поколений унесло с собою в могилу память этого славного имени. И не умрет это имя до тех пор, пока людей будет интересовать прошедшая жизнь человечества, пока история человека и его заблуждений не перестанет напоминать людям, что медленно, слишком медленно, постыдно медленно превращаются они из исторических зверей в исторического человека, в того человека, который бы имел право не презирать себя и сожалеть лишь о том, что люди слишком долго, дольше чем определила сама природа, оставались зверями.

Неувядаемую славу в летописях человеческого зверства и человеческой глупости Тарпейская скала заслужила тем, что с нее примляне сбрасывали римлян же за то, что первые были глупее последних, а последние глупее первых. Тарпейская скала была для классически глупого Рима местом публичной казни государственных преступников.

Такою Тарпейскою скалою в старой Москве было Болото.

Неувядаемую славу в истории русского народа стяжало Болото в особенности в XVII и XVIII веках. Какие стада раскольников пережгли там на кострах, сколько голов было там отрублено, все в силу той же неувядаемой человеческой глупости, какие звери не перебывали на этом Болоте и в качестве казнимых, и в качестве казнящих!

Вон и теперь Болото запружено народом. Должно быть зрелище ожидается — казнить кого-нибудь будут...

Как любопытно!

А еще так рано. Утреннее солнце, смотревшее на глупую, жалкую землю в этот день, 26 июля 1722 года, еще не успело высушить огромный костер, поставленный на Болоте для сожжения кого-то и ночью смоченный дождем. Капли дождя, как будто слезы человека, капают с бревен и бриллиантами блестят на солнце. А скоро эти мокрые бревна окрасятся человеческой кровью, тогда зрелище будет еще величественнее. Недаром так валит народ к этому костру. А потом его будут сушить, да не просто сушить, а вместе с сожжением человеческого тела. Вот зрелище-то будет величественное и поучительное! Если б оно не было поучительно, если б оно не было заманчиво и не привлекало толпы любопытствующих, то подобные зрелища никогда и не устраивались бы — не для кого. А благо есть охотники посмотреть, как мучат человека, как жгут его люди же, — ну, и давай побольше таких развлечений...

Старая Русь и новая Русь сошлась у костра. Старая Русь — брадатая, в неуказном платье, новая Русь — бритая, в указном платье.

Бородачи робко трутся меж небородачами, того и гляди потащат, хоть они и оградили себя законом: вон какие на них зипуны с стоячими клееными козырями да однорядка с лежачими ожерельями. Мнутся между ними и староверы, у тех указный красный козырь. За право носить то, что им природа дала — бороды, они заплатили по пятидесяти рублев. Сумма немаленькая в те времена. На эту сумму можно было купить целую кучу рекрутских квитанций...

Сбитеньщики выкрикивают сбитень горячий. Пирожники — пироги горячие. Грушевики зовут...

А вон и хохол, черкашенин из Украины. Как тебя сюда занесла нелегкая? Шапка-смушка в пол-аршина вышины так и гнет голову. Шаблюка звенит, словно воз с железом едет. Усища — на диво — по две пяди длиною на грудь свисли. Чоботы желтые на высоких подборах. А шаровары — Боже мой! — широки как замыслы покойного — нехай легенько згадается — Ивана Степановича...

И чернички с кружками — тут же. Да какие миловидные! Молодые еще, только загорелые, должно быть издалека пришли и случайно сюда попали...

— Ох, панночко! Та се ж мабудь наш козак — дивиться — он иде...

— Та козак же ж — запорожец...

И глаза у чернички затуманились... А глаза такие большущие, серые, ядовитые да ласковые...

— Пресвята Богородиця! Та се ж вин, панночко!

— Хто, Докійко?

— Та Омелько ж, Пивторагоробця...

Омелько проходит мимо и бросает в кружки по карбованцу. Звонко крикнули казацкие карбованцы! Порадовалась душа казацкая.

— За душу раба Божого Охрима козака, Пивторагоробця...

— Дядинька! Та се ж вы? — робко спрашивает черничка с черными глазами и с икрами невообразимых размеров.

Запорожец останавливается.

— Та я ж, — отвечает он лаконически.

— А вы нас и не пизнали?

Запорожец всматривается, вспоминает.

— Ни, не знаю, — отвечает он.

— Та я та Докійка, що у Хмары жила, а вы мени ще монисто привезли, як козаки Синоп зруйновали... А то — моя панночка, Оксенія, тепер черничка.

Запорожец шибко обрадовался своим землячкам.

Толпа затерла их, бросившись к костру, где стоял какой-то высокий старик и громко читал то, что было написано на большой жестяной доске, прибитой к столбу.

«В нынешнем 1722 году, июля в 26 числе, — читал старик, — по указу его императорского величества и по приговору правительствующаго сената, старец Варлаам, а по обнажении монашества Василий, Савин сын, Левин, который напред сего был капитаном»...

— А! Капитан, не наш брат, — заметил зипун однорядке с клееным козырем.

— Нашему брату много чести... эки палаты сосновые, — процедила однорядка.

...«казнен будет смертию для того, — продолжал старик, — марта в 19 числе сего ж году, пришед он, Левин, в город Пензу на торг, кричал всенародно злые слова, касающиеся к превысокой персоне его императорского величества и возмутительные к бунту. А в Тайной канцелярии по распросам его, Левина, и по розыскам явилось, что не токмо на Пензе, но и прежде того отцам духовным на исповеди и на Пензе в Предтеченском, да в Симбирску в Жадовском монастыре игуменом и начальному своему отцу старцу Ионе, и в Саранском уезде, в церкви, всенародно, также едучи из Санкт-Питербурха в Пензинский уезд, дорогою всем те бунтовные слова он, Левин, разглашал, явно к тому ж показал он расспросом, что и впредь-де ежели ему означенную вину отпустят и от смерти его освободят, то-де имел он намерение, чтоб во всех городах и на путех народ к бунту возмущать»...

— Это, значит, за Докукиным подьячим[27] пошел, — заметила однорядка.

— Какой такой Докукин? — любопытствует зипун.

— А что колесовали года три тому будет.

— За что?

— А народ смущал.

— Ишь ты — не смущай.

— А ты ин слушай! — вмешался красный козырь... — Что мелешь, не смущай!..

— «Да он же, Левин, — продолжалось чтение, — при распросах своих показал, что-де веру христианскую православную он хулит, и тело и кровь Христа Спасителя нашего за истинное тело и кровь Его не приемлет, и святые иконы называет он идолами, и ежели-де его допустят, то он их исколет»...

— Вон оно что! Исколет... А то не смущай! Кто смущает? — ворчал красный козырь — старовер.

— Ну, и исколол бы, — огрызался зипун.

— Что ж! Каковы иконы... может, персты не так написаны...

— Не так! А ему на что? Так и колоть Бога-то?

Красный козырь отвернулся от зипуна.

...«И тем он, Левин, — читалось дальше, — показал себя не токмо злым порицателем его императорского величества высокой персоны и возмутителем народа, но и богохульником, и иконоборцем...

— Ишь куда, брат, хватил! Конобоец, слышь... ну, за это и у нас не похвалили бы: у нас конокрадов тоже сами мужики жгут — философствовал зипун.

— Иконоборец, а не конокрад, — внушала однорядка.

— Все едино — вор! — настаивал зипун.

Старик читал: «Да он же некоторых духовных и мирских оклеветал и напрасно, а потом в повинной своей написал, что он оклеветал их напрасно. Да он же, богохульник, и по объявлении ему смертной казни исповедаться и святых Тайн причаститься не хотел, принося на тело и кровь Христа Спасителя нашего хулу, токмо уже пред самою казнею сущую свою

вышеописанную злобу объявил явственно, и пред Богом и пред его императорским величеством и пред всем народом принес вину и чистое покаяние, написав о всем своеручно, исповедался и святых Тайн причастился. И хотя за вышеписанные его злые вины достоин он был по указом мучительной казни, однако же для вышеписанного его покаяния учинена ему будет казнь — отсечена будет голова, а туловище сожжено быть имеет, и тое голову послать на Пензу, где он то возмущение чинил, и поставить на столб для страха прочим злодеям».

Статная фигура запорожца с густо-смуглым лицом и миловидные, полузакрытые черными клобуками лица черничек снова выглянули из-за толпы, которая больше кучилась у костра и эшафота, где происходило чтение.

— И давно вже вы, Оксенія Остаповна, черницею? — спрашивает запорожец так нежно и ласково, как, по-видимому, трудно было ожидать от этого богатыря.

— Десятый вже год минае, — отвечает Ксения (это была она).

— А в якому монастыри?

— На Билоозери...

— О! Далеко ж вид ридного Кіева.

— Та так далеко, так далеко, що здается мени, та золота Украина на тим свити стоить, що ни птиця з милои Украины не долетить сюда, ни мовы ридной витром не донесе...

Из прекрасных глаз ее выкатились две крупные слезы и звонко ударились в жестяную кружку. И Докийка плакала.

— Чом же вы, Оксенія Остаповна, у кіевскій монастырь не пишли? — участно спрашивает запорожец.

— Я й постриглась у Кіеви, та царь звелив заслать мене на Билоозеро.

— За що?

— За те що не хотила выйти за его денщика, москаля, за якого-сь Орлова... А вы ж як попали у Москву?

— Та мы були тут з паном гетьманом, з Скоропадькою, пріиздили царя прохать, щоб не рушив козацьких вольностей. Так Скоропадько, хворый, поихав до дому, а мы ще зостались, нас Москва не пускае... Та й очортила ж бисова Москва! Яка-то вона погана та бридка, так бы й полинув на Вкраину, наниз, у Запороги.

Ксения вздохнула.

— И мы з Докійкою нагадали йти до ридного краю, хоч раз глянуть, та и вмерти, — сказала она тихо, оглядываясь.

— А ты, Докійко, сама пишла в черници? — спросил запорожец.

— Та сама ж. Як ото узято було панночку до Москвы, я вызнала вид москаля — комиссара, що брав мою панночку из монастыря у Кіеви, що ій наказано везти у якесь Биле Озеро, я взяла та й помандровала... Йду, та тильки й знаю два слова помосковьски — Москва та Биле Озеро, роспитую добрых людей... Так и дойшла до самого Билого Озера.

— О так козырь-дивка! — засмеялся запорожец. — Ты и в рай дорогу знайдешь.

— За панночкою хоч и у пекло, — отвечала она смело.

— А як же вы з Билого Озера утикли?

— Нас одпущено милостыню на монастырь прохати.

Толпа заколыхалась. Показался взвод солдат и телега, на которой виднелось что-то черное. Это был Левин, который сидел задом наперед и держал в руках горящую восковую свечу... Страшная картина! Только человеческий гений способен так унизить себя...

— Ох, бидный! Бидный! — тихо проговорила Ксения. — Мати Божа! Помилуй его... Хто вин, вы не знаете?

— Казали люди, та забув. Копитан якій с.

— А за вищо?

— Богородицю, кажуть, лаяв. Та брешуть москали.

Телега остановилась. Взвод раздвинулся и, пропустив осужденного на костер, снова сомкнулся.

Начался процесс чтения обвинительного акта. Последнее прощанье с людьми, с солнцем, с светом, со всем миром, с жизнью.

Ксении не видно лица осужденного. Он стоит оборотясь к востоку, туда, где когда-то люди прибивали к кресту Того, кто желал им добра больше, чем они того стоили... Идеалист!..

Вот он кланяется востоку... северу... югу...

Лицо его повернулось к Ксении...

— Ох, матинко! Панночка! Се вин! — вскрикивает Докийка. — Мати Божа!

Молния прорезывает душу несчастной... Она узнает его, своего спасителя, того, кто возвратил ей жизнь... на великое счастье... и потом — на величайшую муку...

Раздирающий душу вопль в толпе... Это черничка...

Осужденный вздрагивает. Глаза его ищут кого-то... нашли... нашли ее...

Невыразимое блаженство разливается по лицу его...

— Ксения! Ксения! — кричит он, протягивая руки с высоты костра и намереваясь ринуться оттуда.

Но палачи схватывают его и бросают на помост эшафота... «Оксано! Боже! Я жить хочу»...

Слышится лязг топора и — хрипенье...

. . . .

Костер, облитый горючими веществами, горит ярко, жарко, красиво... Только там, где лежит туловище, дымится, — это еще не затлелось тело, не разгорелось сало человеческое...

Около костра палач, держа голову Левина за седые волосы, опускает ее в банку, которую бережно держит аптекарь-немец... Реалист держит голову идеалиста... Глупая, глупая голова!..

А вон казак Омелько Пивторагоробця, взвалив на свои могучие плечи черничку, выносит ее из толпы...

Другая черничка плачет, так реально плачет, что не только плечи, но даже толстые икры вздрагивают...

Из толпы выскакивает идеалист Фомушка на палочке верхом и радостно кричит:

— Пустите! Пустите! К Марье Акимовне радость везу! — Бедные идеалисты!

Пенза. Базарная площадь, та площадь, где Левин возглашал свою проповедь на крыше... «Проповедь на горе» — и проповедь на крыше... Жалкий контраст!

На площади — высокий, новый каменный столб со шпицом.

На шпице — голова Левина. И здесь она обращена на восток, туда, где... эх, идеалисты!

Вокруг этого столба — четыре других, деревянные, поменьше. На них взоткнуты головы попа Глеба, попа Ивана, игумена Михаила и старца Ионы, тех, которым говорил Левин, что свет кончается, что жить так нельзя.

Тут же стоит старик Варсонофий. Возвращаясь из Иерусалима, он зашел в Пензу проведать старые места и нашел голову своего друга. Старик не плачет — он вспоминает царевича Алексея Петровича и Афросиньюшку.

Через площадь проходят старые калики перехо-

жие и поют: «Ой у Бога великая сила». Идеалисты!

А вон в окошко того домика видно — кто-то считает деньги: «Двести девяносто восемь, двести девяносто девять, триста... все». Это — посадский человек Федор Каменьщиков, реалист, будущий российский буржуа, получивший триста рублей за глупую голову идеалиста.

Бедные, глупые идеалисты! Когда же вы поумнеете?

КОНЕЦ

Послесловие

Известный писатель, блестящий исторический романист, видный исследователь народных движений, публицист — такими эпитетами современники уважительно и вполне заслуженно величали писателя Даниила Лукича Мордовцева. В наши дни произведения «российского Вальтер Скотта», как метко окрестили Мордовцева критики прошлого столетия, вновь начинают привлекать внимание любителей исторической беллетристики. Свидетельством этого служит и публикация романа «Идеалисты и реалисты», долго числившегося среди книг нашего полузабытого литературного наследия.

Автор романа, Даниил Лукич Мордовцев, родился 19(7) декабря 1830 г. Родиной писателя, в жилах которого текла кровь вольных казаков Запорожской Сечи, стала слободка Даниловка на реке Медведице в Области войска Донского. Отец будущего известного романиста — Лука Андреевич, служил управляющим у владевших слободкой помещиков, мать была дочерью местного священника. Оба они ушли из жизни рано, оставив сиротами маленького Даниила, его трех братьев и сестру.

В пятилетнем возрасте началось обучение мальчика грамоте, в 1840 г. он был отвезен в станицу Медведицкую в местное окружное училище, а затем выдержал экзамены в Саратовскую гимназию. Во время учебы Даниил неизменно удивлял преподавателей своей редкой памятью и исключительными способностями к языкам и сочинительству. В стенах гимназии он обрел верных друзей в лице А. Н. Пыпина, впоследствии ставшего известным историком

русской литературы, и П. А. Ровинского, в будущем — писателя-слависта.

В 1850 г. Д. Л. Мордовцев поступает в Казанский университет, но проучившись в нем год, переводится на словесное отделение историко-филологического факультета Петербургского университета. Здесь в центре культурной и общественной жизни России на лекциях прославленных профессоров, а главным образом — в студенческих кружках быстро формируются его научные взгляды и политические симпатии. Здесь же происходит знакомство с родственником А. Н. Пыпина — Н. Г. Чернышевским.

В 1854 г. окончивший с золотой медалью университет Д. Л. Мордовцев возвращается в Саратов, где начинается его трудовая жизнь интеллигента-разночинца. Служа в различных губернских учреждениях и изданиях местной прессы, Даниил Лукич одновременно начинает серьезно работать как публицист, литератор и историк. С 1859 г. в центральных изданиях регулярно публикуются принесшие ему известность исторические очерки, рассказы, серьезные научные исследования на темы политических народных движений России и Украины XVII—XVIII вв. Вслед за увидевшим свет на страницах газеты И. С. Аксакова «Парус» историческим трудом «Самозванец Богомолов» появляются такие сочинения, как «Понизовая вольница», «Самозванец Степан Малый», «Пугачев» и другие. Дань современной тематике писатель отдает в посвященном исканиям передовой демократической молодежи 60-х годов романе «Знамения времени» (1868) и запрещенной цензурой книге об ужасах крепостничества «Накануне воли». Живя в Саратове, Д. Л. Мордовцев сближается с известным историком Н. И. Костомаровым, знакомится с Т. Г. Шевченко.

В начале 70-х годов писатель переезжает в Петер-

бург, где впервые берется за написание исторических романов, принесших ему не просто известность, но настоящую славу исторического беллетриста. Вслед за романом «Идеалисты и реалисты» (1876), появляются в свет «Лжедмитрий», «Двенадцатый год», «Сидение раскольников в Соловках», «Царь и гетман», «Сагайдачный», «Великий раскол» и другие произведения Мордовцева. Не забывает автор и жанры исторической повести и рассказа.

В 1885 г. прославленный историк и романист Даниил Лукич Мордовцев по приглашению брата приезжает в Ростов-на-Дону, где проводит последние двадцать лет своей жизни. Умер писатель 26 июня 1905 г.

* * *

Роман «Идеалисты и реалисты», с которого началось творчество Д. Л. Мордовцева как исторического романиста, увидел свет в 1876 г. Написан он был по заказу известного русского журналиста и издателя Алексея Сергеевича Суворина.

Успех, который принесла публикация «Идеалистов и реалистов» автору, был связан не только с особой любовью россиян к петровской теме, ярко проявившейся в ходе празднования в 1872 г. 200-летнего юбилея со дня рождения царя-преобразователя. В значительной степени он объясняется тем, что литературное произведение написал *ученый,* много и плодотворно работавший с историческими документами, хорошо знавший состояние русской историографии, посвященной Петру I, и разбиравшийся в направлениях современной ему исторической мысли. В сущности, новоявленный беллетрист стал прекрасным популяризатором вводимых в научный оборот фактов, имен и новых оценок известного ранее исторического материала.

Основной сюжетной линией романа, логически связывающей мозаику исторических сцен, разыгрывавшихся в Киеве и Нежине, молодом Петербурге и первопрестольной Москве, Пензе и далеких раскольнических скитах муромских лесов, стала жизнь «идеалиста» Василия Саввича Левина. Быть может, современному читателю романа будет интересно узнать, что за образом этого литературного героя Д. Л. Мордовцева стоит реальное историческое лицо — пензенский дворянин, капитан Василий Андреевич Левин, в монашестве Варлаам. Мордовцев удивительно точно воспроизводит жизненный путь и судьбу этого человека. Исторической реальностью являются не только основной конфликт Василия Андреевича Левина со своей эпохой, приведший его к проповеди в Пензе о царе-антихристе и жуткой казни в Москве на Болоте. Читатель вполне может доверять связанным с Левиным многочисленным подробностям и деталям романа, начиная с описаний его детства, его семьи, владевшей в Пензенской губернии селом Левино, подробностям начавшейся в 1701 г. по настоянию отца военной карьеры, проходившей в полку Полуэктова, а с 1709 г. — среди гренадер полковника Гаврилы Кропотова; реальностью являются такие факты, как служба капитана Левина в охране приехавшего в Киев царевича Алексея (это начальная сцена романа), знакомство в Нежине со Стефаном Яворским (глава 6-я), сближение в Петербурге с духовником кн. Меншикова попом Лебедкою (глава 14-я), обстоятельства выхода Левина в отставку, его пострижения и многое другое. Удивительно точно, с указанием имен реально существовавших лиц, передан в романе круг общения не склонного к военной карьере капитана гренадер; и даже разговоры, взгляды, наконец, страшные образы, посещавшие Левина в бреду, являются историче-

ски верными, ибо почерпнуты из следственных показаний и дневниковых записей Василия Андреевича. Единственным исключением, порожденным фантазией автора романа, являются окрашенные трагизмом отношения Левина с малороссийской красавицей-певуньей Оксаной Хмарой.

К какому же историческому и историографическому материалу обратился писатель, создавая образ главного героя своего произведения? Очевидно, что основой для него стал очерк историка Григория Васильевича Есипова «Варлаам Левин», опубликованный в 1861 г. в журнале «Русское слово», а затем неоднократно издававшийся в сборниках работ ученого, посвященных раскольничьим делам XVIII столетия. Написан он был по материалам следственного дела Левина, хранящегося в документах Тайной канцелярии.

Столь же основательно «обеспечены» историческими источниками и другие линии романа, касающиеся царевича Алексея и его сторонников, истории фрейлины Марьи Гамильтон, учебы российских навигаторов в Италии, распространения в народе учения Григория Талицкого о Петре-антихристе.

Большинство из затрагиваемых в романе Д. Л. Мордовцева исторических сюжетов воспринималось современниками писателя с повышенным, обостренным интересом, ибо еще совсем недавно являлось для них «белыми» пятнами истории России. И речь идет не только о начавшей изучаться в середине XIX в. истории раскола, следственных делах Тайной канцелярии и Преображенского приказа, или собираемых и публикуемых любителями народного творчества многочисленных фольклорных произведениях. Пробелы, окруженные слухами и домыслами, имела и официальная, государственная история петровского времени. Так, например, доступ к документам по

делу царевича Алексея историки получили только в 50-х годах XIX в. Публикация их в 1859 г., осуществленная Н. Г. Устряловым в приложениях к 6-му тому его «Истории царствования Петра Великого», вызвала неподдельный интерес публики и появление в прессе целой серии статей и взаимных полемических реплик таких ученых, как М. Н. Погодин, Г. В. Есипов, М. И Семевский, П. П. Пекарский и др.

Было бы неверно думать, что блестяще популяризировавший научные изыскания своих коллег-историков, вводивший в канву романов и повестей целые фрагменты исторических документов, писем, допросных речей, приговоров Д. Л. Мордовцев стремился к беспристрастному, холодному воспроизведению исторической действительности. Нет, считая историческую беллетристику важным воспитательным средством, он старался донести до читателя *свою* эмоциональную нравственную оценку событий и фигур прошлого. А здесь многое определяли взгляды писателя, его суждения, его историческая концепция.

Уже среди современников Д. Л. Мордовцева бурные споры вызвали выведенные им на страницах романов фигуры Петра I, царевича Алексея и других персонажей. Да и современный читатель вправе задать себе вопрос: почему, с восхищением показывая гигантскую личность царя-преобразователя, писатель становится на сторону литературных героев, порицающих его деяния? почему с такой неприязнью показан молодой Петербург — символ новой, обновляющейся России? Почему «птенцы гнезда Петрова», замечательные дипломаты, полководцы, создатели отечественной промышленности, радевшие за успехи государства Российского, представлены как свора дельцов, «реалистически» смотрящих на жизнь? почему, наконец, явно приукрашены, идеализированы исторические герои, отнесенные Мордов-

цевым в лагерь «идеалистов» — безвольный, не способный к «государеву делу» царевич Алексей, убившая своего ребенка М. Д. Гамильтон? В чем тут дело? Почему вообще автору нужно было расколоть петровское общество на два противостоящих друг другу лагеря?

За ответом обратимся к самому писателю. Одним из принципиально важных общественных вопросов, к которому Даниил Лукич Мордовцев неизменно и в научных, и в беллетристических сочинениях подводил читателя, был вопрос о том, в каком из двух исторических процессов развития общества — свободном или насильственном, лежит залог будущего, утверждения в нем истинных знаний, правды и добра, какой из этих двух процессов действительно двигает вперед человеческое общество. Мордовцев отдавал предпочтение первому и считал, что насильственное развитие — а с ним были связаны представления о государственной политике России эпохи Петра I — будущего не имеет. «С таким пониманием истории, с пониманием ее законов, — писал автор «Идеалистов и реалистов», отвечая своим оппонентам, — я и приступал всегда к моим историческим работам. Оттого моим критикам и казалось, что я не симпатизирую некоторым историческим личностям. ...Относясь принципиально к царю-работнику, как к историческому деятелю, я не забываю тезисов о свободном и насильственном росте в истории... Я всегда стоял и буду стоять за первый... Так, с точки зрения моих тезисов, я относился и к Петру, и к Мазепе, и к Никону, и к Аввакуму, и к Алексею Михайловичу, и ко всем прочим историческим деятелям, выводимым в моих романах и повестях...»

Что ж, сказано предельно ясно, и быть может, именно неординарность подхода писателя к истории позволит читателям публикуемого романа не только

оценить его художественные достоинства, верность обрисовки исторических реалий и характеров героев, но и даст пищу для размышлений об исторических судьбах русского народа, сложностях исторического прогресса, величия путей, избранных когда-то и пройденных до конца нашими предками.

[1] *...брак с Шарлоттою, принцессою вольфенбютельскою...* — Шарлотта (1694—1715), дочь сына герцога Браунгшвейг-Вольфенбютельского — Людвига-Рудольфа и Христины-Луизы Эттингенской, мать императора Петра II.

[2] *«калики перехожие»* — Старинное название странников-слепцов, поющих духовные песни. В Древней Руси слово «калика» или «калека» служило для обозначения много странствовавшего и побывавшего в святых местах человека.

[3] *«Трубу» Лазаря Барановича читали...* — Баранович, Лазарь (ок. 1620—1693), укр. церк.-полит. деятель и писатель, сторонник присоединения Украины к России при сохранении независимости украинского духовенства от московской патриархии. С 1650 г. — ректор Киевской коллегии, с 1657 г. — черниговский архиепископ. Автор сборников проповедей «Меч духовный» (1666, 1686) и «Трубы словес проповедных» (М., 1674, Киев, 1679), в которых защищал православие от католицизма.

[4] *...преподобный Феодосий Печерский...* — Феодосий Печерский (ок. 1036—1074), игумен Киево-Печерского монастыря, автор ряда поучений и посланий. Род. в Василькове, в 1055—56 гг. постригся в монахи. Будучи игуменом, первым ввел общежительный монастырский устав по греческому образцу. В 1091 г. канонизирован.

[5] *...читал ты, как Навуходоносор-царь напал на Ерусалим-град? ... Помнишь ты, как тогда Соломон-царь послал к нему, к Навуходоносору-царю, жену свою прекрасную Соломонию, и как Навуходоносор, пораженный ее красотою, ослеп, а прекрасная Соломония, сняв его меч, отрубила ему голову и принесла ее к Соломону на золотом блюде?..* —

Навуходоносор — библейский герой, соправитель, а затем и царь Вавилонский, один из знаменитейших завоевателей, положивший конец египетскому могуществу в Азии; дважды осаждал и брал Иерусалим. Однако, изложенная в пересказе легенда в библейском варианте имеет других «героев». Ее действующими лицами являются полководец Навуходоносора Олоферн и Юдифь — жена некоего Манассии, жителя города Ветулии, осажденного войсками Олоферна. Что касается роли Екатерины Алексеевны в событиях Прутского похода, то имел место подкуп турецкого визиря драгоценностями будущей русской царицы, который стал одним из факторов, способствовавших заключению мира.

[6]*...в Выговской святой пустыни на Выге-реце.* — Выговская (Выгорецкая) пустынь, центр раскольнических поселений на р. Выг. Основана в 1695 г., подчинялась своему особому Уложению, вела активную хозяйственную деятельность. В начале XVIII в. стала литературным центром старообрядчества. В пустыни имелись школы грамотности, иконописания, певческая, велась работа по переписке книг.

[7]*...Господь Саваоф...* — В христианской и иудаистической традиции Саваоф — одно из имен Бога, обозначающее Бога-«Вседержителя», «Владыки сил воинственных».

[8] *...Хамово житье...* — Хам — библейский персонаж, один из сыновей Ноя, человек нечестивый и непокорный, отличившийся сыновней непочтительностью. Был наказан рабством, под игом которого должно было страдать и потомство его сына Ханаана.

[9] *...Святая Евфросиния, полоцкая княжна.* — Предслава (1101—1173), дочь полоцкого князя Святослава-Георгия, внучка князя Всеслава Брячиславича. Отличалась кротостью и любовью к образованию. Тайно постриглась в монахини под именем Евфросиньи. Сначала жила в уединении, затем основала монастырь в Полоцке.

[10] *немец Блюментрост какие спирты для его кунцкаморы стряпает...* — Блументрост, Лаврентий Лаврентьевич (1692—1755), первый президент Российской Академии наук.

Род. в Москве. Учился в Галле, Оксфорде, Лейдене. В 1714 г. — лейб-медик царевны Натальи Алексеевны, с 1715 г. состоял при Петре I.

[11] *...А письмо когда он тебе отдал, то письмо, где он грозит лишить тебя престола? — За день до того, как у него родился сын.* — Речь идет о сыне Петра I и Екатерины I — царевиче Петре Петровиче, родившемся 27 октября 1715 г., умер в 1719 г.

[12] *...Голос ужасного Ушакова...* — Ушаков Андрей Иванович (1670—1747), сенатор, граф. Начал службу рядовым в Преображенском полку. В 1718—1726 — один из начальников Тайной канцелярии, ведавшей наиболее важными государственными преступлениями.

[13] *...ехать к цезарю, цезарь мне свояк...* — Австрийский император Карл VI и царевич Алексей Петрович были женаты на родных сестрах-принцессах Вольфенбютельских Елизавете и Шарлотте.

[14] *...к угоднику, Николаю Мирликийскому чудотворцу...* — Николай Мирликийский — великий христианский святой, архиепископ города Мир в Ликии. Прославился многочисленными чудотворениями при жизни и после смерти. Присутствовал на I Вселенском соборе 325 г. В 1087 г. мощи его были перенесены из Мир Ликийских в итальянский город Бари, где и пребывают по сей день.

[15] *...Саву Рагузинского.* — Владиславич (Рагузинский), Савва Лукич, иллирийский шляхтич, поступивший на службу к Петру I. В 1717—1722. гг. находился с дипломатическими поручениями в Италии. Ум. в 1738 г.

[16] ...раритет!... — редкость.

[17] *...фрейлина Гамильтон...* — Гамильтон, Мария Даниловна (Вилимовна), происходила из знаменитого рода Гамильтон, выходцы из которого в XVI в. поселились в России. Предположительно — племянница Андрея Артамоновича Матвеева, женатого на Е. Г. Гамильтон. Фрейлина Екатерины I, при дворе появилась ок. 1713 г. Некоторое время пользовалась особым расположением Петра I. Нахо-

дясь в связи с И. М. Орловым, в ноябре 1717 г. родила и убила — задушила ребенка. Уличена в марте 1718 г. После окончания следствия в ноябре 1718 г. ей был вынесен смертный приговор. Казнена 14 марта 1719 г. в Петербурге на Троицкой площади.

[18] *...знаменитая Матрена Ивановна Балк...* — Монс, Модеста, сестра фаворитки Петра I Анны Монс, статс-дама Екатерины I. Была замужем за находившимся на русской службе иноземцем Ф. Балком. В 1724 г. вместе с братом Вилимом Монсом, состоявшим генеральс-адъютантом при царице, была уличена во взяточничестве, высечена кнутом и сослана в Тобольск. Возвращена взошедшей на престол Екатериной I. Вилим Монс был казнен. Подлинной причиной сурового приговора являлись близкие отношения царицы с В. Монсом.

[19] *...в «семибашенном замке»:... в Едикуле,...* — Название знаменитой тюрьмы в Стамбуле. Петр Андреевич Толстой (1645—1729), русский посол в Османской империи, был арестован в 1710 г. в связи с объявлением Турцией войны России и полтора года провел в Едикуле.

[20] *В Гданьске справлял царь свадьбу княжны Екатерины Ивановны с тамошним герцогом...* — Царевна Екатерина Иоанновна (1692—1733), дочь царя Ивана V Алексеевича. В апреле 1716 г. в Данциге вышла замуж за герцога Карла-Леопольда Мекленбург-Шверинского. Мать правительницы Анны Леопольдовны, бабка царя Иоанна Антоновича.

[21] *...книгу Феофана Прокоповича «О мученичестве»...* — Прокопович Феофан (1681—1736), церк.-полит. деятель, знаменитый проповедник, писатель. Префект и ректор Киевской академии, профессор пиитики и риторики. В 1718 г. стал архиепископом Псковским, с 1721 г. — президент Синода. В 1725 г. — архиепископ Новгородский. В 1720 г. работал над трактатом «О мученичестве», который частично вошел в «Объявление ... от Синода о предерзителях, неразсудно на мучения дерзающих» 1722 г. Смысл трактата сводился к непозволительности искать мученичества из-за

перемены одежды, бритья бород и других несущественных новшеств.

[22] *...рукою книгописца Григория Талицкого... первая книга «О пришествии в мир антихриста и о летех от создания мира до скончания света», другая книга, именуемая «Врата».* — Талицкий, Григорий Васильевич, московский книгописец, автор сочинений, в которых возвещалось о наступлении последних лет существования мира и о появлении в лице царя Петра I антихриста. Доказательством последнего объявлялись перемена летосчисления, введение западноевропейского платья, бритье бород и др. Свои сочинения Г. В. Талицкий собирался отпечатать и бросить в народ для возмущения его к бунту. В 1700 г. началось следствие по делу Г. Талицкого, к которому было привлечено около 20 человек. В ноябре 1701 г. Г. Талицкий и четверо его единомышленников были казнены, остальные сосланы в Сибирь и на Соловки.

[23] *Как истый гелертер...* — Гелертер *(нем.)* — схоласт, ученый-книжник, оторванный от жизни.

[24] *...Невского монастыря архимандриту Феодосию...* — Феодосий (Яновский Федор Михайлович) (1673—1726), рус. церк. деятель. В 1704—1712 гг. — архимандрит Хутынский, 1712—1721 гг. — Александро-Невский. В 1721—1725 гг. — архиепископ Новгородский, вице-президент Синода. В 1725 г. лишен сана, сослан. Умер в заточении.

[25] *...книгу Ефрема Сирина о последнем времени.* — Ефрем Сирин — один из великих учителей христианской церкви IV в. По преданию — сын языческого жреца, изгнанный из дома за обращение к христианству. Известный проповедник, автор многочисленных проповедей, молитв, стихотворений. Одна из известных проповедей — «Семь слов о втором пришествии Христовом».

[26] *Вот книги божественные — «Кирилла Иерусалимского», ... «Маргарит»!* — Кирилл Иерусалимский (315—386), св., отец церкви, с 351 г. — епископ Иерусалимский. Автор поучений, сыгравших значительную роль в формировании

христианских догматов, таинств, обрядов и др. сочинений; «Маргарит» — название византийского сборника слов Иоанна Златоуста, получившего широкое распространение на Руси, начиная с XIII в.

[27] *...за Докукиным подьячим...* — Докукин, Иларион, с 1781 г. — подьячий Артиллерийского приказа. Отказался присягать в обход царевича Алексея Петровича объявленному наследником сыну иноземки Екатерины I царевичу Петру Петровичу. После розыска казнен в Москве 17 марта 1718 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Мордовцев Д. Л.
М 79 Идеалисты и реалисты. — М.: Книга, 1989. — С. 332 (Историко-литературный архив).

ISBN 5—212—00398—9

В романе выдающегося русского писателя и историка повествуется о трагической судьбе реального исторического лица Василия Левина — старца Варлаама, казненного в 1722 г. Левин, как и многие русские люди того времени — «идеалисты», не мог существом своим принять нововведений Петра I; но он не смог принять и воззрения старообрядцев — ярых противников этих нововведений. Ибо сердце и душа его тянутся к прекрасному и непостижимому идеалу... Наоборот, Петр I и деятели его царствования — «реалисты» — превосходно знают цель своих устремлений и безжалостно — через пытки в Тайной канцелярии, казни, интриги — добиваются их осуществления. «Идеалисты» гибнут в неравной борьбе с реалистами.

Для всех, интересующихся русской историей.

М $\frac{4702010101\text{-}113}{002\ (01)\text{-}89}$ Без объявл. ББК84Р1=4

Даниил Лукич Мордовцев

Идеалисты и реалисты

Художественный редактор
Н. Д. Карандашов
Технические редакторы
А. З. Коган, В. Л. Юняев

ИБ № 2006. Сдано в набор 30. 06. 89. Подписано в печать 28. 11. 89. Формат 70 × 90 1/32 · Бум. офс. 1 = 70 г. · Гарнитура Таймс. · Печать офсетная. Усл. печ. л. 12,87. Усл. кр.-отт. 13,16. Уч.-изд. л. 13.85. Тираж 100 000 экз. Изд. № 4895. · Цена 2 р. 40 к. Издательство «Книга». 125047. Москва, ул. Горького. 50.

Д. Л. МОРДОВЦЕВ

Против реализма начала XVIII века, реализма, в фокусе которого стоял Петр I, боролся такой же могущественный и едва ли не более реализма устойчивый идеализм, которйы приютился в поклонниках старины, в расколе, ушедшем в леса, дебри и пустыни и умиравшем — умиравшем бесстрашно, геройски, на кострах, на плахе, на кольях и от самосожжения... К этому разряду людей — к идеалистам начала XVIII века — принадлежал и Левин. Только это была едва ли не самая энергичная личность из всех противников грубого реализма, которому должно было служить как падишаху, не рассуждая, даже не понимая его.

